

18+  
Содержит  
нецензурную  
брань!

# ПОЛ ОСТЕР

# 4321

р о м а н

ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2017 ГОДА



Литературные хиты: Коллекция

Пол Остер

**4321**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44

**Остер П. Б.**

4321 / П. Б. Остер — «Эксмо», 2017 — (Литературные хиты: Коллекция)

ISBN 978-5-04-098502-9

Один человек. Четыре параллельные жизни. Арчи Фергусон будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре реальные по своему вымыслу жизни – параллельные и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические способности будут контрастировать. При каждом повороте судьбы читатель испытает радость или боль вместе с героем. В книге присутствует нецензурная брань.

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-098502-9

© Остер П. Б., 2017  
© Эксмо, 2017

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

126

# Пол Остер

## 4321

Paul Auster  
4321

Copyright © 2017 by Paul Auster

© Немцов М., перевод на русский язык, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

\* \* \*

*посвящается Сири Хустведт*

### 1.0

По семейному преданию, дедушка Фергусона пешком ушел из своего родного Минска с сотней рублей, зашитыми в подкладку пиджака, двинулся на запад к Гамбургу через Варшаву и Берлин, а затем взял билет на пароход под названием «Императрица Китая», который пересек Атлантику по суровым зимним штормам и вошел в гавань Нью-Йорка в первый день двадцатого века. Дождаясь собеседования с иммиграционным чиновником на острове Эллис, он разговорился с собратом, тоже русским евреем. Тот ему сказал: *Забудь ты эту фамилию – Резников. Прокую тут от нее никакого. Для новой жизни в Америке тебе американская фамилия нужна, чтоб славно по-американски звучала.* Поскольку английский для Исаака Резникова в 1900 году все еще был чужим языком, он попросил совета у своего земляка постарше и поопытней. *Скажи им, что ты Рокфеллер,* ответил тот. *Уж с этим-то не промахнешься.* Прошел час, за ним еще час, и когда девятнадцатилетний Резников сел перед иммиграционным чиновником, он уже забыл, какое имя ему посоветовали. *Фамилия?* – спросил чиновник. Разочарованно хлопнув себя по лбу, усталый иммигрант выпалил на идише: *Ikh hob fargessen (Я забыл)!* Так и получилось, что Исаак Резников начал свою новую жизнь в Америке как Ихабод Фергусон.

Было трудно, особенно поначалу, но даже потом, когда оно уже перестало быть началом, ничего не получалось так, как он воображал себе о жизни в приютившей его стране. Правда, жену-то ему найти удалось, после двадцать шестого дня рождения, как правда и то, что его жена Фанни, урожденная Гроссман, родила ему троих крепких и здоровых сыновей, но жизнь в Америке оставалась для дедушки Фергусона борьбой с того самого дня, когда он сошел с парохода, до ночи 7 марта 1923 года, когда его настигла ранняя, безвременная кончина в возрасте сорока двух лет: его подстрелили при ограблении склада кожаных изделий в Чикаго, где он работал ночным сторожем.

Фотографий его не сохранилось, но по всем воспоминаниям, был он мужчиной крепким, с сильной спиной и громадными ручищами, необразованный, неквалифицированный, классический новичок-неумеха. В первый свой день в Нью-Йорке он наткнулся на уличного торговца, толкавшего самые красные, самые круглые, самые совершенные яблоки, какие он в жизни видел. Не в силах противостоять, он купил одно и жадно впился в него зубами. Но вместо ожидаемой сладости вкус оказался горьким и незнакомым. Хуже того, яблоко было тошнотворно мягким, и, как только зубы его пронзили кожицу, все внутренности фрукта выплеснулись ему

на пиджак ливнем бледно-красной жидкости, полной десятков дробинок-семян. Таков был его первый вкус Нового Света – его первое достопамятное знакомство с джерсейским помидором.

Не Рокфеллер, стало быть, а широкоплечий работяга, еврейский исполин с нелепым именем и парой беспокойных ног – он пытал счастья в Манхэттане и Бруклине, в Балтиморе и Чарльстоне, в Дулуте и Чикаго, нанимался то портовым грузчиком, то младшим матросом на танкер в Великих озерах, то убирал за зверями в бродячем цирке, то работал на конвейере консервной фабрики, то водил грузовик, то копал канавы, то сторожил по ночам. За все свои потуги он получал считанные гроши да мелочь, а стало быть, жене и троим сыновьям бедный Айк Фергусон завещал лишь истории, какие рассказывал им о своих скитаниях юности. Если брать по крупному счету, истории, наверное, так же ценны, как деньги, а вот если по мелкому – имеются у них бесспорные ограничения.

Кожевенная компания выплатила Фанни маленькую компенсацию по утере кормильца, после чего она с мальчиками уехала из Чикаго – в Ньюарк, Нью-Джерси, по приглашению мужниной родни, которая выделила ей квартиру на верхнем этаже своего дома в Центральном районе за номинальную месячную плату. Сыновьям ее исполнилось четырнадцать, двенадцать и девять. Луис, самый старший, давно уже стал Лью. Аарон, средний, из-за переизбытка драк на школьном дворе в Чикаго приспособился называть себя Арнольдом, а девятилетнего Станли все звали Сынок. Чтобы сводить концы с концами, их мать взялась за стирку и починку одежды, но совсем скоро мальчики тоже стали вносить свою лепту в семейные финансы: каждый после уроков работал, каждый все вырученные пенни отдавал матери. Времена стояли тяжелые, и угроза нищеты наполняла комнаты их квартиры густым, слепящим туманом. От страха было не спастись, и постепенно мальчики впитали мрачные онтологические выводы своей матери о смысле жизни. Работай – или голодай. Работай – или потеряешь кров над головой. Работай – или умрешь. Для Фергусонов малодушного понятия Все-За-Одного-И-Один-За-Всех не существовало. В их мирке Все-За-Всех – или ничего.

Фергусону и двух лет еще не исполнилось, когда бабушка умерла, а потому сознательных воспоминаний о ней он не сохранил, но, по семейному преданию, Фанни женщиной была трудной и непредсказуемой – ни с того ни с сего принималась орать или одержимо и безудержно рыдать, мальчишек своих лупила шваброй, когда те себя плохо вели, а в кое-какие местные лавки хода ей не было потому, что она громогласно торговалась. Никто не знал, где она родилась, поговаривали, что в Нью-Йорке она очутилась четырнадцатилетней сиротой и несколько лет после схода на берег провела на чердаке без окон в Нижнем Ист-Сайде, где шила шляпки. О своих родителях отец Фергусона Станли заговаривал с сыном редко, а на вопросы мальчика отвечал кратче и невнятное некуда, очень осторожно, и все данные, какие юному Фергусону удавалось почерпнуть о прародителях по отцовской линии, почти целиком поступали от его матери Розы, которая была на много лет младше двух остальных невесток Фергусонов из второго поколения, а сама получила почти все сведения от Милли, жены Лью, – женщины, склонной посплетничать: та вышла замуж за человека гораздо менее скрытного и гораздо более разговорчивого, нежели Станли или Арнольд. Когда Фергусону исполнилось восемнадцать, мать пересказала ему одну историю Милли, представив ее не более чем слухом, ничем не подтвержденным домыслом, который мог оказаться правдой – а мог, опять же, и нет. Если верить тому, что Лью рассказывал Милли – или же Милли утверждала, будто он ей рассказывал, – имелся еще и четвертый ребенок Фергусон, девочка, родившаяся через три или четыре года после Станли, в то время, когда семья поселилась в Дулуте и Айк искал работу младшего матроса на судне с Великих озер: семья в тот период крайне бедствовала, и потому, что Айка не было дома, когда Фанни родила девочку, и потому, что дело происходило в Миннесоте, вдобавок еще и зимой, особенно суровой зимой в особенно холодном месте, а дом, где они жили, отапливался лишь одной дровяной печуркой, а денег тогда было так мало, что Фанни и мальчикам

есть доводилось всего раз в день, – от мысли о том, что придется заботиться еще об одном ребенке, ей стало до того жутко, что она утопила свою новорожденную дочурку в ванне.

Пусть Станли и рассказывал сыну о своих родителях мало, о себе он тоже не слишком распространялся. Оттого у Фергусона плохо получалось ясно и наглядно представлять себе, каким его отец был в детстве – или в ранней юности, или в молодости, или еще когда бы то ни было, пока тот через два месяца после того, как ему исполнилось тридцать, не женился на Розе. Из мимолетных замечаний, какие иногда слетали с отцовых уст, Фергусону, однако, удалось выяснить вот что: Станли частенько дразнили его старшие братья, помыкали им, а сам он, поскольку был младше всех, а потому меньше всех в детстве прожил с живым отцом, сильнее всех привязался к Фанни, учился он прилежно и, спору нет, был из всех братьев лучшим спортсменом, в футбольной команде играл крайним, а в легкоатлетической, в Центральной средней школе, бегал четверть мили, дар к электронике привел его к тому, что летом после окончания школы в 1932-м он открыл лавочку по ремонту радиоприемников (*дыра в стене на Академия-стрит в Ньюарке*, как сам он выражался, *чуть большие кабинки для чистки обуви*), правый глаз ему в одиннадцать лет повредило ручкой швабры, когда мать как-то раз принялась неистово ею размахивать (он чуть не потерял зрение совсем, отчего в армию во время Второй мировой его не взяли по форме 4-Ф), кличку «Сынок» он терпеть не мог и отказался от нее, как только убрался из школы, любил танцевать и играть в теннис, никогда слова дурного не говорил о своих братьях, как бы глупо или отвратительно те к нему ни относились, в детстве после уроков разносил газеты, всерьез подумывал изучать право, но отказался от этого замысла из-за недостатка средств, после двадцати лет слыл дамским угодником и ухаживал за ордами молодых евреек, ни на одной не намереваясь жениться, в тридцатые годы несколько раз наезжал на Кубу, когда Гавана была столицей греха всего Западного полушария, а величайшим честолубивым его замыслом в жизни было стать миллионером, человеком богатым, как Рокфеллер.

И Лью, и Арнольд женились, когда обоим едва перевалило за двадцать, оба стремились вырваться из полоумного дома Фанни как можно скорее, сбежать от вопящей самодержицы, правившей всеми Фергусонами после отцовской смерти в 1923 году, но у Станли, еще совсем юнца, когда братья сбежали, выбора не было, и он остался. В конце концов, он едва-едва закончил среднюю школу, но затем годы шли, один за другим, и так – одиннадцать лет, а он никуда не девался, необъяснимо так жил и дальше в той же квартире на верхнем этаже вместе с Фанни, всю Депрессию и первую половину войны, вероятно – застрял по инерции или из лени, быть может, из чувства долга или виноватости перед матерью, а то и из-за всего сразу, отчего ему совсем не удавалось вообразить, как он станет жить где-то еще. И Лью, и Арнольд завели собственных детей, а Станли, судя по всему, вполне довольствовался вольной охотой, почти всю свою энергию тратил на то, чтобы из мелкого своего предприятия сделать предприятие побольше, поскольку же он не выказывал ни малейшей склонности жениться, даже сильно перевалив за двадцать и уже порхая к тридцатнику, возникало как-то мало сомнений, что холостяком он останется на всю жизнь. И тут, в октябре 1943 года, не прошло и недели после того, как американская Пятая армия отбила у немцев Неаполь, посреди того периода надежд на то, что война склоняется, наконец, в пользу союзников, Станли на свидании вслепую в Нью-Йорке познакомился с Розой Адлер двадцати одного года, и очарование пожизненного холостячества постигла быстрая и необратимая кончина.

Так прелестна была она, мать Фергусона, так пригожа своими серо-зелеными глазами и длинными каштановыми волосами, так порывиста и чутка, так скоро на улыбку, так восхитительно сложена во всех своих пяти футах шести дюймов роста, какие достались ее персоне, что Станли, впервые пожав ей руку, отрешенный и обычно такой обособленный Станли, Станли двадцати девяти лет, кого прежде никогда еще не сжигало пламя любви, ощутил, как перед Розой он распадается на части, словно из легких его высосали весь воздух и он никогда уже не сможет дышать.

Она тоже была ребенком иммигрантов – отца, уроженца Варшавы, и матери-одесситки, оба приехали в Америку, не исполнилось им и трех лет. Адлеры, стало быть, больше ассимилировались, чем Фергусоны, и в голосах родителей Розы никогда не слышалось ни малейшего следа иностранного акцента. Выросли они в Детройте и Гудзоне, штат Нью-Йорк, а идиш, польский и русский их родителей уступили место беглому, богатому английскому; отец же Станли до самой смерти своей старался овладеть вторым языком, а мать даже теперь, в 1943-м, почти через полвека после отрыва от восточноевропейских корней, читала «Джуиш Дейли Форвард», а не американские газеты и изъяснялась на странном разномастном языке, какой сыновья ее называли «англишем», – едва ли вразумительном патуа, в котором идиш и английский сочтались почти в каждой фразе, вылетавшей у нее из уст. То была единственная существенная разница между предками Розы и Станли, но гораздо важнее того, насколько хорошо или плохо их родители приспособились к жизни в Америке, был вопрос удачи. Родителям и прародителям Розы удалось избежать тех жестоких поворотов судьбы, какие выпали на долю Фергусонов, и в их истории не было никаких убийств при ограблении складов, никакой нищеты на грани голода и отчаяния, никаких утопленных в ваннах младенцев. Детройтский дедушка был портным, гудзонский дедушка – цирюльником, и хотя резать ткань или волосы – не те занятия, что могли бы вывести на путь богатства и мирского успеха, они предоставляли достаточно постоянный доход, чтобы на столе всегда имелась еда, а на детях – одежда.

Отец Розы Бенджамин, также известный как Бен или Бенджи, уехал из Детройта на следующий день после того, как в 1911 году закончил школу, и направился в Нью-Йорк, где дальний родственник нашел ему работу продавца в центральном магазине одежды, но юный Адлер через две недели бросил эту работу, зная, что судьбе его не угодно, чтобы он тратил свою краткую жизнь на земле на продажу мужских носков и исподнего, и тридцать два года спустя, побыв разъездным торговцем бытовых чистящих средств, распространителем граммофонных пластинок, солдатом в Первой мировой, поторговав автомобилями, повладев на паях стоянкой подержанных машин в Бруклине, на жизнь он зарабатывал как один из трех миноритарных партнеров манхаттанской фирмы недвижимости – дохода хватило, чтобы в 1941 году перевезти семью с Краун-Хайтс в Бруклине в дом на Западной Пятьдесят восьмой улице, за полгода до того, как Америка вступила в войну.

Согласно тому, что рассказывали Розе, родители ее познакомились на воскресном пикнике на севере штата Нью-Йорк, неподалеку от материна дома в Гудзоне, и, не прошло и полгода (в ноябре 1919-го), эти двое поженились. Как Роза впоследствии признавалась сыну, брак этот ее всегда озадачивал, поскольку никогда не доводилось ей видеть двух менее совместимых друг с другом людей, чем ее родители, и то, что союз этот выдержал более четырех десятков лет, несомненно, было одной из величайших загадок в истории человеческого супружества. Бенджи Адлер был треплом и всезнайкой, прожженным авантюристом с сотней планов по карманам, хохмачом, никогда не упускал своего и всегда перетягивал одеяло на себя – и вот он на воскресном пикнике где-то в глуши штата Нью-Йорк запал на робкую и застенчивую Эмму Бромовиц, кругленькую, грудастую девушку двадцати трех лет, кожа бледнее не бывает, копна пышных рыжих волос, такую девственную, такую неопытную, такую викторианскую по манерам, что стоило лишь взглянуть на нее, как сам собой напрашивался вывод, что уст ее ни разу в жизни не касались мужские губы. Непостижимо было, что они поженятся, – все знаки предсказывали, что они будут обречены на жизнь, полную распрей и непонимания, – но они поженились, и хотя хранить супружескую верность Эмме после рождения их дочерей (Мильдред в 1920-м, Роза в 1922-м) Бенджи было трудновато, в сердце своем он за нее держался, а она, вновь и вновь им обманутая, так и не сумела заставить себя обратиться против него.

Роза обожала старшую сестру, но нельзя сказать, что верно было и обратное: перворожденная Мильдред естественно приняла свое богоданное право принцессы этого дома, и мелкую соперницу, вдруг явившуюся на сцену, следовало учить – если необходимо, снова и снова, – что



есть лишь один трон в квартире Адлеров на Франклин-авеню, один трон и одна принцесса, и любые попытки этот трон узурпировать будут встречены объявлением войны. Не то чтоб Мильдред держалась в открытую враждебно с Розой, но милости ее отмерялись чайными ложками – не больше такого-то количества доброты в минуту, час или месяц, – и неизменно предоставлялись с оттенком высокомерного снисхождения, как и подобает персоне ее царственного чина. Холодная и осмотрительная Мильдред; душевная и слашавая Роза. Когда девочкам исполнилось двенадцать и десять, уже стало ясно, что ум у Мильдред исключительный, ее успехи в учебе – результат не только прилежания, но и превосходной интеллектуальной одаренности, и, хотя Роза тоже была вполне сообразительна и зарабатывала вполне достойные отметки, в сравнении с сестрой она всегда была посредственностью. Не понимая толком своих мотивов, ни разу сознательно об этом не задумавшись и не составив никакого плана, Роза постепенно перестала тягаться с сестрой на условиях Мильдред, поскольку инстинктивно понимала: если подражать сестре, у нее ничего не выйдет, а потому, если хочется какого-то счастья в жизни, ей придется пойти другим путем.

Решение она обрела в работе – в попытках обрести свое место тем, что сама будет себя кормить, и как только ей исполнилось четырнадцать и стало можно официально трудиться, она устроилась на свою первую службу, которая быстро привела к череде других, и уже к шестнадцати годам Роза днем трудилась на полной ставке, а по вечерам училась в старших классах. Пускай Мильдред запирается в келье своего уставленного книгами ума, пусть плывет себе в колледж и читает все, что написали за последние две тысячи лет, а Роза желает настоящего мира, Роза этому миру принадлежит – суете и гаму нью-йоркских улиц, ощущенью того, что стоишь за себя и сама всего в жизни добиваешься. Как отважные, сметливые героини в фильмах, которые она ходила смотреть и два, и три раза в неделю: нескончаемый отряд студийных картин, где в главных ролях снимались Клодетта Кольбер, Барбара Станвик, Джинджер Роджерс, Джоанна Блонделл, Розалинда Рассел и Джина Артур, – она примеряла на себя роль юной, решительной девушки-карьеристки и срасталась с нею так, словно жила в собственной кинокартине, «Истории Розы Адлер», в этом длинном, бесконечно запутанном кино, у какого еще и первая катушка не закончилась, а в грядущем оно обещало нечто великое.

Когда в октябре 1943-го Роза познакомилась со Станли, она уже два года проработала у фотографа-портретиста Эмануэля Шнейдермана, чье ателье располагалось на Западной Двадцать седьмой улице около Шестой авеню. Начала Роза как администратор-секретарь-бухгалтер, но, когда в июне 1942-го фотоассистент Шнейдермана ушел в армию, Роза его заменила. Старику Шнейдерману уже было далеко за шестьдесят – немецкий еврей, иммигрировавший в Нью-Йорк с женой и двумя сыновьями после Первой мировой войны, угрюмый человек, подверженный приступам сварливости и попросту оскорбительного сквернословия, – но к красотке Розе в нем постепенно развилась ворчливая нежность, и, поскольку он осознал, до чего внимательно наблюдала она, как он работает, в свои первые дни у него в ателье, то решил сделать ее своим подмастерьем-ассистенткой и научить всему, что сам знал о фотоаппаратах, освещении и проявке – всему искусству и ремеслу своего дела. У Розы, которая прежде никогда толком не понимала, к чему стремиться, и работала в разных конторах только за плату и мало еще почему, иными словами – без какой-либо надежды или внутреннего удовлетворения, – ощущение возникло такое, словно она вдруг наткнулась на призвание – не просто на очередную работу, а на новый способ быть на белом свете: вглядываться в чужие лица, каждый день все новые, каждое утро и вечер иные, каждое отлично от всех прочих лиц, – и, не успела Роза оглянуться, как поняла, что любит эту работу: смотреть на других, – и что она никогда от этого не устанет, просто не сможет.

Станли теперь работал совместно с братьями: обоих не взяли на военную службу (плоскостопие и плохое зрение), и после нескольких перестроек и расширений лавочка по ремонту радиоприемников, основанная в 1932 году, выросла в солидный магазин мебели и бытовой тех-

ники на Спрингфильд-авеню, со всеми приманками и ухищрениями современной американской розничной торговли: долговременными рассрочками, предложениями купить две вещи, одну получить в подарок, полугодовыми всеобщими распродажами, консультационными услугами новобрачным и особыми предложениями на День флага. Первым к нему присоединился Арнольд – неумелый, не слишком сообразительный средний брат, профукавший несколько работ в торговле, теперь ему трудно было обеспечивать жену Джоан и их троих детишек, – а еще через пару лет в лоно семьи вернулся и Лью: не потому, что его как-то интересовали мебель или бытовые приборы, а из-за того, что Станли только что – уже вторично за последние пять лет – покрыл его игорные долги и вынудил его в знак доброй воли и покаяния вступить в дело, учитывая, что любое нежелание со стороны Лью приведет только к тому, что тот не получит от брата больше ни единого пенни весь остаток своих дней. Так и родилось предприятие, известное как «Домашний мир 3 братьев», под управлением, по сути, всего одного брата, Станли, самого младшего и целеустремленного из всех сыновей Фанни, кто по некоему извращенному, но неоспоримому убеждению, что верность семье побивает все остальные человеческие свойства, добровольно взял на себя бремя тащить двух своих сородичей-неудачников, которые благодарность ему выражали тем, что постоянно опаздывали на работу, тибрили из кассы десятки и двадцатки, когда их собственные карманы пустели, а в теплые месяцы года после обеда отправлялись играть в гольф. Если Станли их поведение и расстраивало, он никогда не жаловался, ибо законы Вселенной запрещают человеку жаловаться на братьев его, и даже если прибыль «Домашнего мира» была бы несколько выше без нагрузки в виде жалований Лью и Арнольда, предприятие все равно оставалось «в плюсах», а когда война через год-другой закончится, картинка станет еще ярче – тогда появится телевидение, и братья окажутся первыми в тех местах, кто начнет торговать этими приемниками. Нет, Станли еще не разбогател, но уже некоторое время доходы его неуклонно росли, и когда он познакомился с Розой тем октябрьским вечером в 1943-м, то был уверен, что лучшее у него еще впереди.

В отличие от Станли, Розу уже опалило пламенем страстной любви. Если б не война, отнявшая у нее любимого, эти двое никогда бы не встретились, поскольку она бы уже была замужем за кем-то другим задолго до того октябрьского вечера, однако молодой человек, с которым она была помолвлена, Давид Раскин, уроженец Бруклина и будущий врач, вошедший в ее жизнь, когда ей было семнадцать, был убит случайным взрывом на учениях в учебной части Форт-Беннинга в Джорджии. Известие это пришло в августе 1942-го, и много месяцев после Роза носила траур, поочередно злилась и вся немела, ее словно выпотрошило, без всякой надежды, она почти обезумела от горя, проклинала войну, визжа по ночам в подушку, ей не удавалось смириться с тем, что Давид никогда ее больше не коснется. Удерживало ее все эти месяцы лишь одно – работа у Шнейдермана, которая приносила хоть какое-то утешение, какое-то удовольствие, давала хоть какую-то причину вставать по утрам с кровати, но вот аппетита выходить куда-то и с кем-то общаться у нее уже не было, как неинтересно было знакомиться с другими мужчинами, а потому ее жизнь сократилась до самомалейшей рутины: работа, дом и выходы в кино с подругой Ненси Файн. Потихоньку-помаленьку, однако, особенно в последние два или три месяца, Роза начала напоминать себя прежнюю – обнаружила, что у еды, оказывается, есть вкус, когда кладешь ее в рот, например, а когда в городе дождь, он льет не только на нее: всем мужчинам, женщинам и детям приходится прыгать через те же лужи, что и ей. Нет, она никогда не оправится от смерти Давида, тот навеки останется тайным призраком и будет идти с нею рядом, пока она ковыляет в будущее, но двадцать один – это слишком рано, чтобы поворачиваться к миру спиной, и если она не постарается снова вступить в этот мир, то просто развалится и умрет, Роза это понимала.

Свидание вслепую со Станли ей устроила Ненси Файн – язвительная, остроумная Ненси с большими зубами и костлявыми руками, она была лучшей подругой Розы еще с детства, которое они вместе проводили в Краун-Хайтс. Сама Ненси познакомилась со Станли на тан-

цах, какие происходили по выходным в Катскиллах – там, в гостинице «Браун», собирались на гулянки толпы свободных-но-деятельно-ищущих молодых евреев из города, *рынок кошерного мяса*, как выражалась Ненси, и хотя сама Ненси никого деятельно не искала (она была помолвлена с солдатом, расквартированным где-то на Тихом океане, который, судя по последним известиям, еще числился среди живых), но отправилась туда просто повеселиться с какой-то подругой – и в итоге пару раз потанцевала с *парнем из Ньюарка по имени Станли*. Ему захотелось повидаться с нею еще раз, сказала Ненси, но стоило ей сообщить ему, что она девственность свою пообещала другому, как он улыбнулся, отвесил маленький комический поклон и уже собирался отойти прочь, но тут она пустилась рассказывать ему о своей подружке Розе, Розе Адлер, *прелестнейшей девушке по эту сторону от Дуная и прекраснейшем человечке по эту сторону от чего угодно*. Таковы были подлинные чувства Ненси к Розе, и когда Станли осознал, что она не шутит, дал ей понять, что был бы не прочь познакомиться с этой ее подругой. Ненси извинилась перед Розой за то, что эдак выпалила ее имя, но та лишь пожала плечами, зная, что ничего плохого Ненси в виду не имела, а потом спросила: Ну и каков он? По словам Ненси, Станли Фергусон был около шести футов ростом, смазлив, староват: почти тридцать – а это старость на ее двадцатиоднолетний взгляд, – занимается собственным делом и явно преуспевает, чарующ, учтив и очень хорошо танцует. Как только Роза усвоила эти сведения – на несколько мгновений задумалась, готова ли принять вызов свидания вслепую, а затем посреди всех этих размышлений ей пришло в голову, что Давид уже больше года как погиб. Нравится ей это или нет, но пришло время вновь попробовать воду. Она взглянула на Ненси и сказала: Наверное, мне стоит увидеться с этим Станли Фергусоном, как ты считаешь?

Много лет спустя, когда Роза рассказывала сыну о событиях того вечера, название ресторана, где они со Станли встретились поужинать, она не упомянула. Тем не менее, если память его не подводила, Фергусон полагал, что находился тот где-то в средней части Манхаттана, в Ист-Сайде или Вест-Сайде – неизвестно, но местечко эlegantное, с белыми скатертями и официантами при галстуках-бабочках и коротких черных куртках, то есть Станли сознательно старался произвести на нее впечатление, доказать, что может позволить себе такие траты, как эта, когда б ему ни захотелось, и да, она сочла его физически привлекательным, ее поразило, как легок его шаг, как изящно и текуче его тело в движении, но также и руки его, размер и сила его рук, все это она заметила сразу, а еще безмятежный, не нахрапистый взгляд, который он с нее не спускал, карие глаза, не большие и не маленькие, и густые черные брови. Не сознавая того монументального впечатления, какое произвела она на своего ошеломленного сотрапезника, того рукопожатия, что привело к полнейшему распаду внутренней сущности Станли, она несколько опешила от того, насколько немногословен был он в самом начале их трапезы, а потому приняла его за необычайно робкую личность, что, говоря строго, было не так. Из-за того, что сама она нервничала, а Станли продолжал сидеть преимущественно молча, она завелась и болтала за двоих, то есть говорила слишком много, минуты тикали, и она все больше приходила в ужас от самой себя за то, что трещит, как безмозглая балаболка, хвалится своей сестрой, к примеру, и рассказывает ему, как блестяще Мильдред учится, диплом с отличием в Хантере прошлым июнем, теперь поступила на дипломную программу в Колумбию, единственная женщина на факультете английского, лишь одна из трех евреев, вообразите, как ею гордятся в семье, а стоило упомянуть семью, как она перескочила на дядю Арчи, младшего брата ее отца, Арчи Адлера, пианиста в «Городском квинтете», который играет теперь в «Пристанище Мо» на Пятьдесят второй улице, и как это вдохновляет, если среди родни есть музыкант, художник, такой ренегат, кто думает не о зарабатывании денег, а о чем-то другом, да, своего дядю Арчи она любит, он, спору нет, самый любимый у нее родственник, а затем, неизбежно, она заговорила о своей работе у Шнейдермана, перечисляя все, чему тот ее научил за последние полтора года, о сварливом сквернословие Шнейдермане, который водил ее по воскресеньям в Бауэри искать старых пьянчуг и бродяг, сломленных существ с седыми бородами

и нестриженными седыми же патлами, с великолепными головами, головами древних пророков и царей, и Шнейдерман этим людям давал деньги, чтобы приходили к нему в ателье позировать, преимущественно в костюмах, старики, разодетые в тюрбаны и халаты, в бархатных мантиях, так же Рембрандт одевал всякое отребье Амстердама в семнадцатом веке, и они этих людей освещали так же, Рембрандовым светом, где вместе свет и тьма, глубокая тень, сплошь тень с легчайшим мазком света, а Шнейдерман теперь уже достаточно в нее верит и дает ей самой ставить свет, она лично уже несколько десятков таких портретов сделала, и когда она употребила слово *кьяроскуро* и поняла, что Станли понятия не имеет, о чем она толкует, что она с таким же успехом все это время могла говорить по-японски, он бы все равно не понял, но продолжал на нее смотреть, слушать ее, зачарованный и безмолвный, ошарашенный.

То было отвратительное поведение, подумалось ей, стыдобища. К счастью, монолог привело явление главного блюда, отчего ей выпало несколько мгновений для того, чтобы привести в порядок мысли, и когда они принялись за еду (кушанья неизвестны), она уже достаточно успокоилась, чтобы осознать: вся эта несвойственная ей болтовня – ширма, лишь бы защитить себя от разговора о Давиде, ибо то было единственное, о чем ей не хотелось говорить, говорить о чем она отказывалась, а потому пустилась во все эти нелепые тяжкие – только б исхитриться и не показывать свою рану. Станли Фергусон к этому никакого отношения не имел. Он, казалось, человек приличный, он же не виноват, что его не взяли в армию, что он теперь сидит в этом ресторане, одетый в гражданское от хорошего портного, а не месит грязь на каком-нибудь далеком поле боя или его не разрывает на куски на учениях. Нет, в этом он вовсе не виноват, и она была бы бессердечной личностью, если б упрекнула его за то, что он не погиб, однако же как тут не сравнивать, как не задаваться вопросом, отчего этому человеку быть живым, а Давиду – мертвым?

Несмотря на все это, ужин прошел умеренно неплохо. Едва Станли оправился от начального потрясения и вновь сумел дышать, оказалось, что он тип обаятельный, не слишком о себе мнит, как столь многие другие мужчины, а внимателен и учтив, остроумием, быть может, и не блещет, но юмор ценит, он смеялся, когда она произносила что-нибудь даже отдаленно смешное, а когда заговорил о своей работе и планах на будущее, Розе стало ясно, что в нем есть что-то крепкое, на что можно опереться. Жаль, что он человек деловой и не интересуется Рембрандтом или фотографией, но он хотя бы за ФДР<sup>1</sup> (это важно) и, похоже, достаточно честен, чтобы признавать, что знает мало – или вообще ничего – о многом, включая живопись семнадцатого века и искусство фотоснимка. Он ей понравился. Она сочла, что быть с ним приятно, но хоть он и располагал всеми или большинством свойств так называемой «завидной партии», она понимала, что нипочем не увлечется им так, как на то рассчитывала Ненси. После ужина в ресторане они с полчаса побродили по тротуарам среднего Манхэттана, зашли выпить в «Пристанище Мо», где помахали дяде Арчи, трудившемуся за клавишами рояля (он щедро им ухмыльнулся и помахал), а затем Станли проводил ее до родительской квартиры на Западной Пятьдесят восьмой улице. Поднялся с нею на лифте наверх, но в дом она его не пригласила. Протянув руку на прощание (и умело увернувшись от любой попытки упредительного поцелуя), она поблагодарила его за прелестный вечер, после чего отвернулась, отперла дверь и зашла в квартиру, почти уверенная, что никогда больше его не увидит.

Со Станли дело, конечно, обстояло иначе – иначе оно обстояло с первого же мгновения того первого свиданья, – и поскольку он ничего не знал про Давида Раскина и скорбящее сердце Розы, то прикинул, что действовать ему придется быстро, ибо такая девушка, как Роза, – не из тех, кто надолго засидится в одиночестве, мужчины, вне всяких сомнений, так и вьются вокруг нее, она неотразима, каждая частица ее вопиет о своей милости, красоте и доброте, и впервые в жизни Станли вознамерился совершить невозможное: посрамить всевозрастающую

<sup>1</sup> Фрэнклин Делано Рузвельт. – Зд. и далее примеч. перев.

орду ухажеров Розы и завоевать ее самому, поскольку то была женщина, на которой он решил жениться, а если Роза женой его не станет, то ею не станет больше никто.

Следующие четыре месяца он являлся к ней часто – не настолько, чтобы надоест, но регулярно, настойчиво, с неослабным вниманием и решимостью, обходя с флангов своих воображаемых соперников с тем, что ему самому представлялось стратегической хитростью, однако истина заключалась в том, что никаких серьезных соперников вокруг не было, лишь двое-трое других мужчин, с которыми Ненси ее познакомила уже после того, как Роза встретила Станли в октябре, но одного за другим этих мужчин она забраквала, отвергла их дальнейшие приглашения и продолжала выжидать, а это означало, что рыцарь Станли идет в атаку по безлюдному полю, хоть и видит повсюду вокруг призрачных врагов. Чувства Розы к нему не изменились, но она предпочитала его общество одиночеству своей комнаты, уж лучше так, чем после ужина слушать радио с родителями, и потому она редко отказывалась, когда он приглашал ее где-нибудь провести вечер, ходила с ним кататься на коньках, играть в кегли, танцевать (да, танцором он был замечательным), слушать Бетховена в «Карнеги-Холле», смотреть две бродвейские оперетты и несколько фильмов. Она быстро поняла, что драмы на Станли не действуют (он задремал на «Песни Бернадетты» и на «По ком звонит колокол»), однако на комедиях глаза его неизменно оставались открытыми, например, на «Чем больше, тем веселей» – со вкусом снятой безделке о военной нехватке жилья в Вашингтоне, развеселившей их обоих, в главных ролях Джоэль Маккри (такой красавец) и Джина Артур (одна из любимых актрис Розы), однако самое сильное впечатление на нее произвела фраза, сказанная другим артистом, реплика, произнесенная Чарльзом Кобурном, который играл нечто вроде купидона в обличье старого американского жирдяя, и повторенная им на протяжении фильма не раз и не два: *высший класс, опрятный, приятный молодой человек*, – как будто она была заклинанием, превозносившим достоинства мужа такого типа, какого следует желать любой женщине. Станли Фергусон был опрятен, приятен и все еще относительно молод, а если *высший класс* означал добропорядочность, любезность и послушание закону, то и все это в нем имелось, да только Роза далеко не была уверена, что ищет именно таких достоинств – уж точно после той любви, что была у них с пылким и мятущимся Давидом Раскиным, любви, что временами бывала утомительна, но ярка и всегда неожиданна в своих постоянно переменчивых обличьях, в то время как Станли казался таким мягким и предсказуемым, таким надежным, и она задавалась вопросом, достоинство или же недостаток – такое постоянство характера.

С другой стороны, он грубо ей не навязывался, не требовал у нее поцелуев, которые, знал он, Роза не желала ему выделять, хоть теперь уже и было очевидно, что он в нее влюблен до беспамятства, и всякий раз, когда они были вместе, ему приходилось бороться с собой, чтобы не коснуться ее, не поцеловать, не навязаться.

С другой стороны, когда она ему сказала, какая красавица, на ее взгляд, Ингрид Бергман, он на это ответил пренебрежительным смешком, посмотрел ей в глаза и ответил со спокойнейшей из спокойных уверенностей, что ей Ингрид Бергман и в подметки не годится.

С другой стороны, в конце ноября случился холодный день, когда он без предупреждения появился в ателье Шнейдермана и попросил сделать его портрет – чтобы снимал не Шнейдерман, а она.

С другой стороны, ее родители его одобряли, одобрял его Шнейдерман и даже Мильдред, Герцогиня Сноб-Холла, выразила о нем свое благосклонное мнение, провозгласив, что Розе все могло удалиться гораздо хуже.

С другой стороны, случались у него и моменты вдохновения, необъяснимые припадки буйства, когда что-то в нем временно вылетало на волю, и он превращался в сорвиголову и бесшабашного проказника – например, тем вечером, когда выкаблучивался перед нею в кухне у родителей: жонглировал тремя сырыми яйцами, добрые две минуты поддерживал их на лету с головокружительной скоростью и точностью, после чего одно шмякнулось на пол, и тут он



намеренно выпустил из рук два других, а за беспорядок извинился, пожав плечами, как немой комедиант, односложно объявив: Ой.

Все эти четыре месяца они виделись раз или два в неделю, и даже если Роза не могла отдать свое сердце Станли так же, как он отдал ей свое, она была ему благодарна за то, что поднял ее с земли и вновь поставил на ноги. При равенстве всего прочего она была б довольна, если бы все продолжалось точно так же еще сколько-то, но едва ей начало быть с ним удобно, едва она стала наслаждаться той игрой, в какую они играли вместе, Станли вдруг резко изменил правила.

Подходил к концу январь 1944-го. В России только что завершилась девятисотдневная блокада Ленинграда; в Италии немцы прижали союзников под Монте-Кассино; на Тихом океане американские войска были готовы начать наступление на Маршалловы острова; а на внутреннем фронте, на краю Центрального парка в городе Нью-Йорке, Станли предлагал Розе выйти за него замуж. Над головой горело яркое зимнее солнце, безоблачное небо было глубокого и сверкающего оттенка синевы – той хрустальной синевы, что окутывает Нью-Йорк лишь определенными днями в январе, – и в тот солнечный воскресный день в тысячах миль от кровопролития и бойни Станли говорил ей, что свадьба – или ничто, он перед нею преклоняется, он никогда ни к кому так не относился, весь очерк его будущего от нее зависит, и если она его отвергнет, он ее больше никогда не увидит, мысль о том, чтобы увидеть ее опять, будет для него тогда попросту чересчур, а потому он исчезнет из ее жизни навеки.

Она попросила у него неделю. Все это так внезапно, сказала она, так неожиданно, что ей нужно немножко подумать. Конечно, ответил Станли, возьми недельку на обдумывание, я перезвоню в следующее воскресенье, ровно через неделю, а потом, когда они расставались у входа в парк с Пятьдесят девятой улицы, – впервые поцеловались, и впервые с тех пор, как они познакомились, Роза увидела, как в глазах Станли блестят слезы.

Исход, разумеется, был давно написан. Он не только возникает в виде статьи во всеобъемлющем авторизованном издании «Книги земной жизни», но и обнаруживается в Манхаттанском архивном бюро, где книга записей гражданского состояния извещает нас, что Роза Адлер и Станли Фергусон сочетались браком 6 апреля 1944 года, ровно за два месяца до высадки союзников в Нормандии. Мы знаем, что решила Роза, стало быть, но почему она пришла к своему решению – вопрос сложный. Много в нем было различных составляющих, каждая – в согласии и противопоставлении с другими, а поскольку о них всех Роза не была единого мнения, для будущей матери Фергусона неделя оказалась трудной и мучительной. Первое: зная, что Станли – человек слова, она содрогалась от мысли, что никогда больше его не увидит. К добру ли, к худу ли, но после Ненси он теперь стал ее лучшим другом. Второе: ей уже исполнился двадцать один год, она еще была достаточно молода, чтобы считаться молодой, но – не такой молодой, как большинство невест в ту пору, поскольку для девушек было не редкостью надевать свадебное платье в восемнадцать или девятнадцать, а последнее, чего Розе хотелось, – остаться незамужней. Третье: нет, Станли она не любила, но это доказанный факт – не все браки по любви оказывались успешными союзами, а она где-то читала, что браки по расчету, господствующие в традиционных иностранных культурах, были не более и не менее счастливыми, чем браки на Западе. Четвертое: нет, она не любила Станли, но правда была в том, что любить кого-нибудь она и не могла – после своей Великой Любви к Давиду, поскольку Великая Любовь случается лишь раз в жизни человека, а следовательно, Розе придется согласиться на нечто не столь идеальное, если не хочется провести весь остаток своих дней в одиночестве. Пятое: в Станли не было ничего такого, что ее бы раздражало или отвращало. Мысль заниматься с ним сексом противна ей не была. Шестое: он ее любил до безумия и обращался с нею по-доброму и уважительно. Седьмое: в гипотетической дискуссии о браке всего двумя неделями раньше он ей сказал, что женщины должны быть свободны и блюсти собственные интересы, их жизнь не должна вращаться исключительно вокруг мужей. Это он о работе? – спро-

сила она. Да, о работе, ответил он, – среди прочего. Это значило, что замужество за Станли не повлечет за собой отказа от Шнейдермана, она сможет продолжить свой труд – учебу на фотографа. Восьмое: нет, она все-таки не любит Станли. Девятое: многим в нем она восхищалась, спору нет – хорошее в нем сильно перевешивало не столь хорошее, но почему он все время засыпает в кино? Устает от долгой работы у себя в магазине – или эти опускающиеся веки намекают на некое отсутствие связи с миром чувств? Десятое: Ньюарк! Можно ли вообще там жить? Одиннадцатое: Ньюарк – вот действительно загвоздка. Двенадцатое: ей пора съехать от родителей. Она уже слишком стара жить в той квартире, и как бы дороги ни были ей мать с отцом, обоих она презирала за двуличность – отца за то, что по-прежнему гоняется за юбками и не кается, мать за то, что делает вид, будто этого не замечает. Вот буквально на днях, вполне случайно, когда шла обедать в закусочную-автомат недалеко от ателье Шнейдермана, – заметила отца, тот шел под ручку с совершенно не знакомой ей женщиной, лет на пятнадцать-двадцать моложе него, и Розе стало так тошно, она так разозлилась, что захотелось подбежать к отцу и надавать ему по физиономии. Тринадцатое: если она выйдет за Станли, то, наконец, хоть в чем-то обскочет Мильдред, пусть и неясно, интересуется ли брак Мильдред вообще. Покамест сестра ее, похоже, вполне счастлива перескакивать от одного краткого романчика к другому. Молодец Мильдред, но Розе было совершенно неинтересно так жить. Четырнадцатое: Станли зарабатывал деньги, и, судя по тому, как дела обстояли сейчас, со временем он будет их зарабатывать еще больше. Такая мысль утешала, но и тревожила. Чтобы зарабатывать деньги, нужно все время о них думать. Получится ли жить с человеком, чья единственная забота – его банковский счет? Пятнадцатое: Станли считает ее самой красивой женщиной Нью-Йорка. Она знала, что это не так, но у нее не было сомнений в том, что Станли честно в это верит. Шестнадцатое: на горизонте больше никого нет. Даже если Станли никогда не станет другим Давидом, он намного превосходит эту шайку сопливых нытиков, которых ей подсылала Ненси. Станли хотя бы взрослый. Станли хотя бы никогда не жалуется. Семнадцатое: Станли – такой же еврей, как она сама еврейка, верный соплеменник, но его не интересуется религия, он не клялся в верности Богу, а это будет означать жизнь, не отягощенную ритуалами и суевериями, всего лишь подарки на Ханукку, маца да четыре вопроса раз в год весной, обрезание для мальчика, если у них вообще родится мальчик, но никаких молитв, никаких синагог, никакого притворства, что она верит в то, во что не верит, во что они не верят. Восемнадцатое: нет, она не любит Станли, но Станли любит ее. Вероятно, для начала этого довольно, первый шаг. А потом – кто знает?

Медовый месяц они провели на озерном курорте в Адирондаках, недельное посвящение в таинства супружеской жизни, краткое, но нескончаемое, поскольку каждому мигу, казалось, придана тяжесть часа или дня просто от новизны всего, что они переживали, период нервозности и кокетливых уступок, крохотных побед и интимных откровений, за который Станли преподал Розе первые для нее уроки вождения машины и научил ее начаткам тенниса, а потом они вернулись в Ньюарк и обосновались в квартире, где проживут все первые годы их брака, – трехкомнатной, на Ван-Велсор-плейс в районе Виквоик. Шнейдерман подарил ей на свадьбу оплаченный месячный отпуск, и за три недели, что оставались ей до возвращения на работу, Роза лихорадочно выучилась готовить, исключительно полагаясь на крепкое старое руководство по американской стряпне, которое мать подарила ей на день рождения, «Поваренную книгу поселения», несшую подзаголовок «Путь к сердцу мужчины», – шестисотдвадцатитрехстраничный том, собранный миссис Саймон Кандер, включавший в себя «Проверенные рецепты кухонь бесплатных средних школ и профессионально-технических училищ для девочек штата Мильвоки, авторитетных диетологов и опытных домохозяек». Поначалу случались многочисленные бедствия, но Роза всегда училась быстро, и уж если решала чего-нибудь добиться, то обычно и добивалась этого сравнительно успешно, но даже в те первые дни проб и ошибок, пережаренного мяса и разваренных овощей, клейких пирогов и комковатого пюре Станли не сказал ей ни единого дурного слова. Как ни испорчена была еда, которую она ему подавала, он спокойно

клял в рот все до единого кусочка, с явным наслаждением жевал, а потом, каждый вечер, каждый до единого вечер поднимал на нее взгляд и говорил, как вкусно это было. Иногда Роза спрашивала себя, не дразнит ли ее Станли – или же он слишком рассеян и не замечает, чем она его кормит, но так же, как с ее стряпней, было и со всем остальным, касавшимся их совместной жизни, и стоило Розе обратить внимание, то есть подбить итог всем случаям возможного раздора между ними, как она пришла к поразительному, вообще невообразимому заключению, что *Станли ее никогда не критиковал*. Для него она была совершенным существом, безупречной женщиной, безупречной женой и, следовательно, в теологической пропозиции, утверждавшей неизбежное существование Бога, все, что бы ни делала она, ни говорила и ни думала, было непременно совершенным, обязательно должно было быть совершенным. После того как она почти всю свою прежнюю жизнь делила спальню с Мильдред – той самой Мильдред, кто врезала замки в ящики своего комода, чтобы ее младшая сестра не брала у нее ничего поносить, той самой Мильдред, кто звала ее *пустоголовой* за то, что так часто ходит в кино, – теперь ей довелось делить спальню с мужчиной, считавшим ее совершенством, больше того: этот мужчина в той же самой спальне быстро научался тому, как обращаться с нею так, как ей больше всего нравилось.

Ньюарк был тосклив, но квартира – просторнее и ярче, чем у ее родителей за рекой, а вся обстановка в ней была новой (лучшее из того, что мог предложить «Домашний мир 3 братьев», – не лучшее вообще, быть может, но пока сгодится), а как только она вновь начала работать на Шнейдермана, большой город оставался основной частью ее жизни – ее заветный, задрипанный, загребистый Нью-Йорк, столица человеческих лиц, горизонтальная Вавилонская башня человеческих языков. Ежедневная поездка на работу для нее состояла из медленного автобуса до поезда, двенадцати минут поездом от одного Пенсильванского вокзала до другого, а затем короткой прогулки пешком до ателье Шнейдермана, но она была не прочь ездить – вокруг же столько людей, на которых можно смотреть, а особенно любила она тот миг, когда поезд втягивался в Нью-Йорк и останавливался, за чем всегда следовала краткая пауза, как будто мир затаивал дыхание в безмолвном предвкушении, и тут двери открывались, и все выскакивали наружу, вагон за вагоном изрыгал пассажиров на внезапно становившийся тесным перрон, и она упивалась скоростью и целеустремленностью этой толпы, все неслись в одну сторону, а она – частичка этого, посреди всего, в пути на работу вместе со всеми. От такого она себя чувствовала независимой: привязана к Станли, но в то же время сама по себе, а это было для нее новое чувство, хорошее, и пока она шла вверх по пандусу и вливалась в другую толпу на открытом воздухе, и направлялась к Западной Двадцать седьмой улице – воображала разных людей, кто будет в тот день заходить в ателье, матерей и отцов с новорожденными детишками, маленьких мальчиков в бейсбольных формах, древние парочки, усаживающиеся рядом сняться на портрет к сороковой или пятидесятой своей годовщине, ухмыляющихся девушек в мантиях и академических шапочках, женщин из женских клубов, мужчин из мужских, новичков-полицейских в парадных синих мундирах и, конечно, солдат – всегда новых и новых солдат, иногда с женами или невестами, или с родителями, но по большей части в одиночку, одиноких солдат в увольнительной в Нью-Йорке, или вернувшихся домой с фронта, или готовых отправиться куда-то убивать или быть убитыми, и она молилась за них всех, молилась, чтобы все вернулись со всеми конечностями при все еще дышащих телах, молилась каждое утро, пока шла с Пенсильванского вокзала до Западной Двадцать седьмой улицы, чтобы война поскорее закончилась.

В общем, не имелось у нее никаких серьезных сожалений, никаких мучительных соображений задним числом о том, что она приняла предложение Станли, но брак их, вместе с тем, не был лишен определенных изъянов – ни в одном из них нельзя было напрямую упрекнуть Станли, но все же, выйдя за него, она вышла еще и за его родню, и всякий раз, стоило ей столкнуться с этой бессмысленной троицей неудачников, ей становилось интересно, как

Станли удалось пережить детство и не спятить так же, как они. В первую очередь – с его матерью, по-прежнему энергичной Фанни Фергусон, которой уже было к семидесяти, росточком всего лишь пять футов два – два с половиной, седовласой брюзгой, вечно насупленной и суетливо-настороженной, она всегда бормотала что-то себе под нос, сидя в одиночестве на кушетке на семейных сборищах, одна – потому, что никто не осмеливался к ней и близко подойти, особенно пятеро ее внуков, возрастом от шести до одиннадцати, которых она не на шутку пугала до смерти, ибо, не задумываясь, лупила их по головам, если они вели себя неподобающе (если неподобающим можно было считать хохот, визг, прыжки, столкновения с мебелью и громкая отрыжка), а когда не могла дотянуться, чтобы треснуть, – орала на них так громко, что дребезжали абажуры. Когда Роза впервые с ней встретилась, Фанни ущипнула ее за щеку (довольно сильно, у нее заболело) и объявила Розу ладной девушкой. А потом весь остаток того визита не обращала на нее ни малейшего внимания, как бывало и во все остальные визиты, и не происходило меж ними никакого общения, кроме обмена пустыми формальностями, здравствуйте-до свиданья, но, поскольку Фанни являла то же безразличие и к двум другим своим снохам, Милли и Джоан, как личное оскорбление Роза это не расценивала. Фанни заботили только ее собственные сыновья, они ее поддерживали и появлялись исправно у нее в доме каждую пятницу вечером на ужин, а вот женщины, на которых эти сыновья женились, оставались для нее просто-напросто тенью, и почти никогда она не могла вспомнить, как кого зовут. Все это Розу не очень-то беспокоило – ее общение с Фанни было редким и от случая к случаю, – а вот братья Станли – совсем другое дело, поскольку они на него работали, и она видела их каждый день, а как только до нее дошел потрясающий факт: эти двое – самые красивые мужчины, кого она в жизни видела, просто боги, а не мужчины, похожие на Эррола Флинна (Лью) и Кери Гранта (Арнольд), – у нее развилась сильная неприязнь к обоим. Они были мелки и нечестны, как ей казалось, тот, что постарше, Лью, не тупой, но изувеченный своей страстью к азартным ставкам на футбольные и бейсбольные матчи, а тот, что помладше, Арнольд, чуть ли вообще не идиот, похабник с остекленевшим взглядом, он слишком много пил и никогда не упускал случая дотронуться до рук ее и плеч, пожать ей руки и плечи, он звал ее *Куколка*, *Детка* и *Красотка*, и ее отвращение к нему все больше углублялось. Ей страшно не нравилось, что Станли предоставил им работу в магазине, она терпеть не могла, что у него за спиной они над ним насмеются, а то и прямо в лицо, доброму Станли, кто стократ больше мужчина, чем они, однако же Станли делал вид, будто этого не замечает, мирился с их подлостью, леностью и насмешками без единого слова поперек, выказывал столько терпимости, что Роза недоумевала, не вышла ли она ненароком замуж за святого, за одну из тех редких душ, кто никогда ни о ком дурно не думает, хотя опять-таки, рассуждала она, может, он всего-навсего рохля, который так никогда и не научился стоять за себя и давать сдачи. Почти безо всякой помощи братьев он превратил «Домашний мир» в выгодное предприятие, крупный, залитый светом дневных ламп торговый центр кресел и радиоприемников, обеденных столов и ледников, спальных гарнитуров и блендеров «Уэринг», в торговлю предметами среднего качества с большим объемом сбыта, нацеленную на клиентуру со средними или невысокими доходами, по-своему чудесный рынок двадцатого века, но, зайдя в магазин несколько раз в первые после медового месяца недели, Роза перестала туда заглядывать – не только потому, что сама вернулась на работу, но из-за того, что среди братьев Станли ей было тягостно, несчастно, совершенно неуместно.

И все равно ее разочарование в свойственниках несколько смягчалось женами и детьми братьев – теми Фергусонами, кто и Фергусонами-то не были, теми, кто не переживали всех бедствий, выпавших на долю Айка, Фанни и их потомства, – и в Милли и Джоан Роза быстро нашла себе новых подруг. Обе женщины были намного старше нее (тридцать четыре и тридцать два), но обе приняли ее в свое племя как равную, даровав ей полный статус в день ее свадьбы, что, среди прочего, означало, что ей дадено право знать все невесткины секреты. Самое большое впечатление на Розу произвела тараторка Милли, кутившая без продыху, женщина

до того худая, что, казалось, у нее под кожей не кости, а проволока, сообразительная, самоуверенная, понимавшая, за какого человека в лице Лью она вышла замуж, но сколь верна ни была бы она своему прожженному распутному супругу, это не мешало ей нескончаемо язвить и остерить по его поводу, подпускать такие умные ядовитые реплики, что Розе иногда приходилось выскакивать из комнаты, чтобы не лопнуть от хохота. Рядом с Милли Джоан выглядела чуть ли не дурочкой, но была такой душевной и щедрой, что ей до сих пор не приходило в голову, что она вышла за остолопа, и все же, чувствовала Роза, до чего хорошая она мать, такая нежная, терпеливая и заботливая, а вот острый язычок Милли часто ввергал ее в свары с детьми, которые не были так послушны, как у Джоан. У Милли их было двое – одиннадцатилетний Эндрю и девятилетняя Алиса, у Джоан трое – десятилетний Джек, восьмилетняя Франси и шестилетняя Руфь. Все они нравились Розе по-своему, не считая, может, Эндрю, в котором чувствовалось что-то грубое и воинственное, а оттого Милли часто его бранила за то, что он бьет сестренку, но больше всех Роза любила Франси, вне всяких сомнений, Франси была у нее любимицей, она просто не могла с собой ничего поделаться, до чего прекрасным было это дитя, до чего исключительно живым, и когда они познакомились – как будто влюбились друг в дружку с первого взгляда, высокая темно-рыжая Франси сразу бросилась к Розе в объятия, твердя: Тетя Роза, моя новая тетя Роза, ты такая красивенькая, такая красивенькая, теперь мы всегда будем дружить. Так оно и началось, и так продолжалось потом, обе были друг дружкой заморожены, и на свете мало что могло сравниться, ощущала Роза, с тем, как Франси забиралась ей на колени, когда все они усаживались вокруг стола, и начинала ей рассказывать о своей школе, о последней прочитанной книжке, о подруге, сказавшей о ней какую-нибудь гадость, о платье, какое мать купит ей ко дню рождения. Девочка устраивалась поудобнее на мягкой, как подушка, Розе, и, пока что-нибудь рассказывала, та гладила ее по голове, по щеке или спине, а совсем немного погодя ей уже начинало казаться, что она плывет, что они вдвоем покинули и комнату, и дом, и улицу и вместе летят по небу. Да, те семейные сборища могли быть жуткими, но и что-то хорошее в них бывало, неожиданные маленькие чудеса, случавшиеся в самые неожиданные моменты, ведь боги безрассудны, решила для себя Роза, и дарят нам свои подарки, когда и где пожелают.

Розе самой хотелось быть матерью, родить ребенка, выносить ребенка, чтобы у нее внутри билось второе сердце. Ничто с этим сравниться не могло, даже ее работа у Шнейдермана, даже дальний и пока еще плохо определенный умысел когда-нибудь отколоться и стать самостоятельным фотографом, открыть ателье со своей фамилией на вывеске над дверью. Те честолюбивые замыслы не значили ничего, когда она сопоставляла их с простым желанием вывести на свет новую личность, своего сына или дочь, ее собственное чадо, и быть этой личности матерью всю свою оставшуюся жизнь. Станли старался как мог – занимался с нею любовью, не предохраняясь, и оплодотворил ее трижды за первые полтора года их семейной жизни, но все три раза у Розы случался выкидыш, трижды на третьем месяце беременности, и когда они в апреле 1946-го отпраздновали вторую годовщину их супружеской жизни, детей у них по-прежнему не было.

Врачи уверяли, что с ней все в порядке, она здорова и со временем доносит ребенка до нужного срока, но все эти утраты тяжело сказывались на Розе, и по мере того, как один нерожденный ребенок сменял другого, одна неудача вела к следующей, Роза постепенно стала ощущать, что у нее крадут саму ее женскость. Целыми днями после каждого фиаско она плакала, рыдала так, как не рыдала с месяцев после гибели Давида, и обычная оптимистка Роза, вечно крепкая и ясноглазая Роза проваливалась в уныние мрачайшей жалости к себе и скорби. Если б не Станли, трудно сказать, насколько глубоко падала бы она духом, но он оставался стойким и собранным, его не колебали ее слезы, и после каждого утраченного младенца он уверял ее, что это лишь временная загвоздка, а в конце концов все выйдет отлично. Когда он так с нею разговаривал, она ощущала с ним такую близость, так благодарна бывала ему за эту доброту, чувство-



вала себя такой неимоверно любимой. Она не верила ни единому его слову, конечно, – как она могла ему поверить, когда все доводы подтверждали, что он неправ? – но ее эта утешительная ложь успокаивала. И все равно озадачивало, до чего спокойно воспринимал он известие о каждом следующем выкидыше, до чего не мучили его жестокие, кровавые исторжения из ее тела его нерожденных детей. Возможно ли, недоумевала она, что Станли не разделяет ее желанья завести детей? Возможно, он и не знает, что именно так к этому и относится, но вдруг втайне он хочет, чтобы все продолжалось, как раньше, чтобы она принадлежала только ему – жена, только ему одному верная, которая не делит свою любовь между ребенком и отцом? Она никогда не осмеливалась делиться подобными мыслями со Станли, ей и поместиться бы не могло оскорбить его столь необоснованными подозрениями, но сомнение ее не покидало, и она спрашивала себя, не слишком ли хорош был Станли в ролях сына, брата и мужа, и, если так, то для отцовства, быть может, места в нем и не осталось.

5 мая 1945 года, за три дня до того, как в Европе закончилась война, от сердечного приступа замертво упал дядя Арчи. Ему исполнилось сорок девять – до нелепого юный возраст, чтоб падать замертво, а чтоб обстоятельства его кончины оказались еще нелепее, похороны устроили на День победы, и это значило, что, когда онемевшее от горя семейство Адлеров уехало с кладбища и вернулось в квартиру Арчи на Флетбуш-авеню в Бруклине, на улицах всего района танцевали люди, давили на клаксоны машин и разражались буйными криками веселья – праздновали окончание одной половины войны. Шум не стихал много часов, пока вдова Арчи Перл, их девятнадцатилетние дочери-близняшки Бетти и Шарлотта, родители и сестра Розы, сама Роза и Станли, а также четверо еще остававшихся в живых членов «Городского квинтета» и десяток или около того знакомых, родственников и соседей сидели и стояли в безмолвной квартире с задернутыми шторами. Хорошие вести, которых все они так долго ждали, словно бы насмеялись над ужасом смерти Арчи, и торжествующие, поющие голоса сна-ружи казались бессердечным святотатством, как будто весь боро Бруклин танцевал на могиле Арчи. Того дня Роза никогда не забудет. Не из-за собственного горя, которое и само по себе было достаточно памятно, а потому, что Мильдред до того расстроилась, что выхлестала семь скотчей и отключилась на диване, и еще потому, что никогда в жизни не видела она, чтобы ее собственный отец не выдержал и разрыдался. Кроме того, именно в тот день Роза дала себе слово, что если ей когда-нибудь повезет и она родит сына, то назовет его в честь Арчи.

В августе на Хиросиму и Нагасаки упали большие бомбы, к концу подошла вторая половина войны, и в середине 1946 года, за два месяца до второй годовщины брака Розы, Шнейдерман объявил ей, что намерен вскоре уйти на покой и ищет, кто бы купил у него дело. С учетом успехов, каких она добилась за те годы, что они провели вместе, сказал он, имея в виду, что она уже превратилась в умелого и опытного фотографа, он желает знать, не интересно ли ей взять его дело в свои руки. То был высочайший комплимент, какого он ее когда-либо удостаивал. Как бы польщена Роза ни была, однако она знала, что время для такой покупки неподходящее – они со Станли все свои лишние деньги как раз откладывали на приобретение дома в предместье, на одну семью, с задним двориком, деревьями на нем и гаражом на две машины, а покупать и дом, и ателье сразу им было не по карману. Шнейдерману она сказала, что нужно посоветоваться с мужем, и это она, не откладывая, тем же вечером после ужина и сделала, уверенно ожидая, что Станли ответит ей: об этом не может быть и речи, – но он ее огорошил, сказав, что выбор за ней, что, если она готова отказаться от мысли о доме, может покупать себе ателье, если только цена будет для них посильной. Роза прямо-таки опешила. Она знала, что Станли всею душой хотел купить дом, как вдруг он говорит ей, что его и квартира полностью устраивает, что он не прочь жить в ней еще несколько лет, и все это – неправда, а из-за того, что он вот так ей лжет, лжет потому, что обожает ее и хочет, чтобы у нее было все, чего она желает, в Розе тем вечером что-то изменилось, и она поняла, что начинает любить

Станли, поистине любить его, и если жизнь так и дальше будет продолжаться, даже возможно, что она в него влюбится безумно, что ее сразит невозможная вторая Великая Любовь.

Давай не станем торопиться, сказала она. Я об этом доме тоже мечтала, а прыжок от ассистентки до босса – это крупный шаг. Не уверена, что справлюсь. Мы можем об этом немного подумать?

Станли согласился об этом немного подумать. Когда наутро она встретилась на работе со Шнейдерманом, тот тоже согласился, чтоб они об этом немного подумали, а через десять дней после того, как думать она начала, обнаружила, что снова беременна.

Последние несколько месяцев она ходила к новому врачу, к человеку, которому доверяла, по имени Сеймур Джекобс, хорошему и интеллигентному, как ей казалось, врачу, который внимательно ее выслушивал и не спешил с выводами, а из-за трех ее предыдущих самопроизвольных выкидышей этот Джекобс настоятельно посоветовал ей перестать ездить каждый день в Нью-Йорк, бросить работу на весь период беременности и не выходить из дому вообще, как можно больше времени проводить в постели. Он понимал, что такие меры выглядят слишком уж радикальными и слегка старомодными, но он за нее беспокоится и, может, это ее последняя крепкая возможность родить. *Мой последний шанс*, сказала себе Роза, продолжая слушать сорокадвухлетнего врача с крупным носом и полными сочувствия карими глазами, а тот между тем рассказывал ей, как успешно стать матерью. Больше никакого курения и питья, сказал он. Строгая белковая диета, ежедневные витаминные добавки и режим особых упражнений. Раз в две недели он будет ее навещать, а едва она почувствует хоть малейший намек на боль – пусть тут же снимает трубку и набирает его номер. Ей все ясно?

Да, все было ясно. Так и разрешилась дилемма, что покупать, дом или ателье, а это, в свою очередь, положило конец и ее дням у Шнейдермана, не говоря уже о том, что прервалась ее работа фотографом и с ног на голову перевернулась вся жизнь.

Розу охватили одновременно восторг и смятение. Она воодушевилась от того, что у нее по-прежнему был шанс; а смущало то, что придется как-то справиться, по сути, с семью месяцами домашнего ареста. Придется бесконечно приспосабливаться – и не только ей, но и Станли, поскольку это ему придется ходить в магазин и почти все готовить самому, бедняжке, он и без того так много работает, допоздна, а потом еще возникнут дополнительные расходы на женщину, которая станет приходить и убираться в квартире и стирать раз или два в неделю, изменятся почти все грани повседневной жизни, все часы ее бодрствования отныне станут управляться множеством запретов и ограничений, никакого поднятия тяжестей, никаких перестановок мебели, никаких потуг справиться с залившей оконной рамой в летнюю жару, ей придется бдительно за собой следить, тщательно осознавать тысячи мелких и крупных дел, за которые она всегда бралась неосознанно, и, разумеется, никакого больше тенниса (который она уже любила) и никакого плавания (которое она любила с раннего детства). Иными словами, энергичной, спортивной, без усталости движущейся Розе, которая лучше всего ощущала себя, отдаваясь порыву какой-нибудь скоростной, всепоглощающей деятельности, теперь придется научиться сидеть смирно.

А спасла ее от перспективы смертельной скуки не кто-нибудь, а Мильдред – вмешалась и преобразовала эти месяцы бездвижности в то, что Роза впоследствии описывала своему сыну как *великое приключение*.

Ты ж не можешь сидеть весь день в квартире, слушать радио да смотреть эту белиберду по телевидению, сказала Мильдред. Давай-ка у тебя мозги в кои-то веки поработают, авось наверстаешь?

Наверстаю? – переспросила Роза, не понимая, что Мильдред имеет в виду.

Возможно, ты этого не сознаешь, сказала сестра, но твой врач преподнес тебе необычайный подарок. Он заключил тебя в тюрьму, а у заключенных есть то, чего нет у других, –

время, нескончаемое количество времени. Читай книги, Роза. Начни самообразование. Это твой шанс, и если хочешь, чтобы я тебе помогала, я буду счастлива помочь.

Помощь Мильдред явилась в виде списка чтения – первого из нескольких списков чтения за последующие месяцы, и, поскольку кинотеатры теперь оказались недостижимы, впервые в жизни Роза удовлетворяла свой голод на истории романами, хорошими романами, не детективами или бестселлерами, к которым ее могло бы притянуть самостоятельно, а книгами, которые рекомендовала Мильдред, уж точно классикой, но неизменно подобранной с учетом вкусов Розы, книгами, которые, по мысли Мильдред, понравятся Розе, а это значило, что ни «Моби-Дика», ни «Улисса», ни «Волшебной горы» в этих списках никогда не бывало, поскольку такие книги были бы слишком пугающими для скупой обученной Розы, но зато из какого количества других можно выбирать, и пока шли месяцы, а ребенок у нее внутри подрастал, Роза целыми днями купалась в книгах, и хотя среди тех десятков прочитанных попадались разочарования («И восходит солнце», к примеру, которая показалась ей фальшивой и мелкой), почти все остальные заманивали ее в себя и не отпускали своим очарованием от первой страницы до последней, среди них «Ночь нежна», «Гордость и гордыня», «Обитель радости», «Молль Флендерс», «Ярмарка тщеславия», «Грозовой перевал», «Мадам Бовари», «Пармская обитель», «Первая любовь», «Дублинцы», «Свет в августе», «Давид Копперфильд», «Миддлмарч», «Площадь Вашингтона», «Алая буква», «Главная улица», «Джен Эйр» и многие другие, но из всех писателей, кого она для себя открыла в заточении, больше всего сообщил ей именно Толстой, этот бес Толстой, понимавший, как ей казалось, всю жизнь, все, что можно было знать о сердце человеческом и человеческом уме, не важно, мужские это сердце и ум или женские, и как это возможно, недоумевала она, чтобы мужчина знал о женщинах то, что знал Толстой, непостижимо, чтобы один человек мог быть всеми мужчинами и всеми женщинами, а поэтому прошагала она через почти все написанное Толстым, не только большие романы, вроде «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения», но и произведения покороче, повести и рассказы, и ни одно не оказалось для нее мощнее «Семейного счастья», истории о юной невесте и ее постепенном разочаровании, работы, так точно попавшей в цель, что в конце она расплакалась, и когда Станли вернулся вечером в квартиру – с тревогой увидел, в каком она состоянии, ибо хоть она и дочитала рассказ еще в три пополудни, глаза у нее по-прежнему были мокры от слез.

Ребенок должен был родиться 16 марта 1947 года, но в десять утра второго марта, через пару часов после того, как Станли ушел на работу, Роза, еще в ночной сорочке расположившаяся, подпершись подушками, в постели с «Повестью о двух городах», прислоненной к северному склону ее громадного живота, ощутила внезапное давление в мочевом пузыре. Предполагив, что ей нужно помочиться, она медленно выпуталась из укрывавших ее простыни и одеяла, переместила свою исполинскую тушу к краю кровати, спустила ноги на пол и встала. Но не успела сделать и шага к ванной, как ощутила, что по внутренним сторонам бедер у нее течет теплая жидкость. Роза не шевельнулась. Стояла она лицом к окну и, выглянув наружу, увидела, что с неба сеется легкий, туманный снежок. Как неподвижно все в тот миг, сказала она себе, словно ничто на свете не движется, кроме снега. Она снова села на кровать и набрала номер «Домашнего мира 3 братьев», но тот, кто снял трубку, сообщил ей, что Станли вышел по делу и вернется только после обеда. Затем она позвонила доктору Джекобсу, чья секретарша поставила ее в известность, что тот только что отправился к больному на дом. Уже ощущая некоторую панику, Роза попросила секретаршу передать доктору, что она едет в больницу, а потом набрала номер Милли. Ее невестка сняла трубку после третьего гудка, и потому в больницу ее повезла Милли. За короткую поездку до родильного отделения Бет-Израэл Роза поведала ей, что они со Станли уже выбрали имена для ребенка, который вот-вот родится. Если будет девочка, они назовут ее Эсфирь Анн Фергусон. А если мальчик, ему предстоит идти по жизни с именем Арчибальд Исаак Фергусон.

Милли поглядела в зеркальце заднего вида и присмотрелась к Розе, распростершейся на заднем сиденье. Арчибальд, сказала она. Ты уверена?

Да, мы уверены, ответила Роза. Из-за моего дяди Арчи. А Исаак – из-за отца Станли.

Ну, давай будем надеяться, что он станет крепким пацаном, сказала Милли. Она собиралась сказать что-то еще, но изо рта у нее не успело больше вылететь ни единого слова – они подъехали ко входу в больницу.

Милли сыграла полный сбор, и когда Роза на следующую ночь в 2:07 родила сына, там были все: Станли и ее родители, Мильдред и Джоан, даже мать Станли. Так Фергусон и родился, и несколько секунд после того, как исторгся из материна тела, он был самым молодым человеческим существом на всем белом свете.

## 1.1

Мать его звали Розой, и когда он достаточно подрос, чтобы самостоятельно завязывать шнурки и не мочиться в постель, – намеревался на ней жениться. Фергусон знал, что Роза уже замужем за его отцом, но отец его – старик, совсем скоро умрет. Как только это произойдет, Фергусон женится на своей матери, и после этого ее мужа будут звать Арчи, а не Станли. Он будет грустить, когда умрет его отец, но не слишком – не настолько, чтобы лить слезы. Слезы льют младенцы, а он уже не младенец. Бывало, слезы все равно из него выжимались, конечно, но только если он падал и было больно, а когда больно – не считается.

Лучшее на свете – это ванильное мороженое и скакать по родительской кровати. Худшее на свете – когда болит живот и лихорадки.

Он теперь знал, что кислые леденцы опасны. Как бы он их ни любил – понимал, что совать их в рот ему уже нельзя. Они слишком скользкие, и он не мог их не глотать, а поскольку они слишком большие, то до самого низу не проваливались, застревали у него в дыхательном горле, а от этого трудно дышать. Никогда не забудет он, как ему было плохо в тот день, когда он начал давиться, но тут в комнату вбежала мать, подхватила его с пола, перевернула вверх ногами и, одной рукой держа его за ноги, другой колотила по спине, пока леденец не выскочил изо рта и не заскакал с треском по полу. Мать сказала: *Больше никаких леденцов, Арчи. Они слишком опасны.* А потом попросила его помочь ей отнести вазочку леденцов на кухню, и они по очереди выбрасывали красные, желтые и зеленые конфеты по одной в мусорку. Затем его мать сказала: *Adios, леденцы.* Такое смешное слово, *adios*.

Случилось это в Ньюарке, в те давние дни, когда они жили в квартире на третьем этаже. Теперь же они жили в доме – в каком-то месте под названием Монклер. Дом был больше квартиры – правда, квартиру он вообще припоминал с трудом. Если не считать леденцов. Если не считать жалюзи у него в комнате – они трещали, когда окно было открыто. Если не считать того дня, когда мать сложила его колыбельку, он впервые спал один на кровати.

Отец уходил из дома рано поутру, часто – когда Фергусон даже еще не проснулся. Иногда отец приходил домой на ужин, а иногда возвращался, когда Фергусона уже уложили спать. Отец его работал. Этим занимаются взрослые дяди. Уходят каждый день из дома и работают, а от того, что работают, – зарабатывают деньги, а от того, что зарабатывают деньги, – могут покупать всякое своим женам и детям. Так однажды утром объяснила ему мать, пока он смотрел, как от дома отъезжает синяя отцова машина. Устроено вроде неплохо, подумал Фергусон, вот только про деньги не очень понятно. Деньги – такие маленькие и грязные, и как только могут эти мелкие, грязные клочки бумаги добыть тебе что-нибудь большое, вроде дома или машины?

Машин у родителей было две, синий отцов «де-сото» и зеленый материн «шевроле», а вот у самого Фергусона было тридцать шесть машин, и непожими днями, когда на улице бывало слишком мокро, он вытаскивал их из коробки и выстраивал весь свой миниатюрный автопарк на полу в гостиной. Были там и двухдверные машины, и четырехдверные, с откид-

ным верхом и мусоровозы, машины полицейские и «неотложки», такси и автобусы, пожарные и бетономешалки, фургоны и универсалы, «форды» и «крайслеры», «пontiаки» и «студебекеры», «бьюики» и «нэш-рэмблеры», каждая не похожа на другую, двух одинаковых и близко нет, и стоило Фергусону начать катать по полу одну, как он нагибался и заглядывал на пустое место за рулем, а поскольку каждой машине обязательно нужен водитель, чтобы ехала, он и воображал, что за рулем сидит он сам, крохотная фигурка, человечек такой малюсенький, что не больше верхнего сустава Фергусонова мизинца.

Мать курила сигареты, а отец не курил ничего – даже трубку или сигары. «Старое золото». Такое приятное название, думал Фергусон, и как же он хохотал, когда мать выдувала ему кольца из дыма. Иногда отец говорил ей: *Роза, ты слишком много куришь*, – и мать кивала и соглашалась с ним, но все равно продолжала курить столько же, сколько и раньше. Всякий раз, когда они с матерью забирались в зеленую машину и катались по делам, пообедать она заезжала в ресторанчик под названием «Столовка Ала», и как только Фергусон допивал свое шоколадное молоко и дожевывал сэндвич с жареным сыром, мать вручала ему четвертачок и просила купить ей пачку «Старого золота» из сигаретного автомата. Когда ему давали эту монетку, он чувствовал себя взрослым, а это едва ли не лучшее чувство на свете, – и топал в глубину столовки, где у стены между двух уборных стоял этот автомат. Дойдя, он привставал на цыпочки, чтобы сунуть монетку в щель, дергал за рукоятку под столбиком сложенных пачек «Старого золота», а потом слушал, как одна вываливается из громоздкого аппарата и падает в серебристый лоток под рукоятками. Сигареты в те дни стоили не двадцать пять центов, а двадцать три, поэтому к каждой пачке прилагались две новенькие медные монетки по пенни, заткнутые под целлофановую обертку. Мать всегда оставляла Фергусону эти монетки, и тот, пока она курила свою послеобеденную сигарету и допивала кофе, держал их на раскрытой ладонке и рассматривал выгисненный профиль человека на одной стороне. Авраам Линкольн. Или, как мать иногда выражалась, *Честный Ав*.

Помимо маленькой семьи – самого Фергусона и его родителей, – еще можно было думать о двух других семьях: отца и матери, нью-джерсейских Фергусонах и нью-йоркских Адлерах, о большой семье с двумя тетушками, двумя дядюшками и пятью двоюродными – и о маленькой с его дедушкой и бабушкой, а еще с тетей Мильдред, куда иногда включались его двоюродная бабушка Перл и взрослые двоюродные сестры-близняшки Бетти и Шарлотта. У дяди Лью были тоненькие усики, и он носил очки в проволочной оправе, дядя Арнольд курил «Камелы», и у него были рыжеватые волосы, тетя Джоан была низенькой и кругленькой, тетя Милли – чуть повыше, только очень худая, а двоюродные почти никогда не обращали на него внимания, потому что он был гораздо младше их, если не считать Франси, которая иногда с ним нянчилась, если его родители уходили в кино или к кому-нибудь в гости на вечеринку. В нью-джерсейской семье Франси была самой-пресамой любимой его личностью. Она умела рисовать ему очень красивые и сложные замки и рыцарей на конях, разрешала поесть ванильного мороженого, сколько влезет, рассказывала смешные анекдоты и была такой хорошенькой, просто загляденье: длинные волосы у нее казались одновременно каштановыми и рыжими. Тетя Мильдред тоже была хорошенькой, но у нее волосы светлые, не как у его матери – те у нее были темно-коричневые, и хотя мать все время говорила ему, что Мильдред – ее сестра, иногда он это забывал, потому что они друг на друга так не похожи. Дедушку своего он звал Папа, а бабушку – Нана. Папа курил «Честерфильды», а волос у него на голове почти не осталось. Нана была толстенькой и очень интересно смеялась – как будто в горле у нее застряли птички. К Адлерам в гости в нью-йоркскую квартиру ходить было интересней, чем навещать дома Фергусонов в Юнионе и Маплвуде, – не в последнюю очередь потому, что он упивался ездой по Тоннелю Голланд: причудливое это ощущение – путешествовать в подводной трубе, отделанной миллионами одинаковых квадратных кафельных плиток, и всякий раз, когда он отправлялся в это путешествие под водой – не уставал поражаться, до чего аккуратно эти плитки



подогнаны друг к дружке и сколько людей понадобилось, чтобы проделать такую колоссальную работу. Квартира была меньше домов в Нью-Джерси, но у нее имелось преимущество – высота, на шестом этаже здания, и Фергусону никогда не надоедало смотреть в окно гостиной и наблюдать, как вокруг Колумбус-Сёркла ездят машины, ну и потом на День благодарения у нее было и еще одно преимущество: смотреть, как под этим окном проходит ежегодный парад, а исполинский надувной Микки-Маус чуть ли не шмякал его по лицу. Еще хорошего в поездках в Нью-Йорк было то, что, когда он приезжал, его всегда ждали подарки – конфеты в коробках от бабушки, книжки и пластинки от тети Мильдред и всякие особенные штуки от дедушки: самолетик из бальсового дерева, игра под названием «Парчизи» (еще одно отличное слово), колоды игральных карт, комплекты фокусов, красная ковбойская шляпа и пара шестизарядников в настоящих кожаных кобурах. Дома в Нью-Джерси никаких таких сокровищ не предлагали, и потому Фергусон решил, что в Нью-Йорке ему самое место. Когда он спросил у матери, почему им нельзя жить там все время, она широко улыбнулась и ответила: *Спроси своего отца*. А когда он спросил у отца, тот сказал: *Спроси у матери*. Явно, что на какие-то вопросы ответов просто не существовало.

Ему хотелось братика, лучше всего – старшего, но поскольку это уже было невозможно, он согласился бы и на младшего, а если брата нельзя, сойдет и сестра, даже младшая. Часто ему бывало одиноко, не с кем поиграть или поговорить, а жизненный опыт его научил, что у каждого ребенка есть брат или сестра – или даже несколько братьев и сестер, он же, насколько можно было судить, был единственным исключением из этого правила вообще где бы то ни было на свете. У Франси были Джек и Руфь, Эндрю и Алиса располагали друг дружкой, у его друга Бобби, жившего дальше по улице, были брат и две сестры, и даже его собственные родители детство свое провели в обществе других детей: двух братьев у отца и одной сестры у матери, – поэтому просто как-то нечестно, что он – единственный из миллиардов людей на земле, кому приходится проводить свою жизнь в одиночестве. Он нечетко представлял себе, как получают дети, но понимал уже достаточно, что начинаются они где-то в теле у своих матерей, поэтому матери для такого дела очень важны, а значит, следует поговорить с матерью для того, чтобы его положение сменилось с единственного ребенка на чьего-нибудь брата. Наутро он поднял этот вопрос, в лоб попросив мать, не могла бы она заняться наконец делом и изготовить ему нового младенца. Мать пару секунд постояла молча, затем опустилась на колени, посмотрела ему в глаза и взялась гладить его по голове. Странное дело, решил Фергусон, рассчитывал он совершенно не на это, и миг-другой его матери, похоже, было грустно – так грустно, что Фергусон тут же пожалел, что задал этот вопрос. Ох, Арчи, сказала она. Конечно же, тебе хочется братишку или сестренку, и я б очень хотела, чтобы они у тебя были, но я, кажется, больше не смогу иметь деток, и больше их у меня не будет. Мне было тебя очень жалко, когда мне так доктор сказал, но потом я подумала: может, это и не так плохо, в конце-то концов. И знаешь почему? (*Фергусон покачал головой*.) Потому что я так сильно люблю моего маленького Арчи, а как бы я могла любить другого ребеночка, если вся любовь, что во мне есть, – только для тебя?

Это не просто временная незадача, осознал теперь он, это навеки. Никогда никаких братьев или сестер – и, поскольку для Фергусона такое состояние дел было совершенно непереносимым, он выбрался из этого тупика, изобретя себе воображаемого брата. От отчаяния, возможно, но ведь правда же: хоть что-то – лучше, чем ничего, и пусть он даже не может это что-то видеть, трогать или нюхать, какой еще у него выбор? Своего новорожденного братика он назвал Джоном. Поскольку законы действительности тут уже не применялись, Джон был старше его – на четыре года, а это значило, что он выше, сильнее и умнее Фергусона, и, в отличие от Бобби Джорджа, жившего на той же улице, коренастого, ширококостного Бобби, который дышал ртом, потому что нос у него вечно бывал забит мокрыми зелеными соплями, Джон умел читать и писать, а еще был чемпионом по бейсболу и футболу. Фергусон старался

никогда не разговаривать с ним вслух на людях, поскольку Джон был его тайной, и Фергусон не хотел, чтобы кто-нибудь про него знал – даже отец с матерью. Проболтался он всего разок, но это сошло ему с рук, потому что в тот миг рядом была только Франси. Тем вечером она сидела с ним и, когда вышла на задний двор и случайно услышала, как он рассказывает Джону про лошадку, какую хочет себе на следующий день рождения, – спросила, с кем это он разговаривает. Фергусону Франси так нравилась, что он сказал ей правду. Думал, она станет над ним смеяться, но Франси только кивнула, как бы выражая свое одобрение мысли о воображаемых братьях, и поэтому Фергусон ей разрешил тоже поговорить с Джоном. Много месяцев потом, когда он встречался с Франси, она сперва здоровалась с ним обычным голосом, а потом нагибалась ему к уху и шептала: Привет, Джон. Фергусону еще и пяти лет не исполнилось, а он уже понимал, что мир состоит из двух царств, видимого и невидимого, и то, чего не увидишь, часто больше настоящее, чем то, что увидеть можно.

Два лучших места, куда можно было ходить в гости, – это дедова контора в Нью-Йорке и отцов магазин в Ньюарке. Контора располагалась на Западной Пятьдесят седьмой улице, всего в квартале от того дома, где жили дед с бабушкой, а в ней самым хорошим было то, что она помещалась на одиннадцатом этаже, еще выше квартиры, а оттого глядеть из окна там было еще интересней, чем на Западной Пятьдесят восьмой улице, потому что взгляд мог проникать еще глубже в окружающую даль и охватывать еще больше зданий, не говоря уж про почти весь Центральный парк, а на улице внизу машины и такси казались такими маленькими, что напоминали автомобильчики, какими он играл дома. К тому же в конторе хорошим еще были большие письменные столы с печатными машинками и арифмометрами на них. От щелканья пишущих машинок он иногда задумывался о музыке, особенно если в конце строки лязгал колокольчик, но еще он думал и о сильном дожде, который лил на крышу дома в Монклере, и о том, как в оконное стекло бросают мелкий гравий. Секретаршей у его деда была костлявая женщина по имени Дорис, у которой на руках росли черные волосы, и пахло от нее мятыми пастилками, но ему нравилось, как она звала его «мастер Фергусон» и давала печатать на своей машинке, которую называла «Сэр Ундервуд», и теперь, когда он уже начинал учить буквы алфавита, утешительно было уметь положить пальцы на клавиши этого тяжелого инструмента и выстучать строчку *a* и *y*, например, или, если Дорис бывала не очень занята, попросить ее помочь ему написать его имя. Магазин в Ньюарке был гораздо больше конторы в Нью-Йорке, а в нем – больше всяких штук, не только печатная машинка и три арифмометра в кладовке, а ряды за рядами мелких приборов и крупных устройств, а на втором этаже – целый участок для кроватей, столов и стульев, без счета кроватей, столов и стульев. Трогать их Фергусону не разрешали, но, если отца и дядьев рядом не было или они отворачивались, он временами приоткрывал дверцу холодильника понюхать, как странно там пахнет внутри, или же взбирался на кровать попробовать упругость матраса, и даже когда его время от времени за этим занятием застукивали, никто чересчур не злился, только дядя Арнольд порой, который рывкал на него и ворчал: Руки прочь от товара, сынок. Ему не нравилось, что с ним так разговаривают, а особо не пришлось ему по нраву, когда однажды в субботу дядя отвесил ему подзатыльник, потому что саднило потом так сильно, что он даже плакал, зато теперь, раз он подслушал, как мать его сказала отцу, что дядя Арнольд балбес, Фергусону стало почти безразлично. Как бы то ни было, кровати и холодильники никогда не занимали его надолго – теперь смотреть можно было еще и на телевизоры, на только что изготовленные «Филко» и «Эмерсоны», царившие в витрине над всеми остальными товарами: двенадцать или пятнадцать моделей стояли рядом у стены слева от входа, все включены, но без звука, и ничто так не нравилось Фергусону, как переключать на этих приемниках каналы так, чтобы на всех одновременно показывали семь разных передач, – что за бредовый вихрь кавардака это вызывало, на первом экране мультик, а на втором вестерн, на третьем «мыльная опера», а на четвертом церковная служба, и реклама на пятом, а диктор с новостями на шестом, и на седьмом футбол. Фергусон перебегал от одного

экрана к другому, потом крутился на месте, пока у него едва в глазах не темнело, постепенно отступая в кружении своем от экранов, чтобы, когда замрет, ему стало видно все семь сразу, а если он видел, как в одно и то же время происходит столько всего, его это неизменно смешило. Смешно, так смешно это было, и отец ему это разрешал, потому что отца это смешило тоже.

Однако отец его почти никогда не смеялся. Он работал долгие шесть дней в неделю, самыми долгими были среда и пятница, когда магазин закрывался только в девять часов, а по воскресеньям он спал до десяти или половины одиннадцатого, а днем играл в теннис. Любимой командой у него было: *Слушайся мать*. Любимым вопросом: *Ты себя хорошо вел?* Фергусон старался вести себя, как хороший мальчик, и слушаться мать, но иногда это ему не удавалось, и он забывал быть хорошим или слушаться, но самым удачным в таких промахах бывало то, что отец их, похоже, никогда не замечал. Вероятно, бывал слишком занят, и Фергусон за это был благодарен, поскольку мать наказывала его редко, даже если он забывал слушаться или быть хорошим, а поскольку отец никогда не орал на него так, как на своих детей орала тетя Милли, и никогда его не лупил, как дядя Арнольд иногда лупил его двоюродного, Джека, Фергусон пришел к выводу, что его семейная ветвь Фергусонов – лучшая, пусть и слишком маленькая. Но все равно, случалось, отец его смешил, а поскольку случаев таких бывало мало и были они редки, Фергусон смеялся еще сильнее, чем мог бы смеяться, случайся такие разы чаще. Одна смешная штука вот такая: подбросить его в воздух, и от того, что отец его был таким сильным, а мышцы у него – такие твердые и большие, Фергусон взлетал чуть ли не к самому потолку, если дома, и даже еще выше потолка, если на заднем дворе, и ни разу не приходило ему в голову, что отец его уронит, а это значило, что ему бывало при этом до того надежно, что он распахивал пошире рот и оглашал воздух хохотом из самого своего нутра. Еще смешное: смотреть, как отец жонглирует апельсинами в кухне, – а третья смешная штука – слышать, как он пукает, не просто потому, что пукать само по себе смешно, а потому, что всякий раз, когда отец так делал в его присутствии, обычно говорил: Ой, вот Скакун пробежал, – имея в виду Поскакуну Кассиди, ковбоя по телевизору, который так нравился Фергусону. Почему отец так говорил, пукнув, было одной из величайших загадок на всем белом свете, но Фергусону все это очень нравилось, и он всегда хохотал, когда отец произносил эти слова. Такая вот странная, интересная мысль: превратить пук в ковбоя по имени Поскакун Кассиди.

Вскоре после пятого дня рождения Фергусона его тетя Мильдред вышла замуж за Генри Росса, высокого лысеющего человека, который преподавал в колледже, как и Мильдред – та четырем годами ранее закончила изучать английскую литературу и тоже преподавала в колледже, который назывался Вассар. Новый дядя Фергусона курил «Пелл-Меллы» (*Прославленные – и к тому же мягкие*) и казался ужасно нервным, поскольку после обеда обычно выкуривал столько сигарет, сколько его мать – за весь день, но в муже Мильдред Фергусона больше всего интриговало то, что говорил он так быстро и произносил такие длинные, сложные слова, что понимать его целиком было невозможно – лишь небольшую часть того, что говорил. И все равно Фергусон считал его малым добродушным, хохоток у него громышал весело, а глаза ярко посверкивали, и Фергусону было ясно, что мать довольна выбором Мильдред, поскольку о дяде Генри она никогда не упоминала без определения *блестящий* и постоянно говорила, что он ей напоминает кого-то по имени Рекс Гаррисон. Фергусон надеялся, что тетя и дядя начнут пошевеливаться в смысле младенцев и быстро выдадут для него на-гора маленького кузена. У воображаемых братьев имеются свои ограничения, в конце концов, и, быть может, двоюродный Адлер превратится во что-нибудь вроде почти-брата или, так уж и быть, почти-сестру. Несколько месяцев ждал он объявления, каждое утро рассчитывая, что мать войдет к нему в комнату и скажет, что у тети Мильдред будет ребенок, но затем что-то произошло – какое-то непредвиденное бедствие, перевернувшее все тщательно разработанные планы Фергусонов. Тетя и дядя переезжали в Беркли, Калифорния. Они собирались там преподавать и жить там, и никогда больше не вернутся, а это означало, что если ему когда-нибудь и предоставят кузена, то

кузена этого никогда не превратить в почти-брата, поскольку братьям и почти-братьям полагается жить рядом, лучше всего вообще в одном доме с тобой. Когда мать вытащила карту Соединенных Штатов и показала ему, где находится Калифорния, он так упал духом, что застучал кулаком по Огайо, Канзасу, Юте и всем прочим штатам между Нью-Джерси и Тихим океаном. Три тысячи миль. Невозможная даль, так неблизко, все равно что другая страна, другой мир.

То было одним из крепчайших воспоминаний, какие он вынес из своего детства: поездка в аэропорт в зеленом «шевроле» с матерью и тетей Мильдред в тот день, когда тетя уезжала в Калифорнию. Дядя Генри улетел туда двумя неделями раньше, поэтому в тот жаркий, душный день в середине августа с ними была одна тетя Мильдред, Фергусон ехал сзади в коротких штанишках, вся голова мокрая от пота, а голые ноги прилипают к сиденью из кожзаменителя, и хотя в аэропорту он был впервые, впервые видел самолеты так близко и мог насладиться громадностью и красотой этих машин, то утро засело в нем из-за двух женщин, его матери и ее сестры, одна темная, другая светлая, у одной длинные волосы, у другой короткие, обе такие разные, что нужно сколько-то присматриваться к лицам, чтобы понять, что они – от одних и тех же родителей, его мать, такая нежная и теплая, вечно тебя трогает и обнимает, и Мильдред, такая сдержанная и отстраненная, почти никогда никого не трогает, однако же вот они вместе, у выхода на рейс «Пан-Ама» в Сан-Франциско, и когда громкоговоритель объявил номер рейса и настал момент прощаться, вдруг, словно по какому-то тайному, предопределенному сигналу, обе разрыдались, слезы полились у них из глаз в три ручья и закапали на пол, и тут руками обе обхватили друг дружку – и вот уже обнимались, рыдали и обнимались одновременно. Мать при нем никогда раньше не плакала, и пока он этого не увидел собственными глазами – даже не знал, что Мильдред умеет плакать, но вот они рыдали у него перед самым носом, прощаясь друг с дружкой, и обе понимали, что увидят они друг дружку лишь через много месяцев, а то и лет, и Фергусон тоже это видел, стоя под ними в своем пятилетнем теле, глядя снизу вверх на мать и тетю, поражаясь тому, сколько чувств из них льется, и образ этот так глубоко в него забрался, что он его никогда не забывал.

В ноябре следующего года, через два месяца после того, как Фергусон пошел в первый класс, его мать открыла свое фотоателье в центре Монклера. Вывеска над входом гласила «Ателье Страны Роз», и жизнь среди Фергусонов вдруг обрела новый, ускоренный ритм, начинаясь с ежедневной утренней суеты: одного вовремя отправить в школу, а двух других усадить в их отдельные машины, чтобы ехать на работу, и раз матери теперь не бывало дома пять дней в неделю (со вторника по субботу), появилась женщина по имени Касси – она работала по дому, прибиралась и заправляла постели и покупала еду, а иногда и готовила Фергусону ужин, если родители работали допоздна. Теперь он гораздо реже видел мать, но правда была в том, что она и нужна была ему уже меньше. Теперь он сам умел завязывать шнурки, в конце концов, а стоило подумать, на ком ему хочется жениться, он колебался между двумя возможными кандидатами: Кати Гольд, низенькой девочкой с голубыми глазами и длинным светлым хвостом волос, и Марджи Фицпатрик, рыжей дылде, которая была так сильна и бесстрашна, что могла оторвать от земли двух мальчиков зараз.

Первым, кто сел сниматься на портрет в «Ателье Страны Роз», стал сын владелицы. Мать Фергусона наводила на него фотоаппарат столько, сколько он себя помнил, но те первые снимки шелкались ручной камерой – маленькой, легкой и переносной, аппарат же в студии был гораздо больше и помещался на трехногой подставке, называвшейся «штатив». Ему нравилось слово *штатив*, рассыпчатое, как горошек, его любимый овощ, как в выражении *похожи, как две горошины*, а еще на него большое впечатление производило то, до чего тщательно мать ставит свет, прежде чем начать фотографировать: казалось, это подчеркивает, что она полностью понимает, чем занимается, и от того, как она работала при Фергусоне с таким умением и такой уверенностью, ему становилось хорошо – получалось, что мать уже не просто его мать, а человек, который делает на свете что-то важное. Для съемки она заставила его переодеться в

приличное, а это значило – надеть твидовый спортивный пиджак и белую рубашку с большим воротничком и без верхней пуговицы, и, поскольку Фергусону так нравилось там сидеть, пока его мать хлопотала вокруг, добиваясь от него нужной позы, ему не доставляло никаких хлопот улыбаться, когда его об этом просила. В тот день с ними была материна подруга из Бруклина, Ненси Соломон, она некогда называлась Ненси Файн, а теперь жила в Вест-Оранже, смешная Ненси с лошадиными зубами и двумя маленькими мальчиками, задушевная материна подруга и, стало быть, человек, кого он знал всю свою жизнь. Мать пояснила, что, когда снимки проявят, один будет увеличен до очень большого размера и отпечатан на полотне, а Ненси потом покрасит его краской, и фотография превратится в портрет маслом. Такова была одна из услуг, какие «Ателье Страны Роз» намеревалось предлагать клиентам: не просто черно-белые фото-портреты, но и картины маслом. Фергусону трудно было представить, как такое возможно, но он предположил, что Ненси, видать, до ужаса хорошая художница, коли способна провернуть эдакое сложное превращение. Через две субботы Фергусон с матерью ушли из дому в восемь часов утра и поехали в центр Монклера. На улице почти никого не было, а это значило, что прямо перед «Ателье Страны Роз» будет свободное место для парковки, но, не доезжая до фотостудии двадцати или тридцати ярдов, они остановились, и мать велела Фергусону зажмуриться. Он хотел спросить зачем, но, едва открыл рот задать этот вопрос, она сказала: Никаких вопросов, Арчи. Поэтому он послушно зажмурился, а когда они подъехали к фотостудии, мать помогла ему выйти из машины и за руку подвела туда, где ей хотелось, чтобы он оказался. Ладно, сказала она, теперь можно открыть. Фергусон открыл глаза и понял, что смотрит в витрину нового материнского заведения – и видит в ней два крупных изображения самого себя, каждое размерами где-то двадцать четыре дюйма на тридцать шесть, первое – черно-белая фотография, а второе – точная копия первого, только в цвете, а его песочного цвета волосы, и серо-зеленые глаза, и коричневый пиджак в красную крапину выглядят так же, как в жизни. Художественное мастерство Ненси было таким точным, таким совершенным в исполнении, что он не мог сказать, на фотоснимок смотрит или же на картину. Прошло несколько недель, изображения с витрины не снимали, и его уже начали узнавать посторонние люди – останавливали на улице и спрашивали, не он ли тот парнишка из витрины «Ателье Страны Роз». Он стал самым знаменитым шестилеткой в Монклере – мальчиком с афиши ателье его матери, легендой.

29 сентября 1959 года Фергусон не пошел в школу. У него был жар, 101,6 градусов<sup>2</sup>, и всю ночь накануне его рвало в алюминиевую кастрюльку для рагу, которую мать поставила на пол у его кровати. Уходя утром на работу, она велела ему не снимать пижаму и спать, сколько сможет. Если спать уже не получается, все равно нужно лежать в постели с книжками комиксов, а если надо сходить в уборную, пусть не забывает надеть тапочки. К часу дня температура, однако, упала до 99<sup>3</sup>, и ему сделалось лучше настолько, что он спустился и спросил у Касси, нет ли чего поесть. Та приготовила ему омлет и дала с тостом без масла, отчего желудок у него совсем не расстроился, поэтому наверх возвращаться и снова ложиться в постель он не стал, а дошаркал до соседней с кухней комнатки, которую его родители называли то «кабинетом», то «маленькой гостиной», и включил телевизор. Касси вошла следом, села рядом на диван и объявила, что через несколько минут начинается первый матч Чемпионата США. Чемпионат США. Фергусон знал, что это, но никогда ни одного матча не видел – лишь разок-другой смотрел обычные игры сезона, не потому, что ему не нравился бейсбол, играть в который он вообще-то сам очень любил, а просто потому, что, когда передавали дневные матчи, он обычно гулял на улице с друзьями, а когда начинались вечерние трансляции, его уже укладывали спать. Имена некоторых важных игроков он узнавал – Вильямс, Музиэль, Феллер, Робинзон, Берра, – но ни за какую отдельную команду не болел, не читал спортивных стра-

<sup>2</sup> По Фаренгейту.  $\approx 38,7^{\circ}\text{C}$ .

<sup>3</sup>  $37,2^{\circ}\text{C}$ .



ниц «Ньюарк Стар-Леджера» или «Ньюарк Ивнинг Ньюс» и понятия не имел, что значит быть болельщиком. Напротив, тридцативосьмилетняя Касси Буртон пылко следила за «Бруклинскими Хитрецами», главным образом – потому, что за них играл Джеки Робинзон, номер 42, второй бейсмен, кого она всегда называла «наш человек Джеки», первый темнокожий человек, надевший бейсбольную форму высшей лиги, – этот факт Фергусон почерпнул и от матери, и от Касси, только вот Касси было больше чего сказать на эту тему, поскольку и сама она была темнокожим человеком, первые восемнадцать лет своей жизни эта женщина провела в Джорджии и говорила с сильным южным выговором, который Фергусон считал и странным, и дивным, таким текучим в своей музыкальности, что никогда не уставал слушать, как Касси разговаривает. «Хитрецы» в этом году не играют, сказала ему она, их побили «Гиганты», но «Гиганты» – тоже местная команда, а поэтому она болеет за них, чтоб выиграли Чемпионат. У них есть хорошие цветные игроки, сказала она (такое слово она употребила, *цветные*, хоть мать Фергусона и велела ему говорить о людях с черной или коричневой кожей слово *негр*, и как это странно, подумал он, что негру следует говорить не *негр*, а *цветной*, а это доказывало – еще раз, – до чего в мире все путано), однако, несмотря на присутствие в составе «Гигантов» Вилли Мейса, Ханка Томпсона и Монти Ирвина, никто не давал им ни шанса в игре против «Кливлендских Индейцев», которые поставили рекорд по числу побед для команды Американской лиги. Ну это мы еще поглядим, сказала Касси, не желая уступать знатокам-букмекерам нисколько, а затем они с Фергусоном устроились поудобней смотреть передачу со стадиона «Поло-Граундс», которая началась скверно, когда Кливленд в конце первого иннинга заработал два очка, но «Гиганты» эти пробежки себе вернули в начале третьего, и когда игра превратилась в эдакую напряженную борьбу с хорошим тонусом (Магли против Лемона), где никто ничего толком не делает, а все может зависеть от того, как кто-нибудь один выйдет на битую, что, по мере того, как игра движется к концу, усиливает важность и драматизм каждой подачи. Четыре иннинга подряд никто ни из какой команды не пересекал пластину, а затем вдруг под конец восьмого «Индейцы» заслали двух бегунов на базу, и тут вперед выступил Вик Верц, могучий отбивающий-левша, который накинулся на фастбол от сменившего стартующего подающего «Гигантов» Дона Лиддла так, что тот у него полетел в глубину центрального поля – до того глубоко, что Фергусон решил, это уж точно круговая пробежка, но он пока что был еще новичком и не знал, что «Поло-Граундс» – площадка странной формы, там центральное поле самое глубокое во всем бейсболе, 483 фута от домашней пластины до ограды, а это значит, что монументальный флайбол Верца, который где угодно превратился бы в круговую пробежку, до трибун тут не долетит, но все равно то был громоносный удар, и все шансы были на то, что он проплывет над головой центрфилдера «Гигантов» и отскочит до самой стены, сгодится для тройного, а то и для круговой пробежки по парку, что даст «Индейцам» по крайней мере еще две, если не три пробежки, однако тут Фергусон заметил такое, что опровергало любую вероятность, такой подвиг атлетизма, рядом с каким меркло любое другое человеческое достижение из всех, какие он наблюдал за свою покамест короткую жизнь: молодой Вилли Мейс бежал за мячом, спиной к инфилду, так бежал, как Фергусон у людей никогда не видал, рвал вперед с той секунды, как мяч оторвался от биты Верца, словно стук мяча, столкнувшегося с деревом, сообщил ему, где именно этот мяч приземлится, Вилли Мейс не смотрел ни вверх, ни назад, покуда несея к мячу, зная, где мяч находится в любой точке своей траектории, даже когда его не видел, словно глаза у него были на затылке, и вот мяч взмыл в самую высокую точку дуги и начал спуск в точку где-то в 440 футах от домашней пластины – и Вилли Мейс протягивает перед ним руки, и вот мяч снижается из-за его левого плеча и опускается в лузу его раскрытой перчатки. В тот миг, когда Мейс поймал мяч, Касси подскочила с дивана и принялась визжать: *Е-дрить! Е-дрить! Е-дрить!* – но на этой поимке игра не закончилась, ибо в тот же миг, когда игроки на базе увидели, как мяч отлетает от биты Верца, они побежали, побежали с убеждением, что забьют, что неизбежно забивают, потому что никакому центрфилдеру не

поймать такого мяча, и потому, как только Мейс мяч поймал, он развернулся и швырнул его на инфилд, невозможно длинным броском, осуществленным так жестко, что с игрока слетела кепка, и сам он упал наземь, не успев мяч у него от руки оторваться, и не только Верц вылетел, но и ведущему бегу не дали забить флайбол. Счет по-прежнему ничейный. Казалось неизбежным, что «Гиганты» выиграют в начале восьмого или девятого, но не выиграли. Игра продолжилась на дополнительные иннинги. Марв Гриссом, новый сменный подающий «Гигантов», не дал «Индейцам» заработать очки в конце десятого, а потом «Гиганты» вывели двух человек в начале иннинга, вынудив управляющего Лео Дарошера выслать пинчхиттером Даста Родса<sup>4</sup>. Какое прекрасное это имя, сказал себе Фергусон, это как звать себя Мокрыми Тротуарами или Снежными Улицами, но стоило Касси увидеть, как бровастый алабамец разминается на замахах, она сказала: *Погляди-ка на этого босняка небритого. Если он не пьян, Арчи, то я королева Англии.* Пьяный или нет, но со зрением у Родса в тот день было все отлично, и через долю секунды после того, как уже утомившийся бросать Боб Лемон подал над серединой пластины не такой уж быстрый фастбол, Родс накинулся на него и перетащил через стенку правого поля. Игра окончилась. «Гиганты» 5, «Индейцы» 2. Касси заулюлюкала. Заулюлюкал Фергусон. Они обнялись, они попрыгали, они вместе поплясали по комнате, и с тех пор Фергусон запал на бейсбол.

Дальше «Гиганты» размазали «Индейцев», выиграв также второй, третий и четвертый матчи, – чудесный поворот событий, принесший много радости семилетнему Фергусону, но никто не был доволен результатами Чемпионата США 1954 года больше дяди Лью. Самый старший брат его отца в бытность свою азартным игроком за многие годы переживал как взлеты, так и падения, неизменно проигрывая больше, чем выигрывая, но и выигрывая довольно, чтоб самому не пойти на дно, и вот теперь, с деньгами, выгодно поставленными полностью на Кливленд, ему был бы смысл следовать за толпой, однако его командой были «Гиганты», он с начала двадцатых болел за них и все удачные сезоны, и неудачные, и в кои-то веки решил не обращать внимания на шансы и ставить, как подсказывает сердце, а не мозги. Он не только выложил деньги на слабаков, но и делал ставки на то, что они выиграют четыре раза подряд: интуитивный шаг настолько несообразный и бредовый, что его букмекер дал ему шансы 300 к 1, а это значило, что за скромную сумму в двести долларов щеголь Лью Фергусон получил в итоге горшок золота, *шестьдесят кусков*, невероятное количество в те дни, целое состояние. Добыча была настолько эффектной, такой поразительной в своих последствиях, что дядя Лью и тетя Милли пригласили всех к себе домой ее отмечать, устроили праздничный кутеж с шампанским, омарами и толстыми стейками из филейной вырезки, на котором устроили показ новой норковой шубы Милли и прокатали всех по району в новом белом «кадиллаке» Лью. Фергусону в тот день не могло быть (Франси не было, у него болел живот, а другие его кузены с ним почти не разговаривали), но он заключил, что всем остальным там было неплохо. После окончания празднеств, однако, когда они с родителями ехали на синей машине домой, его удивило, что мать принялась поносить дядю Лью перед отцом. Фергусон понимал не все, что она говорила, но злость у нее в голосе была необычайно жесткой, ее озлобленная речь, казалось, как-то относится к тому, что его дядя должен его отцу денег, и как это Лью смеет транжирить средства на «кадиллаки» и норковые шубы, не успев вернуть долг отцу. Тот сначала выслушивал ее спокойно, но затем возвысил голос, а такого почти никогда не происходило, – и вот уже рявкал на мать Фергусона, чтобы прекратила, говорил ей, что Лью ему ничего не должен, что это деньги его брата, и он с ними волен поступать, как ему, к черту, заблагорассудится. Фергусон знал, что его родители иногда спорят (их голоса слышались за стеной их

<sup>4</sup> Джеймс Ламар Роудз по кличке «Пыльный» (1927–2009) – американский бейсболист, игравший в 1952–1959 гг. Его фамилия (Rhodes) омонимична англ. «дороги» (roads).

спальни), но тут они впервые сцепились в ссоре при нем, и, поскольку то был первый раз, он не мог не ощутить, что в мире поменялось что-то фундаментальное.

Сразу после Благодарения на следующий год отцовский склад ночью ограбили. Склад представлял собой одноэтажное здание из шлакоблоков, стоявшее за «Домашним миром 3 братьев», и Фергусон за годы несколько раз там бывал: громадное затхлое помещение со множеством рядов картонных коробок, содержавших в себе телевизоры, холодильники, стиральные машинки и все остальное, что братья продавали у себя в магазине. На все выставлявшее в торговых залах покупателям можно было только смотреть, но, если кому-то хотелось что-то купить, это вытаскивал со склада человек по имени Эд, здоровенный парняга с русалкой, вытатуированной на правом предплечье: он в войну служил на авианосце. Если штука была небольшой, вроде тостера, лампы или кофейника, Эд просто отдавал ее покупателю или покупательнице, и те везли ее домой на своей машине, а вот если что-то большое, стиральная машинка, например, или холодильник, Эд и еще один мускулистый ветеран, которого звали Фил, грузили ее в кузов доставочного фургона и сами везли домой к покупателю. Так вот велись дела в «Домашнем мире 3 братьев», и Фергусон был знаком с этой системой, он достаточно взрослый, чтобы понимать: сердце всего предприятия – склад, – поэтому, когда воскресным утром после Благодарения мать разбудила его и сказала, что склад ограбили, он тут же осознал всю жуть этого преступления. Пустой склад означает, что нет торговли; нет торговли означает, что нет денег; нет денег означает неприятности – богадельня! голод! смерть! Мать заметила, что положение не настолько уж плохо, поскольку все украденные товары застрахованы, но да, удар это жестокий, особенно потому, что вот-вот начнется рождественский сезон покупок, а поскольку страховая компания выплатит все, вероятно, через несколько недель или даже месяцев, магазину трудно будет продержаться без экстренного займа в банке. Меж тем отец в Ньюарке беседует с полицией, сказала она, а поскольку у всех товаров имеются серийные номера, есть вероятность – небольшая, но есть, – что грабителей выследят и поймают.

Шло время, никаких грабителей не отыскиали, но отцу удалось взять в банке заем, а это означало, что Фергусону и его семье больше не грозит бесчестье переезда в богадельню. Жизнь дальше продолжалась более-менее так же, как и последние несколько лет, но Фергусон ощущал у них в хозяйстве какую-то новую атмосферу, в воздухе вокруг него витало что-то мрачное, угрюмое и таинственное. Не сразу сумел он определить источник такого барометрического сдвига, но, наблюдая за матерью и отцом, когда б ни оказался с ними, как поодиночке, так и вместе, он заключил, что мать-то его осталась практически той же, по-прежнему бурлит историями о своей работе в ателье, все так же выдает ежедневную долю улыбок и смеха, по-прежнему смотрит ему прямо в глаза, когда с ним разговаривает, еще готова неистово сражаться в пинг-понг на утепленной задней веранде, еще внимательно слушает его, стоит ему прийти к ней с какой-нибудь загвоздкой. А вот отец – тот изменился, его обычно разговорчивый отец, кто теперь почти не разговаривал за завтраком по утрам, казался рассеянным и почти совсем отсутствующим, поскольку ум его сосредоточен на чем-то темном и горестном, чем он не хочет ни с кем делиться. Где-то после начала нового года, когда 1955-й стал 1956-м, Фергусон собрался с духом подойти к матери и спросить у нее, что не так, попросить ее объяснить, почему его отец такой грустный и отрешенный. Все дело в грабеже, ответила она, тот грабеж *съедает его поедом*, и чем больше он о нем думает, тем меньше способен думать о чем-то другом. Фергусон не понял. Склад взломали шесть или семь недель назад, страховая компания оплатит утраченные товары, банк согласился выдать заем, и магазин устоял. Чего ж его отец беспокоится, если беспокоиться не о чем? Он заметил, как мать помедлила, словно бы с трудом решая, стоит ли довериться ему, не убежденная, что он достаточно взрослый, чтобы осознать все факты истории, сомнение мелькало у нее во взгляде не дольше мига, но, хоть и так, было оно весьма ощутимым, и затем, поглаживая его по голове и всматриваясь ему в еще не вполне девятилетнее лицо, она рискнула – открылась ему так, как никогда прежде, и

поверила ему тот секрет, который разрывал изнутри его отца. Полиция и страховая компания по-прежнему разбираются с этим делом, сказала она, и все они пришли к выводу, что грабеж совершил *кто-то из своих*, а значит – никакие не чужие люди, а те, кто работает в магазине. Фергусон, знавший всех работников «Домашнего мира 3 братьев», от складских рабочих Эда и Фила до счетовода Адели Розен, ремонтного мастера Чарли Сайкса и уборщика Боба Докинса, ощутил, как мышцы у него в животе стиснуло кулаком боли. Не может быть, чтобы кто-то из этих хороших людей причинил такое зло его отцу, ни один из них не был способен на такое коварство, а значит, полиция и страховая компания наверняка ошибаются. Нет, Арчи, сказала мать, я не думаю, что они ошибаются. Но человека, совершивший такое, ты сейчас не назвал.

О чем это она? – задумался Фергусон. Два оставшихся человека, связанные с магазином, – дядя Лью и дядя Арнольд, братья его отца, а братья же друг друга не грабят, правда? Такого попросту не бывает.

Твоему отцу пришлось принять жуткое решение, сказала мать. Либо отозвать обвинения и отказаться от страховки, либо отправить Арнольда в тюрьму. Как, по-твоему, он поступил?

Он отозвал обвинения и не отправил Арнольда в тюрьму.

Нет, конечно. Такое бы ему и присниться не могло. Но теперь ты понимаешь, почему он так расстроен.

Через неделю после того, как Фергусон побеседовал с матерью, она сообщила ему, что дядя Арнольд и тетя Джоан переезжают в Лос-Анджелес. Ей будет не хватать Джоан, сказала мать, но так, вероятно, лучше, поскольку нанесенного урона ничем не залатать. Через два месяца после того, как Арнольд и Джоан уехали в Калифорнию, дядя Лью разбился в своем белом «кадиллаке» на парковой автостраде Садового штата и умер в «скорой» по пути в больницу, и не успел еще никто осознать толком, как быстро боги решают свои задачи, если им больше нечем заняться, клан Фергусонов разнесло вдребезги.

## 1.2

Когда Фергусону исполнилось шесть, мать рассказала ему историю о том, как она его едва не потеряла. Потеряла не в том смысле, что не знала, где он, а в том смысле потеряла, что он умер, покинул этот мир и вознесся к небесам бестелесным духом. Ему не было еще и полутора годиков, сказала она, и однажды ночью у него поднялся жар, сперва несильный, но быстро перешел в сильный, чуть за 106<sup>5</sup>, температура тревожная даже для маленького ребенка, и поэтому они с отцом укутали его хорошенько и повезли в больницу, где у него начались судороги, что могло бы его запросто прикончить, поскольку даже врач, удалявший ему в тот вечер гланды, сказал, что это дело рискованное – в том смысле, что он не может быть уверен, выживет Фергусон или умрет, что все это теперь в руке Божьей, а мать его так перепугалась, рассказала она ему, так ужасно перепугалась, что потеряет своего малыша, что чуть было *рас-судка не лишилась*.

Это был худший миг, сказала она, тот единственный раз, когда она поверила, будто мир и впрямь может закончиться, но были и другие передраги, целый список непредвиденных встрясок и неприятностей, и тут она принялась перечислять различные несчастные случаи, какие происходили с ним в раннем детстве, несколько могли бы его убить или изувечить, он мог бы подавиться непрожеванным куском стейка, например, или осколок разбитого стекла пробил ему стопу, и понадобилось накладывать четырнадцать швов, или тот раз, когда он споткнулся и упал на камень, которым раскроил себе левую щеку, и понадобилось семь швов, или пчела ужалила его так, что у него все глаза заплыли, или тот день прошлым летом, когда он учился плавать и чуть было не утонул, когда его двоюродный брат Эндрю притопил его, и всякий раз,

<sup>5</sup> Ок. 41°C.

когда мать перечисляла такие случаи, на миг она приостанавливалась и спрашивала Фергусона, помнит ли он, а штука была в том, что всё он помнил – помнил почти все их, как вчера.

Беседа эта у них состоялась в середине июня, через три дня после того, как Фергусон свалился с дуба у них на заднем дворе и сломал себе левую ногу, и мать его, перечисляя все эти мелкие катастрофы, пыталась тем самым подчеркнуть, что, когда б он ни ранился в прошлом, ему всегда потом становилось лучше, тело у него какое-то время болело, а потом переставало болеть, и вот именно это произойдет сейчас с его ногой. Очень жаль, конечно, что придется полежать в гипсе, но со временем гипс снимут, и Фергусон будет совсем как новенький. Ему же хотелось знать, долго ли еще ждать, когда это произойдет, и мать сказала, что месяц или около того, – а это ответ крайне неопределенный и неудовлетворительный, как ему казалось: месяц – это один лунный цикл, что, может, и терпимо, если будет не слишком жарко, но вот это *или около того* означало еще дольше, неопределенную и, следовательно, невыносимую длительность времени. Не успел он, однако, хорошенько из-за такой несправедливости всего этого разволноваться, как мать задала ему вопрос – странный вопрос, быть может, самый странный, какой ему когда-либо задавали.

*Ты на себя сердишься, Арчи, или ты сердишься на дерево?*

Ну и трудный же вопросец – подкидывать такое ребенку, который еще в детский садик ходит. Сердишься? Чего это ради он должен на что-то сердиться? Почему не может быть просто грустно?

Мать улыбнулась. Она счастлива, что он не винит в этом дерево, сказала мать, потому что это дерево она любит, они с отцом вместе любят это дерево, они и сам дом в Вест-Оранже купили главным образом из-за большого заднего двора, а лучшее и самое прекрасное на этом дворе – громадный дуб, росший в самой его середине. Три с половиной года назад, когда они с отцом решили отказаться от квартиры в Ньюарке и купить себе дом в предместье, они искали в нескольких окрестных городках, в Монклере и Маплвуде, в Милльбурне и Саут-Оранже, но ни в едином из тех мест не находилось для них правильного дома, они уже устали и расстроились из-за того, что пришлось смотреть столько неправильных домов, а потом приехали в этот и сразу поняли, что это дом как раз для них. Она рада, что он не сердится на дерево, сказала она, потому что, если б он сердился, ей бы пришлось дуб срубить. Зачем его рубить? – спросил Фергусон, уже посмеиваясь от мысли о том, что его мать рубит такое большое дерево, его красивая мать, одетая по-рабочему, накидывается на дуб с громадным блестящим топором. Потому что я – за тебя, Арчи, сказала она, а любой твой враг – мой враг.

Назавтра отец вернулся из «Домашнего мира 3 братьев» с кондиционером воздуха для комнаты Фергусона. Там становится жарко, сказал отец, имея в виду, что он хочет, чтобы сыну его было удобно, пока он томится в гипсе в постели, а кроме того, ему это поможет от сенной лихорадки, продолжал отец, не даст пылице проникать в комнату, раз нос у Фергусона так чувствителен к раздражителям, переносимым по воздуху, от травы, пыли и цветов, и чем меньше он будет чихать, пока выздоравливает, тем меньше у него будет болеть сломанная кость, ведь чих – могучая сила, а крепкий чих отзовется во всем твоём теле, от макушки твоей травмированной головы до самых кончиков пальцев на ногах. Шестилетний Фергусон смотрел, как его отец занимается установкой кондиционера в окне справа от письменного стола – операция гораздо более сложная, нежели он воображал, которая началась с того, что из окна вынули раму с сеткой, и потребовалось много всякого: рулетка, карандаш, дрель, шприц для заделки швов, две некрашенные дощечки, отвертка и несколько шурупов, и Фергусона поразило, насколько быстро и тщательно работал его отец, как будто руки у него понимали, что нужно делать, безо всяких распоряжений от ума, самостоятельные руки, так сказать, наделенные собственным особым знанием, а затем настал миг оторвать крупный металлический куб от пола и установить его в окне, жуть какой тяжелый предмет нужно поднять, подумал Фергусон, но отцу это удалось без всякого видимого напряжения, и, доделывая работу отверткой и шприцем для

швов, отец мурлыкал песенку, какую всегда мурлыкал, когда что-нибудь чинил в доме, старый номер Ала Джолсона под названием «Сынок»: *Никак не узнать / Никак не показать / Что ты значишь для меня, Сынок*. Отец нагнулся подобрать лишний шуруп, упавший на пол, а когда снова выпрямился – вдруг схватился правой рукой за поясницу. *Ох ун вай*, сказал он, кажется, я мышцу потянул. Средством от растянутых мышц было несколько минут полежать навзничь, сказал отец, желательно – на жестком, а поскольку самым жестким в комнате был пол, отец быстренько улегся на пол рядом с кроватью Фергусона. Что за необычайный вид ему тогда открылся – смотреть сверху на отца, растянувшегося на полу под ним, и когда Фергусон перегнулся через край кровати и всмотрелся в искаженное гримасой отцово лицо – решил задать вопрос, такой, о котором он за прошлый месяц уже несколько раз думал, но так и не улучил подходящего времени задать: А чем занимался его отец до того, как стал начальником «Домашнего мира 3 братьев»? Он видел, как взгляд отца блуждает по потолку, словно бы тот искал там ответа на этот вопрос, а затем Фергусон заметил, как мышцы в углах отцова рта оттянулись вниз – то было уже знакомое ему выражение, знак того, что отец старается не улыбнуться, а это, в свою очередь, означало, что сейчас произойдет что-то неожиданное. *Я охотился на крупную дичь*, сказал отец спокойно и ровно, не выдавая ни единого признака того, что он сейчас пустится нести самую отъявленную белиберду, какую только вываливал на голову сына, и следующие двадцать минут или даже полчаса он вспоминал львов, тигров и слонов, *знойный жар Африки*, как он прорубал себе путь сквозь густые джунгли, переходил пешком Сахару, взбирался на Килиманджаро, тот раз, когда его чуть целиком не проглотила исполинская змея, и другой раз, когда его изловили людоеды и уже собирались бросить в котел с кипящей водой, но в последнюю минуту ему удалось выпутаться из лиан, которыми ему связали запястья и лодыжки, убежать от своих смертоубийственных поимщиков и исчезнуть в гуще зарослей, а еще был раз, когда он поехал на свое последнее сафари перед тем, как вернуться домой и жениться на матери Фергусона, и заблудился в чернейшей сердцеvine Африки, которая тогда была известна как *темный континент*, и он выбрал в широкую, бескрайнюю саванну, где увидел стадо пасшихся динозавров – последних оставшихся на земле. Фергусон был уже достаточно большой и знал, что динозавры вымерли миллионы лет назад, но вот другие истории казались ему вполне достоверными – не обязательно правда, быть может, но, возможно, и правда, а потому им стоило бы верить – наверное. Тут в комнату зашла мать, а когда увидела, что отец Фергусона лежит на полу, спросила, не случилось ли у него что-нибудь нехорошее со спиной. Нет-нет, сказал он, я просто отдыхаю, а затем встал, как будто со спиной у него все и впрямь было прекрасно, подошел к окну и включил кондиционер.

Да, кондиционер воздуха остужал комнату, и чиханье прекратилось, а поскольку теперь стало прохладнее, нога под гипсом у него не так чесалась, но в проживании в охлаждаемом помещении имелись и свои недостатки, в первую очередь – шум, который был странным и непонятным, поскольку Фергусон, бывало, его слышал, а бывало – и нет, но когда слышал, тот оказывался монотонным и неприятным, однако хуже того: возникало неудобство с окнами, которые теперь следовало всегда держать закрытыми, чтобы не улетучивался прохладный воздух, а из-за того, что они все время были закрыты, а мотор постоянно работал, он уже не слышал, как на улице поют птицы, а хорошим в том, чтобы сидеть взаперти у себя в комнате с гипсом на ноге, было лишь то, что можно слушать птиц на деревьях у него под самым окном, как они чирикают, поют, заливаются трелями, и Фергусон считал, что это самые красивые звуки на свете. У кондиционирования воздуха, стало быть, имелись свои плюсы и минусы, свои выгоды и трудности, и, как и такое множество всякого другого, что мироздание ссужало ему по ходу его жизни, это, как выразилась его мать, была *палка о двух концах*.

Больше всего в падении с дерева его беспокоило то, что этого можно было избежать. Фергусон мог принять боль и страдание, когда те, по его мнению, были необходимы, например, если тошнит, когда он болеет, или если доктор Гастон тыкает ему в руку иголкой, чтобы вве-

сти пенициллин, но вот необязательная боль нарушала принципы здравого смысла, а оттого становилась дурацкой и невыносимой. Отчасти его подмывало обвинить в этом несчастном случае Чаки Бравера, но в итоге Фергусон осознал, что это всего-навсего жалкое оправдание, поскольку какая разница, что Чаки взял его на слабо – что Фергусон не залезет на дерево? Фергусон принял вызов, а это означало, что он хотел на дерево забраться, предпочел на него влезть, а значит – сам и отвечает за то, что произошло. Ну и пусть Чаки обещал, что полезет следом за Фергусоном, если тот заберется первым, а потом нарушил слово, утверждая, будто забоялся, что ветки слишком далеко друг от дружки, а ему не хватает роста, чтобы до них дотянуться, но то, что Чаки за ним не полез, не имеет значения, ибо если б он туда и залез, то как бы он не дал Фергусону упасть? И вот Фергусон упал, разжал хватку, дотягиваясь до ветки, что была как минимум на четверть дюйма дальше, чем он бы смог надежно достать, не удержался и упал, а теперь вот лежит в постели, левая нога у него в гипсе, который будет частью его тела *месяц или около того*, и это значит – больше месяца, и никто в этом его несчастье не виноват, кроме него самого.

Вину он принимал, понимал, что в нынешнем своем состоянии виноват только он, но это далеко не одно и то же, что сказать, будто несчастного случая нельзя было избежать. Глупо, но уж как есть, просто дурь, что он упорствовал и лез дальше, хотя не мог достать следующую ветку, но вот если б ветка была хоть на долю дюйма ближе к нему, получилось бы не так глупо. Если б Чаки не позвонил ему в дверь тем утром и не позвал гулять, глупо бы ничего не было. Если б его родители переехали в какой-нибудь другой из тех городков, где искали правильный дом, он бы вообще не познакомился с Чаки Бравером, даже не знал бы, что такой Чаки Бравер существует, и ничего глупо бы не было, поскольку у него на заднем дворе не росло бы дерево, на которое он взбирался. Какая интересная мысль, сказал себе Фергусон: воображать, как у него все было бы иначе, хотя он бы оставался тем же самым. Тот же мальчик в другом доме с другим деревом. Тот же мальчик с другими родителями. Тот же мальчик с теми же родителями, которые занимаются не тем же, чем сейчас. Вот бы его отец по-прежнему, например, охотился на крупную дичь, а они бы все жили в Африке? Вот бы его мать была знаменитой киноактрисой, и они все бы жили в Голливуде? Вот бы у него были брат или сестра? Вот бы его двоюродный дедушка Арчи не умер, а самого его бы не звали Арчи? Вот бы он упал с того же дерева, но сломал себе не одну ногу, а обе? Вот бы он сломал себе обе руки и обе ноги? Вот бы он убили насмерть? Да, все было возможно, и только потому, что все произошло так, а не иначе, вовсе не значит, что иначе ничто не могло произойти. Все могло быть по-другому. Мир мог бы оставаться тем же миром, однако если б он не упал с дерева, мир для него был бы иным, а если б он упал с дерева и не сломал себе только ногу, а вообще бы убили, мир для него не только был бы иным, а и вообще бы мира, чтоб жить в нем, не было, и как бы грустили его отец и мать, когда несли б его на кладбище и хоронили его тело в земле, так бы они грустили, что рыдали бы сорок дней и сорок ночей, не переставая, сорок месяцев, четыреста сорок лет.

До конца садика оставалось полторы недели, а потом – летние каникулы, что означало: он пропустит немного и не провалит детсадовский выпуск из-за слишком многих прогулов. Хоть за это можно спасибо сказать, как его мать выразилась, и она уж точно была права, но у Фергусона в те первые дни после несчастного случая не было настроения никого благодарить, даже разговаривать ему было не с кем из друзей, кроме как ближе к вечеру, когда к нему заглядывал Чаки Бравер со своим младшим братишкой – поглядеть на гипс, отца дома не было с утра до ночи, потому что он ходил на работу, а мать на несколько часов в день уезжала искать пустую лавку, где можно было б разместить фотоателье, которое она намеревалась открыть осенью, а домработница Ванда почти всегда занималась стиркой и уборкой, кроме того, что в полдень приносила Фергусону обед и помогала ему опорожнять мочевого пузырь, держа молочную бутылку, куда ему полагалось писать, а не делать свои дела в ванной, вот какие унижения приходилось ему претерпевать, и все – из-за дурацкой ошибки, падения с дерева, и досаду его

упрочивало то, что он еще не выучился читать, вот был бы хороший способ коротать время, и поскольку телевизор стоял внизу в гостиной, недостижимый, временно за пределами его досягаемости, Фергусон целыми днями размышлял над невообразимыми вопросами Вселенной, рисовал самолеты и ковбоев и упражнялся в письме, копируя листочек с буквами, который ему сделала мать.

Потом все помаленьку стало налаживаться. Его двоюродная сестра Франси закончила младший год старших классов и несколько дней перед тем, как уехать вожатой в летний лагерь в Беркширах, заходила к ним, чтоб ему не было скучно, иногда лишь на часок, иногда на три-четыре, то время, что он проводил с нею, всегда было самой приятной частью дня, несомненно – единственной приятной его частью, потому что Франси из всех его двоюродных нравилась ему больше прочих, она ему нравилась больше всех остальных что в одной семье, что в другой, и до чего же она теперь взрослая, думал Фергусон, с грудями и изгибами, а тело у нее уже похоже на материно, и, совсем как мать его, она умела с ним разговаривать так, отчего ему становилось спокойно и уютно, как будто ничего, пока он был с нею, не могло пойти вкривь, а иногда с Франси бывать оказывалось даже лучше, чем с матерью, поскольку, что бы он ни сделал или ни сказал, она на него никогда не сердилась, даже если он забывался и становился *егозой*. Это умная Франси придумала украсить его гипс – работа заняла три с половиной часа, такие аккуратные мазки, которыми она покрывала белый гипс, разрисовывая его яркими синими, красными и желтыми полосами, абстракция, вихрящийся узор, который наводил его на мысли о неимоверно быстрой карусели, и пока она мазала акриловыми красками его новую и презираемую часть тела – рассказывала о своем дружке Гари, большом Гари, кто раньше играл фулбэком в футбольной команде средней школы, а теперь учится в колледже, в Вильямсе в Беркширах, неподалеку от того лагеря, где они летом вместе будут работать, она этого с таким нетерпением ждет, сказала Франси, а потом объявила, что ее *пришилили* – понятие, в то время для Фергусона незнакомое, поэтому Франси пояснила, что Гари приколот ей значок своего братства, но слово *братство* понимания Фергусона тоже бежало, поэтому Франси объяснила еще разок, а потом расплылась широкой улыбкой и сказала, да это ладно, самое главное – когда тебя пришилият, это первый шаг к тому, чтобы обручиться, а у них план такой, что они с Гари объявят о своей помолвке осенью, и на следующее лето, когда ей уже исполнится восемнадцать, она закончит среднюю школу и они с Гари поженятся. А рассказывает она ему все это потому, сказала Франси, что у нее для Фергусона есть важное задание, и теперь ей нужно знать, согласен ли он его выполнить. Что выполнить? – спросил Фергусон. Нести кольцо на свадьбе, сказала она. Опять Фергусон понятия не имел, о чем она толкует, поэтому Франси опять объяснила, и когда он выслушал, как она ему рассказывает, что ему нужно пройти по проходу с обручальным кольцом на синей бархатной подушечке, а потом Гари возьмет у него это кольцо и в завершение свадебной церемонии наденет его на четвертый палец ее левой руки, Фергусон согласился, что это действительно важное задание, возможно – самое важное из всех, что ему когда-либо поручали. Серьезно кивнув, он пообещал, что все сделает. Вероятно, ему будет нервно идти по проходу, когда на него смотрит столько людей, разумеется, и всегда есть шанс, что у него затрясутся руки и кольцо упадет наземь, но ему придется это сделать, потому что Франси его попросила, потому что Франси – единственный человек на всем белом свете, кого он бы ни за что не смог подвести.

Когда Франси пришла к ним домой назавтра, Фергусон тут же понял, что она плакала. Покрасневший нос, туманные розоватые следы вокруг обеих радужек у нее в глазах, и левой, и правой, носовой платок комком в кулаке – даже шестилетка мог вычислить правду по таким уликам. Фергусону стало интересно, не поссорилась ли Франси с Гари, не перестала ли внезапно и неожиданно быть пришилиленной, что бы означало, что свадьбу отменят, а его не позовут нести кольцо на бархатной подушечке. Он у нее спросил, что ее расстроило, но она отнюдь не произнесла имя *Гари*, как он себе это представлял, а заговорила о мужчине и женщине по



фамилии Розенберг, которых вчера умертвили, *изжарили на электрическом стуле*, сказала она, произнося эти слова с чем-то вроде ужаса и отвращения сразу, а это неправильно, неправильно, продолжала она, потому что они, вероятно, невиновны, они всегда говорили, что невиновны, и зачем только они позволили себя казнить, когда могли бы спасти свою жизнь, сказав, что виновны? Двое сыновей, сказала Франси, два маленьких мальчика, и какие родители станут добровольно превращать своих детей в сирот, отказываясь объявить о своей вине, если они виновны, а это означает, что они наверняка были невиновны и погибли ни за что. Фергусон никогда не слышал столько негодования в голосе Франси, никогда не знал, что можно так огорчаться из-за несправедливости, причиненной людям, которых можно считать постоянными, ибо ему было ясно, что Франси никогда не встречалась с этими Розенбергами лично, а значит, она говорит сейчас о чем-то смертельно серьезном и важном, серьезном до того, что людей из-за этого *изжарили*, что это за кошмарная мысль, изжариться, будто кусок курятины, погруженный в сковородку, залитую горячим, бурлящим маслом. Он спросил у кузины, что такого эти Розенберги якобы сделали, чтобы заслужить такое наказание, и Франси объяснила, что их обвинили в том, что они передавали секреты русским, важнейшие секреты, касающиеся создания атомных бомб, а поскольку русские – коммунисты, а потому – наши смертельные враги, Розенбергов обвинили в измене, это отвратительное преступление, которое значит, что ты предал свою страну, и тебя нужно умертвить, только в данном случае преступление совершается Америкой, это американское правительство уничтожило двух невинных людей, а затем, цитируя своего дружочка и будущего мужа, Франси сказала: *Гари считает, что Америка обезумела*.

Разговор этот Фергусон воспринял, как удар под дых, и стало ему так же потерянно и страшно, как было, когда пальцы его соскользнули с ветки, и он начал падать с дерева, это отвратительное ощущение беспомощности, вокруг него только воздух, а под ним – ни матери, ни отца, ни Бога, ничего, лишь пустота чистого ничто, а тело его летит к земле, и в голове у него ничего нет, кроме страха перед тем, что с ним случится, когда он до земли долетит. Родители никогда не разговаривали с ним о таких вещах, как казнь Розенбергов, они его оберегали от атомных бомб и смертельных врагов, ложных приговоров и осиротевших детей, от изжаренных взрослых, и теперь, слыша, как Франси все это ему излагает одним громадным потоком чувств и негодования, Фергусон оказался пойман врасплох, не совсем как ударом под дых, конечно, а скорее как в мультфильмах, какие он смотрел по телевизору: чугунный сейф падает из окна десятого этажа прямо ему на голову. Хлобысть. Пятиминутный разговор с двоюродной сестрой Франси, и всему – хлобысть. Снаружи – широкий мир, мир бомб, войн и электрических стульев, а он о нем знает мало – или совсем ничего. Он неуч, настолько совершенно дремучий и безнадежный, что ему неловко было быть собой, ребенок-идиот, присутствует, но не считается, тело, занимающее пространство так же, как пространство занимают стул или кровать, не более безмозглого ноля, и, если он желает это как-то изменить, начинать нужно уже сейчас. Мисс Лундквист сказала его группе в детском садике, что писать и читать они научатся в первом классе, поэтому нет смысла торопить события, а умственно готовы начинать они станут на будущий год, но Фергусон уже не мог ждать будущего года, начинать следовало сейчас, или же он обречет себя на еще одно лето невежества, поскольку читать и писать – это первый шаг, пришел к выводу он, единственный шаг, на какой он нынче способен как личность не считающаяся, и если на свете есть какая-то справедливость, в чем он уже всерьез начинал сомневаться, то придет кто-то и предложит ему помощь.

К концу той недели помощь возникла в лице его бабушки, которая в воскресенье вместе с дедом приехала в Вест-Оранж и поселилась в спальне рядом с его комнатой – погостить, что затянулось аж до июля. Накануне ее приезда он обзавелся парой костылей, какие позволили ему свободно перемещаться по второму этажу и отменяли унижение молочной бутылки, но вот самостоятельный спуск на первый этаж по-прежнему даже не обсуждался, путешествие вниз

по лестнице чересчур опасно, поэтому кто-то должен был его носить, а это еще одно оскорбление, претерпевать которое следовало молча и с тлеющим презрением, а поскольку бабушка его была слишком немощна, а Ванда – слишком невелика, переноску осуществляли либо его отец, либо мать, отчего спускаться необходимо было рано поутру, поскольку отец уезжал на работу в самом начале восьмого, а мать еще искала себе подходящее место для ателье, но это и неважно, плевать, можно и не спать долго, и уж гораздо лучше утра и дни проводить на застекленной веранде, чем маяться в холодной гробнице наверху, и хотя погода часто бывала жаркой и душной, теперь снова возникли птички, а они более чем воздавали за какие бы то ни было неудобства. На веранде он наконец и покорил таинства букв, слов и знаков препинания – там под опекой бабушки овладел он такими странностями, как *везти* и *вести*, *лезть* и *лесть*, *шок* и *шёлк*, *возчик* и *ящик*, а также мучительной загадкой – *порог*, *порок* и *парок*. Прежде он никогда не ощущал особой близости с женщиной, кому судьбой было назначено служить ему бабушкой, с туманной Наной из среднего Манхэттана, личностью милостивой и нежной, как он предполагал, но такой тихой и сдержанной, что трудно было установить с нею связь, и когда бы он ни оказывался со своими прародителями, его бурливый, одуреть какой забавный дед, казалось, занимал собою всю комнату, а бабушка оставалась в тених, почти совсем безлика. Своим коренастым, округлым телом и пухлыми ногами, неряшливой, старомодной одеждой и скучными туфлями с толстыми, низкими каблуками она всегда поражала Фергусона – как будто человек из другого мира, насельница иного времени и пространства, а следовательно, в этом мире ей всегда неуютно, она могла жить в настоящем, лишь как некий турист, словно была здесь проездом, сама же стремилась вернуться туда, откуда явилась. Тем не менее про чтение и письмо она знала все, что следовало знать, и когда Фергусон спросил ее, не согласится ли она ему помочь, она потрепала его по плечу и сказала, что, конечно, поможет, для нее это будет честь. Эмма Адлер, жена Бенджи, мать Мильдред и Розы, учительницей оказалась терпеливой до занудства и наставляла своего внука с систематическим тщанием, начав в первый же день с экзаменовки знаний Фергусона: перед тем как разработать соответствующий план действий, ей необходимо было выяснить, сколько чего он успел выучить. Ее воодушевило, что он уже распознавал буквы алфавита, все двадцать шесть, большинство строчных букв и все прописные, и из-за того, что он так продвинулся в учении, сказала она, работа ей предстоит совсем не такая сложная, как ей вначале казалось. Уроки, которые она ему затем стала преподавать, делились на три части: полтора часа по утрам писать, затем перерыв на обед, днем полтора часа чтения, а затем, после еще одного перерыва (на лимонад, сливы и печенье), – сорок пять минут чтения ему вслух, пока они сидели бок о бок на диване на веранде, и она показывала ему слова, какие, по ее мысли, ему было бы трудно понять, ее толстенький указательный палец постукивал по странице под такими коварными словами, как *здравствуйте*, *бесчувственный* и *брандспойт*, и пока Фергусон с нею сидел, нюхая бабушкины запахи лосьона для рук и розовой воды, которой она душилась, – воображал тот день, когда все это станет для него машинальным, когда он сумеет читать и писать не хуже кого угодно из когда-либо живших на свете. Фергусон не был сообразительным ребенком, как это доказало его падение с дуба, не говоря уже о прочих проливах и промашках, что преследовали его все начало его жизни, и письмо вызывало у него больше трудностей, чем чтение. Бабушка говорила: Смотри, как я это делаю, Арчи, – и затем медленно выводила букву шесть или семь раз подряд, заглавную *Б*, к примеру, или строчную *ф*, после чего Фергусон пытался ей подражать – иногда ему все удавалось с первого захода, частенько совсем так же не получалось, и когда б он ни проваливался после пятой или шестой попытки, бабушка неизменно накрывала его руку своею, сплетала свои пальцы с его, а потом направляла карандаш по странице, и две их руки выписывали букву как надо. Такой подход рука-об-руку помогал ускорять его успехи, ибо выводил упражнение из области отвлеченных форм и делал его тактильным и конкретным – словно мышцы его руки тренировались выполнить именно ту задачу, какая требовалась очертанием каждой буквы, а

повторяя упражнение вновь и вновь, каждый день проверяя буквы, которые он уже выучил, и добавляя по четыре-пять новых, Фергусон со временем овладел положением и перестал делать ошибки. С чтением уроки проходили гладко, поскольку в них не задействовались карандаши, и ему удавалось продвигаться вперед споро, натываясь лишь на редкие препоны при переходе за две недели от трех- и четырехсловных фраз к предложениям из десяти и пятнадцати слов, и такова была его решимость стать полноценным читателем, пока от них не уехала бабушка, что он как будто бы силой своего желания заставлял себя понимать, загоняя ум в состояние такой восприимчивости, что едва заучивался новый факт, он в этом уме оседал и больше не забывался. Одну за другой бабушка выписывала ему фразы, и одну за другой он их ей читал, начиная с *Мое имя Арчи* и дальше, к *Смотри, Тед бежит*, к *Сегодня утром так жарко*, к *Когда тебе снимут гипс?*, к *Я думаю, завтра пойдет дождь*, к *Как интересно, что маленькие птички поют красивее, чем большие*, до *Я старая женищина и не помню, как училась читать, но сомневаюсь, что мне это удавалось быстрее, чем тебе*, и потом он сдал экзамен – добрался до своей первой книжки, «Сказки о двух вредных мышках» – истории о парочке домашних грызунов по имени Мальчик-с-пальчик и Ханка-Манка, которые разбивают кукольный домик одной маленькой девочки, потому что еда, которая в нем стоит, не настоящая, а из гипса, и как же самозабвенно Фергусон наслаждался неистовством их разрушительной ярости, бойней, что последовала за их разочарованным, неудовлетворенным голодом, и, читая книжку вслух своей бабушке, он запнулся всего на нескольких понятиях, трудных, чьи значения его бежали, вроде *люльки*, *клеенки*, *кочерги* и *сыровара*. Хорошая сказка, сказал он бабушке, дочитав, и очень смешная к тому же. Да, согласилась она, весьма потешная история, а потом, целуя его в макушку, добавила: Мне б и самой ее не прочесть лучше, чем ты.

Назавтра бабушка помогла ему написать письмо тете Мильдред, которую он не видел уже почти год. Та теперь жила в Чикаго, где работала профессором и учила студентов большого колледжа, вроде Гари, хотя Гари учился в другом колледже, не ее, в Колледже Вильямса в Массачусетсе, а ее колледж назывался Университет Чего-то. Подумав про Гари, он, само собой, начал думать и про Франси, и ему показалось странным: двоюродная сестра в семнадцать лет уже говорит о замужестве, а тетя Мильдред, которая на два года старше его матери, а значит, на много лет старше Франси, до сих пор ни за кем не замужем. Он спросил у бабушки, почему у тети Мильдред нет мужа, но на этот вопрос ответа, очевидно, не было, потому что бабушка лишь покачала головой и призналась, что этого не знает, но предположила: это, возможно, из-за того, что Мильдред очень занята работой или же просто потому, что до сих пор не нашла подходящего мужчину. Потом бабушка дала ему карандаш и небольшой листок линованной бумаги, пояснив, что это лучшая бумага, чтобы писать на ней письма, но, прежде чем начать, ему нужно хорошенько подумать, что именно он хочет сказать своей тете, мало того – ему не следует забывать писать фразу покороче, не потому, что он не способен читать длинные предложения, но письмо – это совсем другая история, и поскольку писать печатными буквами – процесс медленный, ей бы не хотелось, чтобы он выдохся и бросил, не доведя дело до конца.

*Дорогая тетя Мильдред*, писал Фергусон, а бабушка диктовала ему слова по буквам, высоким качким голосом, тянула звук каждой буквы, словно песенку, мелодия взмывала и опала, пока рука его постепенно ползла по странице. *Я упал с дерева и сломал ногу. Здесь Нана. Она меня учит читать и писать. Франси раскрасила мне гипс синим, красным и желтым. Она злится из-за тех людей, которых изжарили на стуле. Во дворе поют птицы. Сегодня я сосчитал одиннадцать разных птичек. У меня любимые желтые овсянки. Я читал «Сказку о двух вредных мышках» и «Цирковую собачку Махотку». Что тебе нравится больше, ванильное или шоколадное мороженое? Надеюсь, ты скоро приедешь в гости. Целую, Арчи.*

Они немного поспорили из-за употребления слова «изжарили», которое бабушка сочла чрезмерно вульгарным, если говорить о трагическом событии, но Фергусон настоял на том, что выбора нет – язык нельзя менять, поскольку именно так Франси и представила ему все это дело,

и он считает, что это хорошее слово именно потому, что оно такое яркое и отвратительное. Да и вообще это его письмо, правде же, и он может в нем писать все, что захочет. И вновь бабушка покачала головой. *Ты никогда не отступаешь, Арчи, правда?* На что ее внук ответил: *А с чего бы мне отступить, я же прав?*

Вскоре после того, как они запечатали письмо, домой неожиданно вернулась мать Фергусона, пропыхтев вдоль по улице в красном двухдверном «понтиаке», на котором она ездила с тех пор, как семья тремя годами раньше переселилась в Вест-Оранж, машину эту Фергусон и его родители звали *джерсейской помидоркой*, и когда мать закончила ставить ее в гараж – прошагала по газону к веранде, двигаясь быстрее обычного, ускоренным темпом где-то посередине между шагом и трусцой, и едва оказалась на таком расстоянии, чтобы Фергусон различил ее черты, он увидел, что мать улыбается, от уха до уха – необычайно широкая и яркая улыбка, – а потом она подняла руку и помахала своим матери и сыну, тепло их поприветствовала, признак того, что у нее отличное настроение, и не успела еще подняться по лесенке к ним на веранду, Фергусон понял, что именно она сейчас скажет, поскольку по ее раннему возвращению и бодрости на лице было ясно, что ее долгие поиски наконец-то завершились, что место для ее фотоателье найдено.

Оно в Монклере, сказала мать, это совсем недалеко от Вест-Оранжа, и место это не только достаточно просторное, чтобы туда влезло все, что понадобится, но и располагается прямо на главной улице. Там, конечно, придется потрудиться, но аренда начнется только с первого сентября, а потому ей хватит времени разработать планы и начать ремонт с первого же дня. Какое облегчение, сказала она, наконец-то хорошая новость, но все равно еще есть загвоздка. Ей нужно придумать название для ателье, а все ее замыслы ей пока не нравятся. «Фото Фергусон» на слух не годится из-за двойного *ф*. «Фото Монклер» слишком пресно. «Портреты от Розы» чересчур претенциозно. «Фото Розы» на слух неудачно из-за тройного *о*. «Пригородные портреты» наводят ее на мысли об учебнике по социологии. «Современный образ» неплохо, но с таким названием она скорее думает о журнале по фотографии, а не об ателье и плоти и крови. «Портретная Фергусон». «Камера-центральная». «Фото Ф-Стоп». «Проявочная деревня». «Площадь Светлого Маяка». «Фото Рембрандт». «Фото Вермеер». «Фото Рубенс». «Фото Эссекс». Не годится, сказала она, все они дрянь, а мозги у нее уже онемели.

Фергусон встрял с вопросом. Как называлось то место, куда его отец водил ее на танцы, спросил он, там было где-то слово *роза*, куда они ходили, когда еще не были женаты? Он помнил, как она ему разок про это рассказывала, потому что им там было так здорово, что они *танцевали, себя не помня*.

«Страна Роз», сказала его мать.

Тогда мать Фергусона повернулась к своей матери и спросила, что она думает насчет «Ателье Страны Роз».

Мне нравится, ответила ее мать.

А тебе, Арчи? – спросила его мать. Ты как считаешь?

Мне тоже нравится, ответил он.

Ну вот и мне, сказала его мать. Может, придумывали названия и получше, но это звучит приятно. Утро вечера мудренее. Если наутро нам оно по-прежнему будет нравиться, может, задачка и решена.

Той ночью, пока Фергусон, его родители и бабушка спали у себя в постелях на втором этаже дома, «Домашний мир 3 братьев» сгорел дотла. Телефон зазвонил в четверть шестого утра, и через несколько минут отец Фергусона уже ехал в своем бутылочно-зеленом «плимуте» в Ньюарк оценивать ущерб. Поскольку в комнате Фергусона кондиционер воздуха работал во всю мощь, телефонный звонок и суету торопливого отца отъезда перед рассветом он проспал, а узнал о том, что произошло, лишь когда проснулся в семь. Мать выглядела возбужденной, смущенной и расстроенной, как никогда прежде, счел Фергусон, она больше не служила

оплотом равновесия и мудрости, каким он ее всегда считал, а походила скорее на него самого – была хрупким существом, уязвимым для печали, слез и безнадежности, и когда она обняла его, ему стало страшно – не просто потому, что сгорел магазин его отца, и у них больше не останется денег, на которые можно жить, а это означало, что им придется переселиться в богадельню и весь остаток своих дней питаться тюрей и черствыми кусками хлеба, нет, это само по себе скверно, но по-настоящему его испугало, когда он понял, что мать – не крепче него самого, что от ударов мироздания ей так же больно, как больно ему, и, если не считать того, что она просто старше, разницы между ними никакой нет.

Бедный твой отец, сказала мать. Всю свою жизнь положил на то, чтобы развить этот магазин, трудился, трудился и трудился, а все вот кончилось ничем. Кто-то чиркает спичкой, электрический провод в стенке коротит – и двадцать лет тяжелой работы превращаются в грудку золы. Бог жесток, Арчи. Он должен оберегать хороших людей на свете, но не оберегает. Заставляет их страдать так же, как и скверных людей. Убивает Давида Раскина, сжигает магазин твоего отца, позволяет невинным людям умирать в концентрационных лагерях, а все говорят, что он – Бог добрый и милосердный. Какая чушь.

Мать примолкла. У нее в глазах поблескивали мелкие слезы, заметил Фергусон, и она кусала нижнюю губу, словно пыталась не выпустить изо рта какие-то еще слова, как будто понимала, что и без того уже далеко зашла, что у нее нет права выражать столько злости при шестилетнем ребенке.

Не волнуйся, сказала она. Я просто расстроилась, только и всего. У отца есть страховка от пожара, и с нами ничего не случится. Просто гадкое невезенье, вот и все, но это лишь временно, а в конце все опять станет хорошо. Ты же сам это понимаешь, Арчи, правда?

Фергусон кивнул – но лишь потому, что не хотел, чтобы мать расстраивалась сильнее. Да, может, у них и будет все прекрасно, подумал он, но, опять же, если Бог такой жестокий, как она сказала, может, и не будет. Никакой уверенности. Впервые с тех пор, как он появился на этом свете две тысячи триста двадцать пять дней назад, все ставки оказались отменены.

Но мало того – кто еще такой этот самый Давид Раскин?

### 1.3

Его двоюродный брат Эндрю умер. *Погиб на боевом задании*, вот как отец Фергусона объяснил ему, а боевым заданием был ночной патруль в ледяных горах, стоявших между Северной и Южной Кореей, от единственной пули, выпущенной китайским солдатом-коммунистом, сказал отец, которая пробила сердце двоюродного брата Эндрю и убила его в возрасте девятинадцати лет. Стоял 1952 год, и пятилетний Фергусон предполагал, что ему должно быть так же уныло, как и всем остальным в комнате, начиная с тети Милли и кузины Алисы, которые дольше десяти минут не могли усидеть, чтобы опять не разрыдаться, и грустного дяди Люю, курившего одну сигарету за другой и смотревшего в пол, да только Фергусон никак не мог справиться со скорбью, какая от него требовалась, чувствовалось нечто ложное и неестественное в том, чтобы стараться грустить, когда ему не грустно, из-за того, что кузен Эндрю ему никогда не нравился, он его обзывал *козьявкой*, *малявкой* и *маленьким говнюком*, постоянно помыкал им на семейных сборищах, а однажды запер его в чулане *посмотреть, выдюжит ли*, а даже если и не трогал Фергусона – говорил всякое своей сестре Алисе, обидные слова вроде *свинья харя*, *собачьи мозги* и *ножки-спички*, отчего Фергусон в отвращении морщился, не говоря уже о том удовольствии, какое Эндрю, судя по всему, получал, ставя подножки и лупя кузена Джека, который был младше Эндрю всего на год, но на полголовы ниже. Даже родители Фергусона признавали, что Эндрю *мальчик неблагополучный*, и, насколько Фергусон мог припомнить, он постоянно подслушивал истории о выходках его двоюродного брата в школе, тот грубил учителям, поджигал мусорные урны, бил окна, прогуливал уроки, столько

проступков за ним числилось, что директор наконец вышиб его с середины предпоследнего класса, а потом, когда его поймали на угоне машины, судья предложил ему выбор: тюрьма или армия, поэтому Эндрю пошел в армию, а через полтора месяца после того, как его отправили в Корею, – погиб.

Много лет пройдет, прежде чем Фергусон до конца осознает, какой удар нанесла всей семье его смерть, ибо тогда он был слишком юн, чтобы хоть что-то ухватить, но в итоге воздействие, какое она на него оказала, ставшее явным, лишь когда ему исполнилось семь с половиной, а значит, и два года между похоронами Эндрю и тем событием, что разнесло вдребезги их мирок, миновало сплошным мазком детства в настоящем времени, обыденных школьных дел, игр и спорта, дружб, телевизионных программ, книжек комиксов, книжек с картинками, болезней, содранных коленок и синяков на конечностях, время от времени кулачных потасовок, нравственных выборов и бессчетных вопросов о природе действительности, и, проживая все это, он продолжал любить своих родителей и ощущать их взаимную любовь к нему, больше всего – от своей неунывающей, нежной матери, Розы Фергусон, которая владела и заправляла «Ателье Страны Роз» на главной улице в Милльбурне, городке, где они жили, а в меньшей, более сомнительной степени – от отца, загадочного Станли Фергусона, кто разговаривал мало, и часто казалось, он лишь смутно осознает существование своего сына, однако Фергусон понимал, что его отцу и без того есть о чем подумать, что управлять «Домашним миром 3 братьев» – работа, которая требует его целиком, круглосуточная, а это неизбежно значит, что он рассеян, но в те редкие мгновения, когда он не бывал рассеян и мог сосредоточить взгляд на сыне, Фергусон был уверен, что отец знает, кто Фергусон такой, что ни с кем другим его не перепутал. Иными словами, Фергусон жил на крепкой почве, о его материальных нуждах заботились последовательно и прилежно, над головой имелась крыша, ел он три раза в день, одежда всегда свежевыглаженная, не нужно терпеть никаких физических тягот, никакие муки чувств не останавливали его развития, а в те годы между пятью с половиной и семью с половиной он развился в ребенка, какого педагоги бы сочли здоровым и нормальным, с умственными способностями выше средних, прекрасным образчиком американского ребенка середины века. Но сам он чересчур увяз в суматохе собственной жизни, чтобы обращать внимание на то, что творится за кругом его непосредственных забот, а из-за того, что родители его были не из тех, кто делится своими заботами с маленькими детьми, ему никак и не удалось подготовиться к тому бедствию, что обрушилось 3 ноября 1954 года, изгнало его из детского Рая и превратило его жизнь в совершенно иную жизнь.

Среди многого прочего, о чем Фергусон ничего не знал до того рокового мгновения, было следующее:

1) Сила скорби Лью и Милли из-за смерти их сына в сочетании с тем, что себя они считали скверными родителями, раз вырастили, по их мнению, *ущербную личность*, ребенка-правонарушителя без совести или нравственного фундамента, кто смеялся над правилами и авторитетами, больше всего на свете любил бедокурить, когда б ни выпадал случай, вруна, мазурика до мозга костей, человека непутевого, и Лью с Милли мучали себя этой неудачей, не понимая, то ли они на него слишком давили, то ли недостаточно закручивали гайки, спрашивая себя, что можно было бы сделать иначе, чтоб он не стал угонять ту машину, которая и оказалась ему смертным приговором, и как не на месте у них была душа, когда они поддерживали его в решении идти в армию, что, по их мысли, помогло бы наставить его на путь истинный, но в итоге запихнуло в деревянном ящике на шесть футов под землю, а стало быть – они ответственны и за его смерть, не только за его неугомонную, сердитую, растраченную впустую жизнь, но и смерть на той обледенелой вершине горы в богом забытой Корее.

2) У Лью и Милли имелся вкус к алкоголю. Они были из тех семейных пар, что пьют для потехи и из побуждения, парочка эта выпить любила и пила беззаботно – эдакие театральные чаровники, когда уровень смазки не превышает их возможностей, а те были значительны,

но, как ни странно, из них двоих, казалось, лучше держит выпивку худая как щепка Милли, она вообще едва ли когда-нибудь покачивалась или говорила невнятно, а вот ее супруг, кто был гораздо крупнее, иногда вываливался за борт, и еще до смерти Эндрю Фергусон мог припомнить те разы, когда видел, как его дядя отключался на кушетке и храпел посреди громкой семейной вечеринки, все считали очень смешным, когда такое случалось, но вот теперь, уже после этой смерти, пьянство Лью усилилось, пил он теперь не только на вечеринках, коктейлях и после ужина на сон грядущий, а надирался в обед средь бела дня и втайне потягивал из фляжки, которую носил во внутреннем кармане пиджака, что, без сомнений, помогало ему притупить боль, что грызла его измученное совестью, истерзанное сердце, да вот только пьянство начало влиять на его работу в магазине – иногда он нес бессвязную околесицу, разговаривая с покупателями о сравнительных достоинствах стиральных машинок «Вирпул» и «Майтаг», и даже если не бывал он невнятен, то случалось ему бывать раздражительным, а когда он раздражался, ему часто доставляло удовольствие оскорблять людей, что, конечно, никак не годилось для работы в «Домашнем мире 3 братьев», и потому приходилось вмешиваться отцу Фергусона, отволакивать Лью от оскорбленного покупателя и велеть ему идти домой спать.

3) Известный факт – склонность Лью к азартной игре. Если б не работа Милли – она была закупщицей в универсальном магазине «Бамбергерс» в центре Ньюарка, – семья бы давно уже обанкротилась, поскольку почти все, что Лью зарабатывал в «Домашнем мире 3 братьев», скорее оказывалось в кармане его букмекера. Теперь же, когда его пьянство начало выходить из берегов, то же стало случаться и с его ставками на неравные шансы – это мечта спекулянта, добыча, какая попадает раз в жизнь, из тех, о каких легендарные игроки потом разговаривают десятки лет, – и чем сумасброднее становились его догадки, тем стремительнее росли проигрыши. К августу 1954-го он уже был на тридцать шесть тысяч долларов в долгу, и Айра Бернштейн, человек, управлявший его ставками последний десяток лет, уже начинал терять терпение. Лью требовалась наличка, десять-двенадцать тысяч, никак не меньше, солидный кус в доказательство его добрых намерений, иначе в гости к нему зайдут мальчишки с бейсбольными битами и латунными кастетами, а поскольку денег у Станли попросить он не мог, зная, что его младший братишка не шутил, когда поклялся больше никогда из каких бы то ни было передрыг Лью не вытаскивать, и он у Станли украл: приостановил платеж по чеку от «Дж. Э.»<sup>6</sup>, поставщика «Домашнего мира 3 братьев», и перевел сумму себе. Он знал, что рано или поздно его уличат, но расхождение вылезет далеко не сразу, поскольку перевод средств за товары между магазином и его поставщиками осуществлялся на взаимном доверии, и бухгалтерия отставала на много месяцев от действительных сделок, а месяцы эти как раз и дадут ему время, необходимое для того, чтобы он все исправил. В конце сентября дяде Фергусона представилась возможность. Это означало приостановить еще один платеж, но, если все выйдет удачно, потраченные девять тысяч долларов превратятся в добычу в десять раз больше этой суммы, а этого больше чем хватит на покрытие двух остановленных платежей, выплату полного долга Бернштейну, да и ему самому перепадет недурная кучка. Скоро начинался Чемпионат США, и в нем на «Индейцев» смотрели намного благосклоннее, чем на «Гигантов», – настолько, что ставить на Кливленд едва ли вообще стоило, но тут Лью подумал: если «Индейцы» – такой сильный клуб, что им не даст выиграть четыре раза подряд? Шансы в такой ставке были гораздо привлекательней. Десять к одному на все матчи, в то время как ставить деньги на Кливленд по матчу за раз принесет ему сушие гроши. И Лью нашел себе другого букмекера, то есть того, чья фамилия не была Бернштейн, и поставил девять тысяч двести долларов, которые украл у своего брата, на «Индейцев» – на то, что они закроют всю таблицу без единого проигрыша «Гигантам». Никто не знал, где дядя Фергусона смотрел первую игру, но когда Станли, Арнольд и

<sup>6</sup> «Дженерал Электрик».

остальной персонал «Домашнего мира 3 братьев» сгрудились вокруг телеприемников в торговом зале следить за ходом игры вместе с пятью или шестью десятками зашедших покупателей, которые и покупателями-то настоящими не были, просто болельщики «Гигантов», у кого не имелось своих телевизоров, Лью выскользнул смотреть игру в одиночестве, вероятно – в местный бар или еще какое место, в неведомую точку, где никто не видел, как он пережил тот ужас, когда Мейс сбил флайбол Верца в конце восьмого иннинга, а затем, что еще ужаснее, тот душераздирающий разгром, что последовал несколько минут спустя, когда он увидел, как Родс обернулся на подачу Лемона и отправил мяч на трибуны правого поля. Один замах битой – и чья-то чужая жизнь погублена.

4) В середине октября поставщик «Дж. Э.» уведомил Станли, что у них не зафиксирован платеж за фуру морозилок, кондиционеров, вентиляторов и холодильников, поставленных еще в начале августа. Недоумевая, Станли отправился к бухгалтеру «3 братьев» Адели Розен, пухлой вдове пятидесяти шести лет, державшей в прическе желтый карандаш и верившей в добродетельность аккуратного почерка и строго выровненных столбцов, и как только Станли объяснил ей загвоздку, миссис Розен вынула из ящика своего письменного стола чековую книжку компании и нашла корешок от десятого августа, который доказывал, что платеж был произведен в полном объеме за сумму их задолженности, \$14 237,16. Станли пожал плечами. Должно быть, чек затерялся в почте, сказал он, а затем попросил миссис Розен остановить платеж по августовскому чеку и выписать новый на поставщика «Дж. Э.». На следующий день глубоко озадаченная миссис Розен сообщила Станли, что тот платеж уже был остановлен еще одиннадцатого августа. Что это может значить? На кратчайшее из кратких мгновений Станли задумался, не предала ли его миссис Розен, не виновна ли эта верная доселе сотрудница, которая, как было широко известно, втайне влюблена в него последние одиннадцать лет, в подделке бухгалтерских книг, но затем он взглянул в обеспокоенные, обожающие глаза миссис Розен и выбросил такую чепуху из головы. Он вызвал Арнольда в задний кабинет и спросил у него, что ему известно о пропавших четырнадцати тысячах долларов, но Арнольд, на вид не менее потрясенный и смущенный, чем миссис Розен перед той же загадкой, ответил, что даже вообразить себе не может, что тут происходит, и Станли ему поверил. Затем он вызвал Лью. Самый старший член клана поначалу все отрицал, но Станли не понравилось, как его брат отводит взгляд в стену у него за плечом, пока они разговаривают, поэтому он давил дальше, допрашивал Лью об остановке платежа по августовскому чеку, утверждал, что сделать это мог только он, единственный возможный кандидат, поскольку миссис Розен вне подозрений, равно как Арнольд и он сам, поэтому наверняка это мог быть только Лью, а потом Станли принялся углубляться в вопросы недавней игроцкой деятельности брата, сколько именно он ставил, общий объем его потерь, какие бейсбольные матчи, какие футбольные матчи, какие боксерские поединки, и чем сильнее Станли давил, тем больше тело Лью, казалось, слабо, как если бы они вдвоем молотили друг друга на ринге, и каждое слово было следующим ударом, кулаком под дых, в голову – и мало-помалу Лью начал пошатываться, словно у него сейчас подогнутся колени, как вдруг он уже сидел на стуле, спрятав лицо в ладони, рыдая и выдавливая из себя отрывистое, еле слышное признание. Станли ужаснулся тому, что услышал, ибо, вообще говоря, Лью нимало не сожалел о том, что натворил, а если и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что план его не сработал, его прекрасный, безупречный план: «Индейцы» подвели его и проиграли первый матч Чемпионата, и ебать Вилли Мейса, сказал он, ебать Дасти Родса, и тут Станли наконец-то понял, что брат его совсем безнадежен, что взрослому человеку тыкать пальцем в двух игроков с мячом и считать, будто они виноваты в его неприятностях, – это значит, что ум у него не сложнее, чем у ребенка, ребенка притом недоразвитого, кого-то, кто так же убог и неполноценен, как собственный сын Лью, покойный и похороненный рядовой Эндрю Фергусон. Станли подмывало велеть брату убираться из его магазина и больше сюда не возвращаться, но так поступить он не мог, это было бы слишком внезапно, чересчур сурово, и



пока он размышлял, что ему делать дальше, зная, что не может ничего сказать, пока гнев его несколько не уляжется, хотя бы, до того уровня, на каком он не пожалеет о сказанных словах, — Лью заговорил снова, а сообщал он Станли, что они все в этом по самую шею и что магазину конец. Отец Фергусона понятия не имел, о чем толкует Лью, поэтому он еще немного придержал язык, начиная уже ощущать, что брат его вообще-то лишился рассудка, и тут Лью заговорил о Бернштейне и о том, сколько он ему должен денег, уже больше двадцати пяти тысяч, но это лишь верхушка айсберга, ибо Бернштейн уже начал считать ему проценты, и каждый день сумма растет, выше, выше и выше, и за последние две недели уже раздалось с полдюжины телефонных звонков, голос на том конце провода угрожал ему, что, если он не заплатит, что должен, будут мучительные последствия, которые поочередно означали, что бригада людей накинется на него в темноте и переломает все кости в его теле, или же ослепит его кислотой, или же Милли порежут лицо, или же похитят Алису, или же убьют как Милли, так и Алису, и ему страшно, сказал брату Лью, так страшно, что он больше не может спать, и как ему собрать столько средств, когда дом его уже дважды заложен, а сам он занял у магазина двадцать три тысячи долларов? Теперь у Станли колени начали подкашиваться, закружилась голова, и он потерялся, стал сам не свой, его больше не облекала его собственная кожа, поэтому он сел в кресло по другую сторону стола напротив Лью, не понимая, как четырнадцать тысяч долларов вдруг превратились в двадцать три тысячи долларов, и пока два брата глядели друг на друга через серый металлический стол, Лью сообщил Станли, что Бернштейн выдвинул предложение, и, с его точки зрения, это единственный выход из всего этого, единственное возможное решение, и нравится оно Станли или нет, это нужно сделать. Ты это о чем? — спросил Станли, открыв рот впервые за последние семь минут. Они сожгут нам магазин, сказал Лью, и как только мы получим страховку, все заберут свою долю. Станли ничего не ответил. Ничего не ответил он потому, что вынужден был ничего не говорить, поскольку единственная мысль у него в голове в тот миг — до чего сильно ему хочется убить своего брата, а если бы он когда-либо осмелился произнести слова эти вслух, сообщить Лью, как ему хочется стиснуть ему руками горло и придушить до смерти, мать проклянет его из могилы и будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Наконец Станли встал с кресла и пошел к двери, а как только открыл дверь — остановился на пороге и сказал: Я тебе не верю. После чего вышел из кабинета, а за спиной услышал голос брата, Лью сказал: Поверь мне, Станли. Это нужно сделать.

5) Первым порывом Станли было поговорить с Розой, облегчить душу перед женой и попросить ее помощи в том, чтобы остановить Лью, но вновь и вновь он мучительно пытался вытолкнуть слова изо рта — и вновь и вновь ему это не удавалось, всякий раз он в последнюю минуту отступал, не мог вынести мысли о том, что придется выслушать все, что она ему скажет, все, что, знал он, она ему скажет. Он не мог обратиться в полицию. Пока никакого преступления не совершено, а что за человек станет обвинять своего брата в том, что тот замышляет возможное преступление, когда у него нет веских улик, какими можно подтвердить доказательство сговора? С другой стороны, даже если Бернштейн и его брат в итоге все равно это совершат, достанет ли ему присутствия духа все же пойти в полицию, чтобы его брата арестовали? Лью грозит опасность. Его могли ослепить, убить его жену и дочь, и если Станли сейчас выступит, он будет нести ответственность за такое увечье, за те смерти, а это означает, что и он тоже в этом участвует, невольным пособником заговора, вопреки себе, и если что-то пойдет не так, и Бернштейна и Лью поймают, он не сомневался, что брат его, не задумываясь, назовет его сообщником. Да, он презирал Лью, его тошнило от одной мысли о брате, однако до чего же глубоко презирал он и себя за то, что ощущает эту ненависть — она греховна и уродлива и лишь еще больше увеличивает его неспособность действовать, ибо, оказавшись не в силах поговорить с Розой, он понимал, что выбрал не настоящее, а прошлое, отрекся от своего места мужа и отца, чтобы вернуться в темный мир сына и брата, то место, где ему больше не хотелось находиться, но сбежать оттуда он не мог, его снова всасывало туда, и следующие две недели он

ходил в одержимом состоянии ужаса и ярости, отгородившись от всех стеной нерушимого безмолвия, кипя от раздражения, не понимая, когда же наконец бомба у него в голове взорвется.

6) Насколько он понимал, другого выхода не было, только подыграть – или сделать вид, будто подыгрываешь. Ему нужно было знать, что планируют Бернштейн и компания, быть в курсе деталей, а чтобы все это узнать, требовалось облапошить Лью так, чтобы тот думал, будто они заодно, поэтому наутро, всего через сутки после их последней беседы, того жуткого диалога, что завершился на словах *Это нужно сделать*, Станли сообщил Лью, что он передумал, что вопреки его здравому смыслу и с бесконечным отвращением на душе он понимает, что другого выхода действительно нет. Ложь эта произвела желаемое действие. Считая, будто Станли теперь в игре, благодарный, дрожащий, почти совсем расклеившийся Лью начал относиться к брату как драгоценному своему союзнику и самому надежному наперснику – и ни разу не заподозрил, что Станли выступает как двойной агент, чье единственное намерение – погубить все дело и не дать пожару случиться.

7) Задействованы будут двое, сообщил ему Лью, – матерый поджигатель без судимостей в паре с караульщиком, а дело назначено на следующий вторник, ночь со второго ноября на третье, если та по прогнозам погоды будет сухой и без дождя. Задачей Лью будет отключить сигнализацию и выдать этим людям ключи от магазина. Ночь он проведет дома – и Станли он рекомендовал сделать то же самое, но у Станли на эту ночь были другие планы – или единственный план, а именно: засесть в неосвещенном магазине и прогнать поджигателя, пока тот не успел сделать свое дело. Станли желал знать, будет ли у людей оружие, но тут Лью был не уверен, Бернштейн пренебрег обсуждать с ним этот вопрос, но какая разница, спросил он, чего волноваться из-за того, что их не касается? Потому что кто-то может выбрать неудачный момент и пройти мимо магазина, сказал Станли, полицейский, мужчина, выгуливающий собачку, женщина, возвращающаяся домой с вечеринки, а ему не хочется, чтобы кто-то пострадал. Сжигать предприятие из-за трехсот тысяч долларов страховки само по себе скверно, но если в процессе случайно подстрелят и убьют какого-нибудь невинного прохожего, они могут отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Об этом Лью не подумал. Может, следует обсудить это с Бернштейном, сказал он, но Станли ответил, что не стоит беспокоиться, поскольку люди Бернштейна все равно поступят, как им заблагорассудится, вне зависимости от того, чего захочет Лью. На том их дебаты и завершились, и когда Станли отходил от своего брата прочь и спулся в торговый зал, он осознал, что вопрос, будет оружие или нет, – великая неизвестная переменная, единственный фактор, который способен разрушить его план. Ему есть смысл купить до вторника пистолет, сказал себе он, но что-то в нем противилось этому замыслу, всю жизнь он терпеть не мог оружие – настолько, что и не стрелял-то никогда, даже не прикасался. Отца его убили из оружия, и что толку ему было иметь при себе револьвер в том чикагском складе тридцать один год назад, его все равно подстрелили, убили, хоть в правой руке он держал тридцать восьмой калибр, из которого так и не выстрелил, и кто знает, не убили ли его как раз из-за того, что он первым потянулся к револьверу, и у его убийцы не осталось другого выбора, только выстрелить в него, чтобы спасти собственную жизнь? Нет, оружие – дело сложное, и как только направишь его на кого-нибудь, особенно – на кого-нибудь со своим собственным оружием, как раз та защита, на какую рассчитываешь для себя, может запросто превратить в труп тебя самого. А кроме того, человек, которого Бернштейн откопал, чтобы тот спалил «Домашний мир 3 братьев», был не наемным убийцей, а поджигателем, бывшим пожарником, по словам Лью, и притом хорошим, человек этот некогда зарабатывал себе на жизнь тем, что тушил пожары, а теперь вот сам их устраивает для удовольствия и к собственной выгоде, а зачем такому человеку для этого оружие? Караульщик – другое дело, несомненно, это будет какой-нибудь ражий громила, который явится в магазин вооруженным до зубов, но Станли прикидывал, что он-то скорее будет ждать снаружи, пока бывший пожарник занимается своим делом, а поскольку сам Станли уже будет внутри к тому времени, как эта парочка возникнет,

он и заключил, что оружие будет лишним. Это не означало, что он туда отправится с пустыми руками, бейсбольная бита послужит ему так же неплохо, думал он, тридцатишестидюймовая «луисвилльская дубина» отпугнет поджигателя так же действенно, как пистолет тридцать второго калибра, а с учетом умонастроений Станли за две недели до второго ноября, с учетом демонического, полубезумного, выходившего из-под контроля рева мыслей, что неистовствовал у него в голове с того самого утра, когда Лью ему во всем признался, мысль о бейсбольной бите он считал глубоко и извращенно потешной, такой смешной, что он даже хохотнул вслух, когда мысль эта пришла ему в голову, кратко твякнул хохотком, который поднялся со дна легких и вырвался вон, словно залп картечи, отскачившей от стены, ибо вся эта отвратительная комедия с бейсбольной биты и началась – с той, что была у Дасти Родса на стадионе «Полло-Граундс» двадцать девятого сентября, а как еще лучше завершить этот фарс – только раздобыть другую биту и пригрозить расколоть голову тому, кто захочет сжечь его магазин?

8) Днем второго Станли позвонил Розе и сказал, что ужинать домой вечером не вернется. Будет допоздна работать с Аделью, сказал он, проверять бухгалтерские книги перед аудитом, назначенным на пятницу, и есть все шансы, что засидятся они за полночь, поэтому пускай Роза его не ждет. По вторникам магазин закрывался в пять, и к половине шестого все, кроме Станли, уже ушли: Арнольд, миссис Розен, Эд и Фил, Чарли Сайкс, Боб Докинс, а Лью не было совсем – в то утро он слишком испугался идти на работу и просидел весь день дома с придуманной лихорадкой. Люди Бернштейна явятся только в час-два ночи, и в те несколько предстоящих пустых часов Станли решил сходить поужинать, побаловать себя визитом в любимый ньюаркский ресторан «У Мойше», который специализировался на восточноевропейской еврейской кухне – той же еде, которую в старину Станли готовила мать: отварная говядина с хреном, картофельные пирожки, гефилте-фиш и суп с кнедликами, крестьянские лакомства иной эпохи, иного мира, и стоило Станли только войти в обеденную залу у Мойше, как он оказывался отброшенным в свое исчезнувшее детство, ибо сам этот ресторан был отбросом, обветшалое, неизящное место с дешевыми, закатанными в целлофан скатертями и пыльными светильниками, свисавшими с потолка, но каждый столик там был украшен синеватой или зеленоватой бутылкой сельтерской, от вида которых в нем почему-то всегда неизменно возникал маленький прилив счастья, а когда он слышал сварливых, невоспитанных официантов, говоривших так, что в их голосах слышался идиш, ему становилось еще и утешительно, хоть он с большим трудом был бы способен объяснить почему. И вот Станли ужинал в тот вечер кушаньями своей юности, начав с борща с плюхой сметаны, за ним тарелка маринованной селедки, а потом главное блюдо – стейк из пашины (прожаренный) с огурцами и картофельными оладьями на гарнир, и, прыская струйки сельтерской себе в прозрачный граненый стакан и уминая трапезу, он думал о своих покойных родителях и двух невозможных братьях, которые за эти годы причинили ему столько душевной боли, а еще о своей прекрасной Розе, человеке, которого любил он больше всех, но все же недостаточно, никогда не бывало этой любви достаточно – факт этот он осознавал теперь уже какое-то время, и мучительно ему было признавать, что есть в нем некая преграда, что-то подавленное, какой-то недостаток во всей его натуре, что не позволял ему давать ей столько себя, сколько она заслуживала, а потом еще есть маленький мальчик, Арчи, это уж совсем загадка, несомненно, парнишка живой и смысленный, мальчишка развитее прочих мальчишек, но с самого начала он-то видел в нем мамино ребенка, так к ней привязанного, что Станли никогда не удавалось вклиниться, и после семи с половиной лет его по-прежнему ставила в тупик собственная неспособность прочитывать, о чем думает этот мальчик, хотя Роза, похоже, понимала это всегда, словно бы неким врожденным знанием, какой-то необъяснимой силой, что горела в женщинах, а мужчинам доставалась редко. Необычно было Станли задумываться о таком, вгонять свои мысли в себя самого и выискивать промахи и горести, драные нити залатанной жизни, но то был для него и миг необычный, и после двух долгих недель молчания и внутренних мытарств он выдохся, уже едва держался на ногах, а если и мог

встать, то еле-еле получалось пройти по прямой, не теряя равновесия, и вот, расплатившись за ужин, пока ехал обратно в «Домашний мир 3 братьев», он раздумывал, имеет ли его план вообще какой-то смысл, не обманывает ли он сам себя, думая, будто тот осуществится просто потому, что сам он прав, а Лью и прочие – нет, и если это так, то, может, ему просто следует сейчас ехать дальше домой, а магазин пускай себе сгорает дотла.

9) В магазин он вернулся в самом начале девятого. Все темно, все тихо – ночное ничто немых телевизоров и дремлющих «Фригидаров», кладбище теней. Он почти не сомневался, что потом пожалеет о том, что делает сейчас, что все его расчеты непременно окажутся неверными, но других соображений у него не было, и уже слишком поздно придумывать что-то еще. Дело это он начал в восемнадцать лет, и за последний двадцать один год оно стало всей его жизнью, одной-единственной, поэтому он не мог позволить Лью и его банде жуликов просто взять его и уничтожить, потому что место это – не только дело, это жизнь человеческая, и жизнь этого человека – магазин, магазин и человек едины, и если они подожгут магазин, то подожгут они при этом и человека. Начало девятого. Сколько еще часов? По крайней мере, четыре – а то и все пять-шесть, ему долго тут сидеть и ничего не делать, ждать в непроглядно-черном помещении, когда появится человек с канистрами бензина и книжкой убийственных спичек, но выбора нет – только ждать тут, молча и надеясь, что бейсбольная бита крепка так же, какой выглядит. Он устроился в кресле в задней комнатке, в кресле миссис Розен, стоявшем в дальнем углу за письменным столом, откуда лучше всего был обзор через узкое прямоугольное окно, встроенное в стену между кабинетом и торговым залом, и оттуда, где сидел он, открывался вид на главный вход – ну, или он мог бы его видеть, если бы весь магазин не был погружен в совершенную тьму, но у человека с бензином наверняка при себе будет фонарик в кармане, и едва Станли заслышит, как открывается главная дверь, тут же зажжется свет, пусть всего на секунду-две, и он тогда поймет, где именно стоит этот человек. Сразу же вслед за этим: включить верхний свет, выскочить из заднего кабинета, стискивая биту в поднятой руке, закричать во весь голос и приказать человеку выметаться вон. Таков был план. Скрести пальцы, Станли, сказал он самому себе, а если удача от тебя отвернется – перекрестись и чтоб тебе провалиться. Меж тем он и дальше сидел в кресле миссис Розен, установленном на колесики, оно могло вертеться из стороны в сторону и наклоняться назад и вперед, обычное конторское кресло, в таком удобно сидеть недолго, но едва ли это хорошее место на подольше, а дольше – это четыре или пять часов, какие ему еще предстоят, однако же чем неудобнее, тем лучше, рассудил Станли, поскольку ощущение легкого неудобства поможет ему не терять бдительности. Ну или он так считал, но, пока сидел там за серым металлическим столом, покачиваясь назад и вперед в кресле миссис Розен, убеждая себя, что это худшее время всей его жизни, что никогда не бывал он несчастнее или никогда не было ему более одиноко, чем сейчас, что даже если и удастся ему пережить эту ночь в целостности и сохранности, все прочее в этой жизни будет разбито, размолото в прах предательством Лью, и после этой ночи ничего уже не останется прежним, ибо теперь, раз сам он Лью предает, Бернштейн прибегнет к прежним своим угрозам, а это снова подвергнет опасности Лью и Милли, и если с ними что-то случится, виноват в этом будет Станли, ему придется с этим жить и умереть, однако ну как же может он не делать того, что делает, как может позволить себе впутаться в мошенничество со страховкой и подвергнуться риску сесть в тюрьму, нет, он не может дать им сжечь магазин, их нужно остановить, и вот пока Станли обо всем этом думал – о том же, о чем он все думал и думал две последние недели, – он понял, что больше уже нет у него сил, он подступил к пределу того, что для него возможно, он вымотан, устал выше всякой меры, так устал, что больше не в силах оставаться в этом мире, и веки его помаленьку начали смыкаться, а совсем скоро он перестал даже стараться держать глаза открытыми и уронил голову на скрещенные руки, лежавшие перед ним на столе, и две или три минуты спустя уже спал.

10) Он проспал взлом и последовавшее за ним обливание магазина двенадцатью галлонами бензина, а поскольку человек, пришедший на это дело, понятия не имел, что Станли спит в заднем кабинете, то и чиркнул спичкой, поджегшей «Домашний мир 3 братьев», без всякого зазрения совести, зная, что он всего-навсего совершает поджог, и не ведая, что впоследствии обвинят его еще и в непредумышленном убийстве. Что же касается отца Фергусона, то с ним все пропало, безвозвратно. Когда открыл глаза, он уже был полубессознателен, не в силах шевельнуться из-за огромных клубов дыма, которыми уже надышался, и пока он пытался с трудом приподнять голову и вдохнуть хоть немного воздуха обожженными легкими, пламя прожгло насквозь дверь заднего кабинета, и как только оказалось в комнате – тут же кинулось к столу, за которым сидел Станли, и пожрало его живьем.

Всего этого Фергусон не знал, знать этого он и не мог в то двухлетие, что отделяло гибель его двоюродного брата в Корейской войне от гибели отца в ньюаркском пожаре. К весне следующего года его дядя Лью уже сидел в тюрьме вместе с бензиновым человеком Эдди Шульцем, его подельником-караульщиком Джорджем Ионелло и руководителем всей операции Айрой Бернштейном, но к тому времени Фергусон и его мать уже уехали из предместий Нью-Джерси и жили в Нью-Йорке – занимали четырехкомнатную квартиру на Западной Центрального парка между Восемьдесят третьей и Восемьдесят четвертой улицами. Фотографическое ателье в Милльбурне продали, а поскольку отцов полис страхования жизни предоставил его матери двести тысяч не облагаемых налогом долларов, никаких финансовых тягот не было, а это означало, что даже после смерти преданный, практичный, неизменно ответственный Станли Фергусон продолжал их поддерживать.

Поначалу шок третьего ноября с его зрелищем материнных слез, натиск напряженных, удушливых объятий, ее задышливо рыдавшее, содрогавшееся тело, что прижималось к Фергусону, а затем, несколько часов спустя – приезд деда с бабушкой из Нью-Йорка, а еще через день – появление тети Мильдред и ее мужа Пола Сандлера, и все это время – приходы и уходы бессчетных Фергусонов, две плачущие тетки, Милли и Джоан, дядя Арнольд с каменным лицом и даже вероломный, еще не разоблаченный дядя Лью, столько шума и кутерьмы, дом, в котором слишком много людей, а Фергусон сидел в уголке и наблюдал, не зная, что говорить или думать, все еще слишком ошеломленный, чтобы плакать. Непредставимо, что отец его умер. Лишь накануне утром он был жив, сидел за завтраком с номером «Ньюарк Стар-Леджер» в руках, говоря Фергусону, что день предстоит холодный, поэтому пускай не забудет надеть в школу шарф, и не было никакого смысла в том, что эти слова стали последними, какие его отец ему когда-либо скажет. Шли дни. Он стоял под дождем рядом с матерью, когда его отца опускали в землю, а ребе нараспев тянул на непонятном иврите что-то погребальное, такие ужасные на слух слова, что Фергусону хотелось заткнуть уши, а еще через два дня он вернулся в школу, к жирной миссис Костелло и своему второму классу, но все, казалось, его чурались, им теперь чересчур неловко было с ним заговаривать, как будто лоб ему проштамповали косым крестом, чтоб никто не подходил, и хотя миссис Костелло любезно предложила ему пропускать групповые занятия, а просто сидеть за партой и читать книжки, какие захочется, от этого почему-то было только хуже, поскольку оказалось трудным не отвлекаться от книжек, которые обычно приносили столько удовольствия, ведь мысли его неизменно отплывали от слов на странице к его отцу, не тому отцу, которого похоронили в земле, а тому, кто отправился на небеса, если такое место, как небеса, вообще существует, и если отец его действительно там, то может ли так случиться, что он сейчас смотрит сверху вниз на него, наблюдает, как он сидит у себя за партой и делает вид, будто читает? Славно было бы так думать, говорил себе Фергусон, но в то же время какой в этом толк? Отец был бы рад его видеть, да, от чего, вероятно, сам факт его смерти стал бы чуточку не таким невыносимым, но как оно могло бы помочь Фергусону стать видимым, если ему самому не видно того, кто на него смотрит? Больше всего хотелось

ему слышать, как его отец говорит. Вот чего не хватало ему больше всего прочего, и хотя его отец человеком был немногословным, умелым в искусстве давать краткие ответы на длинные вопросы, Фергусону всегда нравился звук его голоса, голоса мелодичного, мягкого, и мысль о том, что он его никогда больше не услышит, наполняла Фергусона громадной печалью, скорбью до того глубокой и настолько широкой, что в ней бы поместился Тихий океан – крупнейший океан на свете. *Сегодня будет холодно, Арчи. Не забудь надеть в школу шарф.*

Мир больше не был настоящим. Все в нем стало подложной копией того, чем ему следовало быть, и все, что в нем случилось, происходить было не должно. Еще долго потом Фергусон жил под чарами этой иллюзии, сомнамбулой перемещался днем и с трудом засыпал по ночам, его тошнило от мира, в который он перестал верить, он сомневался во всем, что представляло его глазам. Миссис Костелло просила его не отвлекаться, но теперь ему уже не требовалось ее слушать, поскольку была она всего-навсего актрисой, изображавшей его учительницу, и когда его друг Джефф Бальсони принес необычайную, непрошеную жертву – подарил Фергусону свою карточку с бейсболистом Тедом Вильямсом, редчайшую во всей коллекции «Топпс», – Фергусон сказал ему спасибо за подарок, сунул карточку в карман, а дома ее порвал. Теперь такое можно было делать. До третьего ноября это было бы для него непредставимо, но мир ненастоящий гораздо больше настоящего, и в нем больше чем достаточно места для того, чтоб быть там собой и не собой в одно и то же время.

Если верить тому, что потом рассказала ему мать, она не собиралась так быстро уезжать из Нью-Джерси, но тут разразился скандал, и вдруг не осталось другого выхода – только убраться оттуда. За одиннадцать дней до Рождества ньюаркская полиция объявила, что они распутали дело «Домашнего мира 3 братьев», и на следующее утро некрасивые подробности уже выплеснулись на первые полосы газет по всему Эссексу и Союзным округам. Братоубийство. Арестован Игровой Авторитет. Бывший Пожарный Оказался Поджигателем, Задержан Без Возможности Поручительства. Луису Фергусону Предъявлены Множественные Обвинения. В тот день мать не пустила его в школу, а потом и на следующий день, и на следующий, и все дни, пока школа не закрылась на рождественские каникулы, он просидел дома. Это ради твоего же блага, Арчи, сказала она, а поскольку ему было глубоко безразлично, что он не ходит в школу, он и не побеспокоился уточнять у нее, почему именно. Гораздо позже, когда он достаточно подрос, чтобы ухватить весь ужас слова *братоубийство*, понял он, что она пыталась его уберечь от дурных слухов, ходивших по городку, ибо фамилия его теперь пользовалась дурной славой, и быть Фергусоном означало, что ты принадлежишь к семье, которая проклята. Поэтому вскорости-восьмилетний Фергусон сидел дома с бабушкой, пока его мать занималась делами – выставляла семейное гнездо на продажу и искала фотографа, который мог бы купить у нее ателье, а поскольку газетчики не переставали звонить, просить, умолять и давить на нее, чтобы она открылась и дала им *историю со своей стороны*, якобитскую драму, ныне известную как «Дело Фергусонов», мать его решила, что с нее хватит, и через два дня после Рождества сложила несколько чемоданов, погрузила их в багажник своего синего «шеви», и они втроем поехали в Нью-Йорк.

Следующие два месяца они с матерью жили в квартире деда с бабушкой, на Западной Пятьдесят восьмой улице, мать – в своей прежней спальне, которую некогда делила с сестрой Мильдред, а Фергусон расположился по-походному, на маленькой раскладушке в гостиной. Самым интересным в таком временном обустройстве было то, что ему не нужно было ходить в школу – неожиданное освобождение, вызванное отсутствием у них постоянного адреса, и, пока они не найдут себе своего жилья, он будет свободным человеком. Тетя Мильдред возражала против того, что он не ходит в школу, но мать Фергусона спокойно от нее отмахнулась. Не беспокойся, сказала она. Арчи мальчик смывленный, и немного отдохнуть ему не повредит. Как только пойдем, где мы живем, начнем подыскивать ему школу. Не все сразу, Мильдред.

Странное, в общем, то было время, не связанное ни с чем, что он знал в прошлом, совершенно отдельное от того, каким все станет для него после того, как они въедут в свою квартиру, *занятое междуцарствие*, как выразился его дед, краткий промежуток полого времени, в который всякий момент бодрствования он проводил с матерью, два битых жизнью товарища, что носились взад и вперед по всему Вест-Сайду, вместе смотря разные квартиры, совещаясь о плюсах и минусах каждого места, взаимно решив, что та, которая на Западной Центрального парка, для них была бы в самый раз, и тут – удивительное объявление его матери, что дом в Милльбурне продается вместе с мебелью, со всей мебелью, и они начнут заново с нуля, они вдвоем, и больше никого, поэтому после того, как нашли себе квартиру, целыми днями они покупали мебель, рассматривали кровати, столы, торшеры и коврики, не покупали ничего, если оба на этом не соглашались, а однажды днем, когда они приценивались к стульям и диванам в «Мейси», продавец в галстук-бабочке перевел взгляд вниз на Фергусона и сказал его матери: Почему этот маленький мальчик не в школе? – на что мать его ответила, жестко глядя в лицо этому любопытному человеку: *Не ваше дело*. То был лучший миг тех странных двух месяцев, или один из лучших, незабываем из-за того внезапного счастья, какое забурлило в нем, когда его мать произнесла эти слова, ему стало счастливее, чем когда бы то ни было за много недель, из-за того ощущения единства, какое подразумевали эти слова, они вдвоем против всего остального мира, с трудом заново собирают себя воедино, и *не ваше дело* стало для них девизом этих совместных усилий, знаком того, насколько они теперь друг на друга полагались. После поисков мебели они шли в кино, на пару часов сбегая от холодных зимних улиц в темноту, смотрели все, что бы ни показывали, всегда на балконе, потому что мать могла там курить «Честерфильды», один «Честерфильд» за другим, пока они высиживали фильмы с Аланом Ладдом, Мерилин Монро, Кирком Дугласом, Гари Купером, Грейс Келли и Вильямом Хольденом, вестерны, мюзиклы, научную фантастику, неважно, что в тот день показывали, они шли туда вслепую и надеялись на лучшее с «Боем барабанов», «Вера-Крусом», «Лучший бизнес – шоу-бизнес», «20 000 лье под водой», «Скверный день в Черной скале», «Мосты в Токо-Ри» и «Юных сердцем», а однажды, сразу перед тем, как эти странные два месяца подошли к концу, женщина в стеклянной будке, продававшая им билеты, спросила у его матери, почему маленький мальчик не в школе, и его мать ответила: *Не суйте нос, дама. Отдайте мне сдачу, и все*.

## 1.4

Сперва была квартира в Ньюарке, о которой он ничего не помнил, а потом – дом в Мапльвуде, который родители купили, когда ему исполнилось три, теперь же, шесть лет спустя, они переезжали снова, в дом гораздо больше, на другом краю города. Фергусон не мог этого понять. Дом, в котором они жили, был совершенно годным домом, более чем подходящим домом для семьи всего из трех человек, и чего это ради его родителям понадобилось столько хлопот, собирать все их вещи, чтобы переехать на такое небольшое расстояние – особенно если этого вовсе не требовалось? Смысл имело бы, переезжай они в другой город или другой штат, как это сделали дядя Лью и тетя Милли четыре года назад, или дядя Арнольд и тетя Джоан через год после них, когда тоже переселились в Калифорнию, но с чего бы им менять дома, когда они не переезжают в другой город?

Потому что им это по карману, сказала его мать. Дела у отца идут хорошо, и они теперь могут себе позволить жить на более широкую ногу. Слова *на широкую ногу* навели Фергусона на мысли о европейском дворце восемнадцатого века, мраморном зале, полном герцогов и герцогинь в белых напудренных париках, два десятка дам и господ, разодетых в пышные костюмы из шелка, стоят кучками с кружевными платочками в руках и посмеиваются шуточкам друг дружки. Затем он немного приукрасил сцену – попробовал вообразить в этой толпе

своих родителей, но из-за костюмов они смотрелись нелепо, смехотворно, абсурдно. Он сказал: Только потому, что нам это по карману, вовсе не обязательно это покупать. Мне наш дом нравится, и я думаю, мы должны в нем остаться. Если у нас больше денег, чем нам нужно, мы должны отдать их тому, кому они нужны больше, чем нам. Кому-нибудь голодающему, старому калеке, тому, у кого денег нет совсем. Тратить их все на себя неправильно. Это эгоизм.

Не будь таким трудным, Арчи, ответила мать. Твой отец работает больше прочих в этом городке. Он заслужил все пенни до единого, какие заработал, и если ему хочется немного похвастаться новым домом, это его дело.

Мне хвастуны не нравятся, сказал Фергусон. Так некрасиво себя вести.

Ну, нравится тебе это или нет, молодой человек, мы переезжаем, и я уверена, ты будешь доволен, когда мы обустроимся. Побольше комната, побольше задний двор и отделанный полуподвал. Туда мы поставим стол для пинг-понга, и тогда поглядим, сумеешь ты меня разбить или нет.

Но мы же и так играем в настольный теннис на заднем дворе.

Когда на улице не слишком холодно. И только подумай, Арчи, в новом доме нам не будет мешать ветер.

Он знал, что часть семейных денег его мать заработала фотографом-портретистом, но гораздо большая их доля, вообще-то почти все, появилась от предприятия его отца – сети из трех магазинов бытовой техники под названием «Фергусонс» – один в Юнионе, другой в Вестфильде, а третий в Ливингстоне. Давным-давно был еще магазин в Ньюарке, который назывался «Домашним миром 3 братьев», но его больше не существовало, его продали, когда Фергусону было года три с половиной или четыре, и если бы не черно-белая фотография в рамке, висевшая на стенке в кабинете, моментальный снимок 1941 года, на котором его улыбающийся отец стоял между двух его улыбающихся дядьев перед «Домашним миром 3 братьев» в тот день, когда магазин открылся, все воспоминания о нем навсегда стерлись бы у Фергусона из памяти. Ему было непонятно, почему отец больше не работает со своими братьями, а превыше прочего еще была загадка похитрее: почему дядя Лью и дядя Арнольд оба уехали из Нью-Джерси *начать новую жизнь в Калифорнии* (по словам его отца). Шесть или семь месяцев назад, в приступе тоски по своей отсутствующей кухне Франси, он попросил мать объяснить ему, по какой причине они уехали так далеко, но та просто ответила: *Твой отец от них откупился* – так себе ответ, понять его Фергусон не смог. Теперь же, с этим неприятным развитием событий – новым домом побольше, – Фергусон начал соображать в том, на что раньше не обращал особого внимания. Его отец был богат. У него имелось больше денег, чем он знал, как потратить, и судя по виду того, к чему все, казалось, шло, это могло означать, что с каждым днем он становится все богаче и богаче.

Это и хорошо, и плохо, рассудил Фергусон. Хорошо потому, что деньги – необходимое зло, как ему некогда сказала бабушка, а поскольку деньги нужны всем для того, чтобы жить, уж точно лучше иметь их в избытке, а не в недостатке. Вместе с тем, чтобы зарабатывать их в избытке, человек должен посвящать гонке за деньгами чрезмерное количество времени – гораздо больше, чем необходимо или разумно, как в случае с его отцом, который так прилежно работал, управляя своей империей магазинов бытовых приборов, что количество часов, которые он проводил дома, с каждым годом все уменьшалось, до того, что теперь Фергусон его почти не видел, поскольку отец завел привычку уезжать из дома в половине седьмого утра, в такую рань, что его неизбежно уже не оказывалось дома, когда Фергусон просыпался, а из-за того, что каждый магазин два дня в неделю работал допоздна, в понедельник и четверг в Юнионе, вторник и пятницу в Вестфильде, среду и субботу в Ливингстоне, бывало много вечеров, когда отцу не удавалось вернуться домой к ужину, а приезжал он в десять или половине одиннадцатого, когда Фергусон уже целый час как был уже в постели. Единственный день, когда он мог рассчитывать на встречу с отцом, значит, был воскресенье, но и по воскресеньям все



бывало непросто: несколько часов поздним утром и ранним днем посвящались теннису, а это означало, что нужно тащиться следом за родителями на городские корты и ждать там, покуда мать и отец не сыграют вместе сет, и только после ему выпадала возможность погонять мячик с матерью, пока его отец играл свой еженедельный матч с Сэмом Бронштейном, своим приятелем по теннису еще с детства. Теннис Фергусон не презирал, он просто считал его скучным по сравнению с бейсболом и футболом – вот это были, с его точки зрения, лучшие игры, и даже пинг-понг побивал теннис, если речь о спорте, в котором есть сетки и прыгающие мячики, поэтому весной, летом и осенью плелся он на открытые корты всегда в смешанных чувствах, а каждую субботу, когда забирались вечером в постель, надеялся, что утром пойдет дождь.

Когда же дождя не было, следом за теннисом совершались поездка в Саут-Оранж-Виллидж и обед у «Грунинга», где Фергусон поглощал недожаренный гамбургер и вазочку мятного мороженого с крошкой – долгожданное воскресное угощение, но не потому, что в «Грунинге» делали лучше гамбургеры на много миль окрест и готовили свое мороженое, а из-за того, что там так хорошо пахло, смесью теплого кофе и жарящегося мяса, а также сахаристым душиком множества разнообразных десертов, такие хорошие запахи, что Фергусон растворялся в чем-то вроде иступленного наслаждения, вдыхая эти запахи в легкие, а затем, вернувшись в отцов двухцветный «ольдсмобиль»-седан (серый и белый), они ехали домой в Маплвуд, освежиться и переодеться. В обычное воскресенье после такого случалась одна из четырех вещей. Они оставались дома и *возились*, как это называла его мать, а это обычно значило, что Фергусон ходил за отцом из комнаты в комнату, пока тот чинил то, что нуждалось в починке: сломанные смывы в туалетах, отошедшие электрические контакты, скрипучие двери, а мать сидела на диване и читала журнал «Лайф» либо спускалась к себе в подвальную лабораторию и проявляла снимки. Вторым вариантом был поход в кино – этим Фергусон с матерью наслаждались больше прочих воскресных времяпрепровождений, но вот отец его часто с неохотой потакал их зрительскому рвению, поскольку кино его интересовало мало, как и прочие виды, как он их называл, *сидячих развлечений* (пьес, концертов, оперетт), как будто капкан кресла на пару часов и пассивное внимание ко *всякому глупому притворству* были для него одной из худших попыток в жизни, однако неизбежно побеждала в их споре мать, грозясь пойти туда без него, и потому трое Фергусонов снова забирались в машину и ехали смотреть последний вестерн с Джимми Стюартом или комедию с Мартином-и-Льюисом (уроженцем Ньюарка Джерри Льюисом!), и Фергусон никогда не уставал поражаться, до чего быстро отец его засыпал во тьме кинотеатра, забвенья окутывали его, еще когда по экрану катились начальные титры, голова откидывалась, губы размыкались, он тонул в глубочайшей дреме, пока грохотали пушки, вздымалась музыка, а на полу бились сотни тарелок. Поскольку Фергусон всегда сидел между родителями, он постукивал мать по руке всякий раз, когда отец так вот отплывал, и как только привлекал ее внимание – показывал на отца, дернув в его сторону большим пальцем, словно бы говоря: Смотри, он опять за свое, – и тогда, в зависимости от настроения матери, она либо кивала и улыбалась, либо качала головой и хмурилась, иногда издавая краткий приглушенный хохоток, а иногда выдыхая бессловесное *мммм*. К тому времени, как Фергусону исполнилось восемь, отцовы обмороки во тьме кинотеатра стали таким обычным явлением, что мать называла их воскресные выходы в кино *двухчасовым лечением отдыхом*. Больше не спрашивала она своего мужа, не хочет ли он сходить в кино. Вместо этого она ему говорила: *Как насчет пилули снотворного, Станли, чтоб ты наконец выспался?* Фергусон обычно смеялся, когда она произносила эту реплику. Иногда отец смеялся с ним вместе, но по большей части – нет.

Если они не возились по дому и не ходили в кино, воскресные дни тратились на визиты к другим людям, или же другие люди приходили в гости к ним. Поскольку теперь остальные Фергусоны жили на другом краю страны, семейные сборища в Нью-Джерси больше не устраивались, но поблизости жили несколько друзей, то есть друзей родителей Фергусона, в особенности – детская подруга матери по Бруклину Ненси Соломон, она жила в Вест-Оранже и писала

картины маслом для «Ателье Страны Роз», и отцов друг детства по Ньюарку Сэм Бронштейн, который жил в Маплвуде и каждое воскресное утро играл с отцом в теннис, а днем по воскресеньям Фергусон и его родители иногда навещали Бронштейна и его жену Пегги, у которых было трое детей, девочка и два мальчика, все – старше Фергусона по крайней мере на четыре года, а иногда Бронштейны приходили к ним в дом, который скоро уже не будет их домом, а если не Бронштейны, то в гости приходили Соломоны, Ненси и ее муж Макс, у кого было два сына, Стиви и Ральф, оба младше Фергусона по крайней мере на три года, отчего все эти нью-джерсейские визиты туда-сюда с Бронштейнами и Соломонами были чем-то вроде испытания для Фергусона, кто был слишком взрослым, чтобы радоваться играм с детьми Соломонов, и слишком маленьким, чтобы радоваться играм с детьми Бронштейнов, которые вообще-то были уже такими взрослыми, что их и детьми не назовешь, поэтому Фергусон часто оказывался на мели посреди этих сборищ, не вполне понимая, куда ему пойти или чем заняться, поскольку быстро терял терпение от выходок трех- и шестилетних Стиви и Ральфа, а в беседах, происходивших между пятнадцати- и семнадцатилетними мальчишками Бронштейнов, чувствовал себя не в своей тарелке, и от этого не оставалось другого выхода – только проводить визиты Бронштейнов в обществе тринадцатилетней Анны Бронштейн, которая научила его играть в кункен и настольную игру под названием «Карьеры», но девочка эта уже была наделена грудями, а к ее зубам были приделаны металлургические изделия, отчего ему бывало трудно на нее смотреть, потому что в серебристой сети ее скобок часто застревали кусочки пищи, крохотные частички непрожеванных помидоров, размокшие хлебные корочки, разлагающиеся кусочки рубленого мяса, и стоило ей только улыбнуться, что бывало часто, Фергусона стискивал внезапный, произвольный нахлыв тошноты, и ему приходилось отворачиваться.

Но все равно, раз они теперь оказались на грани переезда, что привело к новым важным данным об отце (беда с переизбытком денег, слишком много времени тратится на зарабатывание этих денег, времени столько, что на шесть дней в неделю отец стал для него почти совсем невидимкой, а Фергусон теперь понимал, что он этого терпеть не может, или, во всяком случае, ему это не нравится, или же оно его раздражает, или злит, или еще какое-нибудь слово, которого он пока не придумал), и раз вопрос об отце теперь не шел у него из ума, Фергусон осознал, что это познавательно – вспоминать те скучные встречи с Бронштейнами и Соломонами как способ изучать мужское начало в действии, сравнивать отцово поведение с поведением Сэма Бронштейна и Макса Соломона. Если о том, сколько денег те зарабатывают, можно было судить по размерам их домов, то его отец был богаче их обоих, ибо даже их дом, дом Фергусонов, тот, что якобы теперь слишком мал, и его нужно заменить на что-то получше, был крупнее и привлекательнее домов Бронштейна и Соломона. Его отец ездил на «ольдсмобиле» 1955 года и поговаривал о том, чтобы сменить его в сентябре на новый «кадиллак», Сэм же Бронштейн ездил на «рамблере» 1952 года, а Макс Соломон – на «шевроле» 1950-го. Соломон работал оценщиком убытков в страховой компании (что бы это ни значило, поскольку Фергусон понятия не имел, чем занимается оценщик убытков), а Бронштейн владел магазином спортивных товаров в центре Ньюарка, не тремя магазинами, как отец Фергусона, а одним, что тем не менее все равно приносило ему достаточно денег на то, чтобы содержать жену и троих детей, меж тем как три магазина отца Фергусона содержали только одного ребенка и жену, которая, так уж вышло, тоже работала, чем Пегги Бронштейн не занималась. Как и отец Фергусона, Бронштейн и Соломон каждый день отправлялись на работу, чтобы добывать деньги, но никто из них не выходил из дому в половине седьмого утра и не зарабатывался настолько допоздна, что дети уже спали, когда они возвращались домой. Тихий, флегматичный Макс Соломон, которого солдатом ранило на Тихом океане, и он теперь прихрамывал на ходу, и громогласный, несдержанный Сэм Бронштейн, весь бурливший анекдотами и панибратством, столь различные между собой по манере себя вести, и все же, в сути своей, оба они отличались от отца Фергусона весьма похоже, поскольку оба работали, чтобы жить, а вот его отец,

похоже, жил, чтобы работать, и это означало, что друзей его родителей больше определяли их радости, а не тяготы и обязанности, Соломона – его страсть к классической музыке (огромная коллекция грампластинок, вручную собранная высококачественная система воспроизведения), Бронштейна – любовь к спорту во всем множестве его проявлений, от баскетбола до конных скачек, от легкой атлетики до бокса, но вот отца Фергусона, помимо работы, увлекал только теннис, а это жалкое, узкое увлечение, думал Фергусон, и стоило только Бронштейну включить телевизор, по которому показывали бейсбол или футбол, когда в воскресенье у них бывали гости, как все мальчики и мужчины обеих семей собирались в гостиной посмотреть, и в девяти случаях из одиннадцати, совсем как это бывало с ним в кино, его отец с трудом разлеплял глаза, боролся со сном минут десять-пятнадцать, но все же борьбу эту проигрывал и засыпал.

В другие воскресенья случались визиты к родственникам – Адлерам, как в Нью-Йорке, так в Мапльвуде, которые предоставляли Фергусону дополнительные материалы для изучения в его лаборатории мужского поведения, в особенности – его дедушка и муж тети Мильдред Дональд Маркс, хотя, возможно, дедушка и не считался, поскольку был из поколения постарше и так не походил на отца Фергусона, что странно было даже упоминать их имена в одной фразе. Шестьдесят три года, по-прежнему крепок, по-прежнему работал в своей конторе недвижимости и все так же зарабатывал деньги, хоть и не столько, сколько его отец, считал Фергусон, потому что квартира на Западной Пятьдесят восьмой улице была тесновата, махонькая кухня и гостиная всего с половиной той, что в Мапльвуде, а машина, на которой ездил дед, старый лиловый «плимут» с кнопочным управлением, походила на цирковую машинку рядом с отцовым обтекаемым седаном «ольдсмобиль». Да, в Бенджи Адлере есть что-то клоунское, полагал Фергусон, с этими его карточными фокусами и жужжалками в ладонях при рукопожатиях, с его высоким сиплым хохотом, но внук любил его все равно, любил за то, как тот любил, похоже, просто быть живым, и стоило ему впасть в рассказчицкое настроение, повествования излагались так проворно и пикантно, что весь мир, казалось, рушился под натиском языка, в основном смешных историй, баек про Адлеров былого и разнообразных близких и дальних родственников, двоюродную сестру матери его деда, к примеру, женщину с восхитительным именем Фагела Флегельман, которая, очевидно, была до того блистательна, что овладела девятью иностранными языками, не исполнилось ей еще и двадцати лет, и, когда ее семья покинула Польшу и приехала в Нью-Йорк в 1891 году, ее лингвистические способности произвели такое впечатление на чиновников острова Эллис, что ее наняли на работу, не сходя с места, и следующие тридцать с лишним лет Фагела Флегельман работала переводчицей в Министерстве иммиграции, проводила собеседования с тысячами и тысячами будущих американцев, только что сошедших на берег, пока заведение не закрылось в 1924 году. Долгая пауза, а за ней – обычная дедова загадочная ухмылка и еще одна история про четырех мужей Фагелы Флегельман и про то, как она их всех пережила, а дни свои закончила богатой вдовой в Париже, в квартире на Елисейских Полях. Могло ли это все быть правдой? Есть ли разница, правда это или нет?

Нет, дедушка не считался, поскольку был вне конкуренции, *дисквалифицирован по причине пустозвонства*, как сам старик мог бы сказать о себе в какой-нибудь своей кошмарной шуточке, а вот дядя Дон был всего на пару лет младше отца Фергусона, а поэтому выступал годным кандидатом для рассмотрения, возможно, подходил даже лучше Сэма Бронштейна или Макса Соломона, поскольку эти двое, как и его отец, жили в предместьях Нью-Джерси и входили в старательный средний класс – торговец и «белый воротничок», а вот Дон Маркс – существо городское, родился и вырос в Нью-Йорке, учился в Колумбии и каким-то чудом не имел работы, по крайней мере – той, где у него было бы начальство и регулярная зарплата, все дни свои проводил дома за пишущей машинкой, которая производила книги и журнальные статьи, был человеком для себя – первым, какого знал Фергусон. С тетей Мильдред они съехались три года назад, он оставил жену и сына в своей старой квартире в Верхнем Вест-Сайде, что

Фергусону тоже было впервой, разведенный мужчина, человек, с прошлого года пустившийся в свой второй брак, *проведя во грехе* с тетей Фергусона первые два года их сожителства (на что его отец, прародители и двоюродная бабушка Перл смотрели неодобрительно, а мать его это веселило), и маленькая квартира, которую Дон Маркс делил с тетей Мильдред на Перри-стрит в Гринвич-Виллидж, вся была забита столькими книгами, сколько Фергусон и не видал нигде, разве что в книжном магазине или библиотеке, книги там были повсюду: на полках, закрывавших стены трех комнат, на столах и стульях, на полу, на комодах, и Фергусона не только околдовывал такой фантастический беспорядок, но и сам факт того, что подобная квартира где-то существует, служил доказательством того, что есть и другие образы жизни на этом свете, не только те, какие знал он сам, что образ жизни его родителей – не единственный. Тетя Мильдред работала адъюнкт-профессором английского языка в Бруклинском колледже, дядя Дон был писателем, и хотя на этих работах они, должно быть, зарабатывали деньги, и на жизнь им, во всяком случае, хватало, Фергусону было ясно, что живут они ради чего-то другого, не только чтобы делать деньги.

К сожалению, ему нечасто выпадало бывать в той квартире, за те три года пока лишь три раза: один раз – на ужине с родителями, а дважды – только с матерью, заскакивали среди дня. Фергусон тепло относился к своей тете и новому дяде, но его мать и материна сестра отчего-то не были близки, а прискорбной, но еще более очевидной правдой было то, что его отцу и Дону Марксу было совершенно не о чем друг с другом говорить. Фергусон всегда чуял, что его отец и тетя друг с другом ладят, а теперь, когда тетя больше не была одна, он был убежден, что ровно это же самое можно сказать и о его матери и дяде. Незадача была со связью женщина-женщина и мужчина-мужчина, ибо его мать как младшая из двух сестер всегда смотрела на Мильдред снизу вверх, Мильдред же – как из двух сестер старшая – на его мать всегда смотрела сверху вниз, а у мужчин имелось это совершенное безразличие, какое каждый выказывал работе и взглядам на жизнь другого, с одной стороны, доллары, с другой – слова, что, вероятно, еще более отягощалось тем, что дядя Дон во время войны сражался в Европе, а его отец сидел дома, но такое предположение, быть может, беспочвенно, поскольку Макс Соломон вот тоже был солдатом, а им с отцом всегда удавалось поговорить, во всяком случае, в той мере, в какой его отец вообще с кем бы то ни было разговаривал.

Но все равно по-прежнему оставались взаимные визиты в квартиру деда с бабушкой на Благодарение, Песах и время от времени воскресные сборища, а случались и такие воскресенья, когда тетя Мильдред и дядя Дон забирались на заднее сиденье лилового «плимута» и сопровождали его прародителей в их дневном путешествии в Нью-Джерси. Фергусону, значит, выпадали щедрые возможности понаблюдать за дядей Доном, и поразительный вывод, к какому он пришел, заключался в том, что, несмотря на огромную разницу между его отцом и его дядей в смысле их происхождений, образований, работы и манеры жить, они больше были одинаковы, нежели неодинаковы, больше походили друг на друга, чем его отец и Сэм Бронштейн или Макс Соломон, потому что, чем бы ни занимались они – ковали доллары или ковали слова, и того и другого подхлестывала работа, вплоть до того, что исключалось все остальное, а они от этого, когда не работали, держались напряженно и рассеянны, были бестолковы, погружены в себя, полуслепы. Спору нет, дядя Дон мог быть красноречивей его отца, забавней отца, интереснее отца, *но только если сам этого хотел*, и теперь, когда Фергусон узнал его, как уж сумел, близко – увидел, до чего часто бывало, как дядя Дон словно бы смотрит сквозь тетю Мильдред, когда та с ним разговаривает, будто ищет чего-то у нее за спиной, точно не способен услышать ее, поскольку думает о чем-то совсем другом, что довольно-таки походило на то, как его отец частенько смотрел теперь на его мать, все чаще и чаще, остекленевшим взглядом человека, не способного видеть ничего, кроме мыслей в собственной голове, человека, который здесь, но не здесь, пропал.

В этом и заключалась подлинная разница, решил Фергусон. Не избыток или недостаток денег, не то, что человек совершил или упустил, не покупка дома побольше или машины подороже, а честолюбие. Это и объясняло, почему Бронштейну и Соломону удавалось плыть по жизни в относительном покое: их не терзало проклятье честолюбия. Напротив, его отца и дядю Дона их амбиции поглощали, от чего, как это ни странно, миры их становились меньше и менее удобными, чем у тех, на кого такое проклятье не действовало, ибо честолюбие означало, что ты никогда не бываешь удовлетворен, всегда жаждешь чего-то большего, постоянно проталкиваешься вперед, потому что никакой успех тут не будет велик в той мере, чтобы утолить нужду в новых, еще больших успехах, погасить стремление превратить один магазин в два, затем два магазина в три, говорить уже о строительстве четвертого магазина и даже пятого, ровно так же, как одна книга – попросту ступенька на пути к другой книге, к жизни, где все больше и больше книг, что требовало той же сосредоточенности и единственности цели, какие нужны предпринимателю, чтобы разбогатеть. Александр Великий завоевывает мир, а дальше что? Строит ракету и высаживается на Марс.

У Фергусона шло первое десятилетие его жизни, а это значило, что книги, которые он читал, все еще ограничивались царством детской литературы, детективами про Мальчишек Гарди, романами о футболистах-старшеклассниках и межгалактических путешественниках, сборниками приключенческих рассказов, упрощенными биографиями знаменитых мужчин и женщин, вроде Авраама Линкольна и Жанны Д'Арк, но теперь, раз уж он начал расследование того, что происходит в душе у дяди Дона, ему показалось, что недурной мыслью будет прочесть и что-нибудь из им написанного, ну, или попробовать это прочесть, поэтому однажды он спросил у матери, есть ли у них дома какие-нибудь дядины книжки. Да, ответила она, есть обе.

Ф: Обе? В смысле, он написал только две?

Мать Ф: Это толстые книги, Арчи. На каждую ушло много лет.

Ф: А про что они?

Мать Ф: Это биографии.

Ф: Хорошо. Мне нравятся биографии. А что за люди?

Мать Ф: Они давно жили. Один немецкий писатель начала девятнадцатого века, его звали Клейст. И французский философ и ученый семнадцатого века по фамилии Паскаль.

Ф: Никогда о них не слышал.

Мать Ф: Сказать тебе правду, я тоже.

Ф: А это хорошие книжки?

Мать Ф: Думаю, да. Говорят, очень хорошие.

Ф: В смысле, ты сама их не читала?

Мать Ф: По несколько страниц там и сям, но не целиком. Боюсь, это не мое.

Ф: Но другие считают их хорошими. Это должно значить, что дядя Дон зарабатывает много денег.

Мать Ф: Вообще-то нет. Это книги для ученых, и у них нет широкого читателя. Именно поэтому дядя Дон пишет столько статей и рецензий. Чем-то поддержать свой доход, пока занимается исследованиями для своих книг.

Ф: Мне кажется, я должен какую-то прочесть.

Мать Ф (*с улыбкой*): Только если хочешь, Арчи. Но не огорчайся, если поймешь, что идет трудно.

И вот мать Фергусона дала ему обе книги, каждая длиной больше четырехсот страниц, два тяжелых тома с мелким шрифтом и без картинок, опубликованных «Издательством Оксфордского университета», и поскольку Фергусону больше понравилась обложка книги о Паскале, чем обложка книги о Клейсте, с ее суровой фотографией белой посмертной маски француза, зависшей на сплошь черном фоне, он решил первой попробовать ее. Углубившись в

первый абзац, он понял, что чтение не просто идет трудно – оно вообще никуда не идет. Я к этому не готов, сказал он себе. Надо подождать, когда стану старше.

Если Фергусон и не сумел прочесть дядиных книг, то он мог хотя бы изучать, как дядя ведет себя со своим сыном: эта тема весьма интересовала Фергусона, вне всяких сомнений, тема очень важная – она и побудила его систематически изучать современное американское мужское начало, ибо его возраставшая неудовлетворенность собственным отцом вызвала его более пристальное внимание к тому, как другие отцы относятся к своим сыновьям, и ему приходилось собирать сведения для того, чтобы судить, только ли его это беда или же беда повсеместна и обща для всех мальчиков. С Бронштейном и Соломоном ему представились два разных выражения родительского поведения. Бронштейн со своим потомством вел себя шутливо и запросто, Соломон был суров и нежен; Бронштейн болтал и хвалил, Соломон выслушивал и утирал слезы; Бронштейн мог выйти из себя и выбранить прилюдно, Соломон мысли свои держал при себе, и сыновей у него наказывала Ненси. Два метода, две философии, две личности, одна совершенно не похожа на отца Фергусона, другая несколько его напоминала, однако вот с каким фундаментальным исключением: Соломон никогда не засыпал.

Дядя Дон не мог засыпать, потому что больше не жил со своим сыном и виделся с ним редко, одни выходные в месяц, две недели летом, лишь тридцать восемь дней в год, но когда Фергусон все подсчитал в уме – понял, что хоть сам он видел своего отца и чаще, для начала – пятьдесят два воскресенья в год, а также семейные ужины по вечерам, когда отец возвращался домой с работы не поздно, более-менее – половину всех вечеров недели, что доходило бы примерно до ста пятидесяти двух ужинов с понедельника по субботу в год, а это гораздо больше общения, чем у сына дяди Дона с его отцом, – тут вместе с тем крылась закавыка, поскольку новый сводный двоюродный брат Фергусона всегда виделся со своим отцом на этих тридцативосьмидневных сходах наедине, а вот Фергусон один на один со своим отцом уже никогда не оставался, и, копаясь в памяти и пытаясь вспомнить, когда они в последний раз были вместе, а в комнате или в машине с ними больше никто бы не сидел, ему приходилось углубляться больше чем на полтора года, в то дождливое воскресное утро, что смыло их еженедельный ритуал тенниса и «Грунинга», когда они с отцом забрались в старый «бьюик» и поехали покупать заготовки для позднего завтрака, стояли в очереди у «Табачника» со своим пронумерованным билетиком, дожидаясь, когда в этом набитом людьми и хорошо пахнувшем магазине подойдет их черед запастись белой рыбой, селедкой, копченой лососиной, бубликами и банкой сливочного сыра. Отчетливое, светящееся воспоминание – но то был последний раз, октябрь 1954-го, одну шестую жизни назад, а если вычесть первые три года его жизни, которые он уже не мог толком вспомнить, почти и четверть жизни назад, что равняется десяти годам для сорокатрехлетнего мужчины, ибо в тот момент истории Фергусону исполнилось девять.

Мальчика звали Ноем, и он был на три с половиной месяца младше Фергусона. К огромному сожалению Фергусона, их с этим мальчиком не подпускали друг к другу все годы греховного сожительства, поскольку бывшая жена дяди Дона, оправданно сердитая за то, что ее бросили ради тети Мильдред, отказывалась позволять своему сыну мारаться общением с разрушительницей семей и ее родней, что распространялось не только на Адлеров, но и на Фергусонов. Тем не менее, когда дядя Дон и тетя Мильдред решили сочетаться браком, запрет отменился, раз теперь все стало по закону, и бывшая жена уже не могла такого требовать от своего бывшего мужа. Стало быть, Фергусон и Ной Маркс познакомились на свадьбе, которая имела место в декабре 1954-го, скромное событие, проводившееся в квартире прародителей Фергусона, где гостей было не больше двадцати человек с обеих сторон, в том числе родственников и нескольких близких друзей. Из детей присутствовали только Фергусон и Ной, и двое мальчишек поладили друг с другом с самого начала: каждый был в семье единственным ребенком, которому всегда хотелось себе братишку или сестренку, и то, что были они ровесниками, а отныне станут двоюродными братьями, пусть и сводными, но тем не менее объединенными

одной семьей, превратило ту их первую встречу на свадьбе в некое дополнительное бракосочетание, либо церемониальный альянс, либо инициацию кровного братства, ибо оба они знали, что будут в связке друг с другом всю оставшуюся жизнь.

Виделись они, конечно, нечасто: один жил в Нью-Йорке, а другой в Нью-Джерси, и, поскольку Ной бывал потенциально доступен лишь тридцать восемь дней в году, вместе за полтора года после свадьбы они оказались всего раз шесть-семь. Фергусону хотелось бы чаще, но и этого хватило, чтобы прийти к каким-то выводам относительно отцовства дяди Дона, которое разительно отличалось от поведения его собственного отца, однако отличалось и от того же у Бронштейна и Соломона. Но, опять же, Ной был особым случаем: тщедушный негодник с кривыми зубами, кто не имел никакого сходства с детьми этих других мужчин, и общаться с ним требовалось по-особенному. Ной вообще был первым циником, с кем познакомился Фергусон, озорным проказником и болтливый умником, смышленным, сообразительным дальше ехать некуда, и умным, и потешным одновременно, мыслителем гораздо более шустрым и искушенным, чем Фергусон на том рубеже, а следовательно, общаться с ним было наслаждением, если ты ему друг, кем Фергусон к этому моменту наверняка уже и был, вот только Ной жил со своей матерью, а с отцом виделся лишь тридцать восемь дней в году и в то время, что они с ним проводили вместе, вечно испытывал отцово терпение, однако с чего бы ему и не быть настроенным против своего отца, размышлял Фергусон, раз дядя Дон его, по сути, бросил, когда ему было пять с половиной лет. У Фергусона развилась к Ною великая нежность, но он также знал, что его кузен может быть невозможным, возмутительным, раздражающим паразитом, и потому его добрые чувства несколько делились между отцом и сыном, солидарность с брошенным мальчиком, но еще и некоторое сочувствие к отцу-бесхребетнику, и совсем немного погодя Фергусон понял, что дядя Дон хочет от него, чтобы он тоже ходил на их отцовско-сыновние встречи с Ноем, чтобы служить им буфером, умеряющим присутствием, отвлечением. И вот они втроем отправлялись на стадион «Эббетс-Фильд» смотреть, как «Хитрецы» играют с «Филями», ходили в Музей естественной истории глядеть на кости динозавров, были на спаренном сеансе фильмов с братьями Маркс в кинотеатре повторного проката возле «Карнеги-Холла», и Ной всегда начинал день с череды озлобленных острот, дразня своего отца за то, что тащит его в Бруклин, потому что отцам так полагается делать, разве нет, запихивать своих мальчишек в жаркие вагоны подземки и возить их на бейсбольные матчи, хотя отцу на бейсбол наплевать с высокой колокольни, или же: Видишь в диораме пещерного человека, пап? Сначала я подумал, что смотрю на тебя, – или же: Братья Маркс! Думаешь, они нам родственники? Может, надо написать Брюзге и спросить у него, не он ли мой настоящий отец. Правда же была в том, что Ной обожал бейсбол и, хоть сам играть в него был прискорбно неспособен, знал средние очки всех до единого «Хитрецов» и таскал в нагрудном кармане автограф Джеки Робинсона (который ему добыл отец). Правда заключалась в том, что Ноя завораживала каждая выставка в Музее естественной истории, и ему не хотелось уходить из здания, когда отец говорил, что им пора. Правда в том, что Ной ухохатывался до умопомрачения на «Утином супе» и «Мартышкиных проделках», а из кинотеатра выходил с воплями: Ну и семейка! Карл Маркс! Брюзга Маркс! Ной Маркс! Миром правят Марксы!

Все эти бури и стычки, эти внезапные затишья и всплески одержимой веселости, эти чередующиеся припадки хохота и агрессии отец Ноя терпел со странным и неколебимым спокойствием, никогда не отвечая на оскорбления сына, отказываясь поддаваться провокациям, снося все нападки молча, покуда ветер снова не принимался дуть в другую сторону. Таинственная, ни на какие другие не похожая разновидность родительского поведения, казалось Фергусону, и дело не столько в том, что мужчина сдерживается, а в том, что позволяет своему мальчишке наказывать его за совершенные проступки, подвергая себя этим поркам как каре. Ну и причудливая же они парочка: раненый мальчишка, каждым своим актом враждебности к отцу вопящий о любви, и раненый отец, весь исходящий любовью в том, что никогда его не лупит,

позволяет быть избитым себе. Впрочем, когда воды успокаивались, когда военные действия временно прекращались, и отец и сын плыли в своей лодочке вместе, Фергусон отмечал одну крайне любопытную штуку: дядя Дон разговаривает с Ноем так, будто тот взрослый. Никакой снисходительности, никаких отцовских поглаживаний по голове, никакого установления правил. Когда говорил мальчишка, отец его слушал. Когда мальчишка задавал вопрос, отец на него отвечал так, словно сын – его коллега, и когда Фергусон слышал их беседу, он не мог немного не завидовать, ибо ни в какой раз его собственный отец с ним так не разговаривал – ни с таким уважением, ни с таким любопытством, ни с таким удовольствием, читавшимся по глазам. В общем и целом, заключил он, дядя Дон – хороший отец, не без недостатков, быть может, а то и вообще пропащий, но тем не менее отец хороший. И кузен Ной – превосходный друг, хоть иногда и бывает чокнутый.

Утром в понедельник в середине июня мать Фергусона за завтраком поставила его в известность, что к концу лета они переезжают в новый дом. Они с отцом на следующей неделе *закрывают сделку*, а когда Фергусон спросил у нее, что это значит, мать объяснила, что закрытие – это такой жаргон недвижимости, значит покупку дома, и как только они отдадут деньги и подпишут бумаги, новый дом будет их. Это само по себе было мрачно, но затем она сказала еще и такое, что Фергусона поразило своей возмутительностью и неправильностью. *К счастью*, продолжала его мать, *мы также нашли покупателя на старый дом*. Старый дом! О чем она говорит? Они завтракают сейчас в этом доме, они сейчас в этом доме живут, и, пока не соберут вещи и не переедут на другой край города, у нее нет права говорить о нем в прошедшем времени.

Чего такой угрюмый, Арчи? – спросила его мать. Это же хорошие новости, а не плохие. А у тебя такой вид, точно кто-то на войну уходит.

Он не мог ей сказать, что надеялся на то, что их дом никто никогда не купит, никто не захочет в нем поселиться, потому что все будут видеть, как Фергусонам он подходил больше, чем кому бы то ни было еще, а если его мать и отец не смогут продать дом, им не по карману будет новый, а оттого они вынуждены будут оставаться там же, где живут. Он не мог сказать ей этого, потому что мать была такой счастливой с виду, счастливее он уже давно ее не видел, а видеть мать счастливой – с этим мало что сравнится, и все же, и все же – теперь пропала его последняя надежда, и *все это совершалось у него за спиной*. Покупатель! Кто эта неведомая личность и откуда он такой взялся? Никто никогда ничем с Фергусоном не делился до того, как что-то происходило, вечно все обустраивалось у него за спиной, а он сам тут ни слова сказать не мог. Ему нужно право голоса! Ему осточертело быть ребенком, его тошнит от того, что им вечно все помыкают да распоряжаются. Америка – якобы демократия, а он живет при диктатуре, и он ею сыт по горло, сыт по горло, сыт по горло.

Когда это случилось? – спросил он.

Только вчера, сказала мать. Когда ты был в Нью-Йорке с дядей Доном и Ноем. История тут вполне поразительная.

Это как?

Помнишь мистера Шнейдермана, того фотографа, у которого я работала, когда была молодой?

Фергусон кивнул. Еще б он не помнил мистера Шнейдермана, сварливого старого сморчка, кто раз в год приходил к ним ужинать, с белой козлиной бородкой, который сербал суп, а однажды пукнул за столом, а сам этого даже не заметил.

Так вот, сказала мать, у мистера Шнейдермана два взрослых сына, Даниэль и Гильберт, оба примерно ровесники твоему отцу, и вчера Даниэль с женой приходили к нам обедать – и знаешь что?

Все понятно.

Поразительно, правда же?



Наверное.

У них двое детей, мальчику тринадцать, девочке девять, и девочка эта, Эми, такая хорошенькая, что я таких даже и не видела никогда. Мальчишки по ней будут сохнуть, Арчи.

Вот и молодец.

Ладно, зануда, а вдруг так окажется, что она будет жить в твоей комнате? Что ты на это скажешь?

Тогда это будет ее комната, а не моя, поэтому мне-то какое дело?

Школьный год закончился, и на следующие выходные Фергусона отправили с ночевками в лагерь где-то в штате Нью-Йорк. Из дома он уезжал впервые, но ехал без ужаса или принуждения, потому что с ним туда отправлялся Ной, а на самом деле как раз тогда дом ему надоел, он устал от всех этих разговоров о старых домах, что вовсе не были старыми, и о хорошеньких девочках, которые присвоят его комнату, и два месяца в деревне наверняка отвлекут его от всех этих отягчающих раздражений. Лагерь «Парадиз» располагался в северо-восточном углу округа Колумбия, неподалеку от границы с Массачусетсом и предгорий Беркширов, и родители его предпочли отправить его туда потому, что Ненси Соломон знала кого-то, кто знал кого-то, чьи дети много лет ездили в этот лагерь и ничего, кроме хорошего, сказать о нем не могли, и как только Фергусона туда записали, его мать поговорила со своей сестрой, которая затем поговорила со своим мужем, и Ноя туда записали тоже. Фергусон с двоюродным братом уезжали с вокзала «Гранд-Централ» с большим отрядом своих солагерников, почти двести других мальчишек и девчонок в возрасте между семью и пятнадцатью, и через пару минут после того, как они сели в поезд, дядя Дон отвел Фергусона в сторонку и попросил его присматривать за Ноем, чтобы тот не попал ни в какие переделки и к нему не приставали другие мальчишки, а поскольку дядя Дон так на него рассчитывал, что означало: он в Фергусоне видит что-то крепкое и надежное, – Фергусон пообещал дяде Дону, что сделает все возможное, чтобы у Ноя была защита.

К счастью, лагерь «Парадиз» местом был вовсе не суровым, и совсем скоро Фергусон сообразил, что можно и расслабиться. Дисциплина была нестрогая, и, в отличие от бойскаутских или религиозных лагерей, в чьи цели входило *укреплять в молодежи характер*, руководство лагеря «Парадиз» придерживалось менее возвышенной цели сделать жизнь там как можно более приятной. В первые дни, проведенные в лагере, пока Фергусон начинал приспосабливаться к новой среде, он сделал несколько интересных открытий, среди них – тот факт, что он единственный из всех мальчишек у него в отряде, кто живет в предместье. Все остальные были из Нью-Йорка, и его окружало множество городских пацанов, выросших в таких районах, как Флетбуш, Мидвуд, Боро-парк, Вашингтон-Хайтс, Форест-Хиллс и Гран-Конкурс, бруклинские мальчишки, манхаттанские мальчишки, мальчишки из Квинса, из Бронкса, сыновья среднего класса и ниже-среднего класса – школьных учителей, бухгалтеров, госслужащих, барменов и коммивояжеров. До того времени Фергусон предполагал, будто частные летние лагеря предназначены исключительно для детей богатых банкиров и адвокатов, но тут он, очевидно, ошибался, а затем дни шли, он выучил, как звать десятки мальчишек и девчонок, и по именам, и по фамилиям, – и тогда понял, что все в этом лагере евреи, от его хозяев, мужа и жены (Ирвинга и Эдны Кац), до старшего вожатого (Джека Фельдмана), вожатого и младшего вожатого в его собственном отряде (Гарви Рабиновича и Боба Гринберга), вплоть до последнего из двухсот двадцати четырех отдыхающих, приехавших сюда на все лето. Средняя школа, куда он ходил в Мапльвуде, населена была мешаниной протестантов, католиков и евреев, а здесь теперь были одни евреи, и только евреи, и впервые за свою жизнь Фергусон оказался засунут в этнический анклав, в своеобразное гетто, только в данном случае гетто на свежем воздухе, с деревьями и травой, а в синем небе над головой порхали птички, и как только он освоился с новизной ситуации, она перестала иметь для него какую бы то ни было важность.

Больше всего же засчитывалось то, что все дни свои он проводил за нескончаемыми приятными занятиями – не только теми, с какими уже был знаком, вроде бейсбола, плавания и настольного тенниса, но и разнообразными новинками, куда входили стрельба из лука, волейбол, перетягивание каната, гребля, прыжки в длину и, что было всего лучше, чудесное ощущение плавания на каноэ. Мальчиком он был крепким и спортивным, его естественно привлекали такие физические занятия, но хорошо в лагере «Парадиз» было то, что занятия можно было выбирать, и для тех, кто не был расположен к спорту, имелись живопись, гончарное дело, музыка и театр, а не грубые состязания с битами и мячами. Единственным обязательным занятием было плавание, два получасовых заплыва в день, один до обеда и один до ужина, но всем нравилось прохладиться в воде, и если ты не был опытным пловцом, можно было просто плескаться на озерном мелководье. Стало быть, когда Фергусон отбивал навесные на одном краю лагеря, Ной рисовал в павильоне искусств на другом его краю, и пока Фергусон скользил по воде в своем любимом каноэ, Ной деловито репетировал пьесу. Малорослый, странный с виду Ной лип к Фергусону лишь первую неделю, пока нервничал и не был уверен в себе, без сомнения ожидая, что кто-то начнет ставить ему подножки или обзывать, но эта угроза так и не осуществилась, и вскоре он уже начал приживаться, подружился с какими-то другими мальчишками, и его соседи по отряду покатывались со смеху, когда он изображал Альфреда Э. Ноймана, и он даже (Фергусона это поразило до глубины души) за это время сумел загореть.

Разумеется, случались разногласия, стычки и, время от времени, драки, ибо этот лагерь «Парадиз» был отнюдь не настоящим парадизом, а, насколько это виделось Фергусону, не представлял собой ничего необычного, однажды, когда он чуть не подрался с другим мальчишкой, причина их размолвки была настолько смехотворна, что он так и не собрался с духом ударить того по-настоящему. Стоял 1956 год – один из той череды многих годов, когда Нью-Йорк располагался в самом центре бейсбольной вселенной, со своими тремя командами, что господствовали в спорте целое десятилетие, «Янки», «Хитрецами» и «Гигантами», и, если не считать 1948 года, по крайней мере одна из этих команд, а бывало, и две каждый год играли в Чемпионате США, начиная с первого года жизни Фергусона. Нейтралитет не сохранял никто. Все до единого мужчины, женщины и дети в Нью-Йорке и окружающих его предместьях болели за какую-нибудь команду, по большей части – с пылкой преданностью, и все болельщики «Янки», «Хитрецов» и «Гигантов» презирали друг дружку, что приводило ко множеству бессмысленных ссор, время от времени кому-нибудь давали по лицу, а однажды произошел печально известный случай гибели при перестрелке в баре. Для мальчишек и девчонок поколения Фергусона самое длительное разногласие восходило к вопросу, у какой команды лучший центрфилдер, ибо все трое были превосходными игроками, лучшими на этой позиции где бы то ни было в бейсболе, среди превосходнейших во всей истории этой игры, и молодые люди профукивали многие часы на выяснения сравнительных достоинств Дюка Снайдера («Хитрецы»), Микки Мантла («Янки») и Вилли Мейса («Гиганты») – и до того горячи были поклонники каждой команды, что по большинству они слепо защищали центрфилдера своего клуба из чистой, негибкой верности. Фергусон болел за «Хитрецов», потому что его мать выросла в Бруклине болельщицей «Хитрецов» и привила ему с детства любовь к неудачникам и безнадёжным случаям, поскольку «Хитрецы» в детстве его матери были командой неуклюжей, часто даже жалкой, теперь же превратились в мощный локомотив, в царствующих чемпионов мира, сопоставимых со всемогущими «Янки», и из восьми мальчишек, живших с Фергусоном в то лето в одной спальне, трое болели за «Янки», двое за «Гигантов», а остальные трое – за «Хитрецов», и среди них Фергусон, Ной и мальчик по имени Марк Дубинский. Однажды днем во время тихого часа длиной сорок пять минут, который следовал за обедом и обычно тратился на чтение комиксов о Супермене, писание писем и изучение счета боксерских поединков двухдневной давности в газете «Нью-Йорк пост», Дубинский, чья койка стояла слева от Фергусоновой (Ной располагался справа), снова поднял вековечный вопрос, сообщив Фергусону,

насколько стойко он доказывал превосходство Снайдера над Мантлом в утренней дискуссии с двумя болельщиками «Янки», полностью рассчитывая на то, что тоже болеющий за «Хитрецов» Фергусон примет его сторону, но Фергусон этого не сделал, поскольку, как бы ни преклонялся он перед Дюком, сказал он, Мантл играет лучше, а помимо всего прочего, Мейс еще лучше Мантла, хоть и на волосок, быть может, но явно лучше, и чего это ради Дубинский упорствует в заблуждении, когда перед ним факты? Ответ Фергусона был настолько неожиданным, настолько невозмутимым в утверждениях, настолько дотошным в сокрушении веры Дубинского в силу самой веры, побеждающей разум, что Дубинский обиделся, свирепо оскорбился и миг спустя уже стоял над койкой Фергусона и орал на него во весь голос, обзывая его изменником, атеистом, коммунистом и двуличной липой, а также что ему, возможно, следует заехать Фергусону под дых, чтобы его хорошенько проучить. Когда Дубинский уже сжал кулаки, готовясь наскочить на Фергусона, тот сел и сказал ему: Давай-ка полегче. Можешь думать, что хочешь, Марк, сказал он, но я тоже имею право на собственное мнение. Нет, не имеешь, ответил Дубинский, по-прежнему вне себя, если ты настоящий сторонник «Хитрецов» – не имеешь. Фергусону было неинтересно драться с Дубинским, который обычно не бывал склонен к такому вспылчивому поведению, но в тот день, казалось, сам нарываясь на драку, что-то в Фергусоне его раздражало, и он хотел разломать их дружбу на куски, и покуда Фергусон сидел на своей койке, размышляя, удастся ему заболтать противника и выпутаться из создавшегося положения или все же он будет вынужден встать и подраться, неожиданно вмешался Ной. Мальчики, мальчики, произнес он эдаким низким, мрачно смешным голосом папы-какому-виднее, сейчас же прекратите эти бессмысленные ссоры. Нам же всем известно, кто на самом деле лучший центрфилдер, правда же? И Фергусон, и Дубинский обернулись и посмотрели на Ноя, который лежал у себя на койке, подперев рукой голову. Дубинский сказал: Ладно, Арфо, выкладывай – но лучше, если ответ у тебя будет правильный. Привлекши их внимание, Ной теперь на миг умолк и улыбнулся – дурачки, однако необычайно восхитительно, и улыбка эта засела в памяти Фергусона и больше так и не покинула ее, не потерялась, а вспоминалась снова и снова, когда он вырастал из детства к отрочеству, а затем и ко взрослости, молниеносный проблеск чистейшей, дикоглазой причуди, что явила истинную душу девятилетнего Ноя Маркса на ту секунду или две, что длилась, и тут Ной завершил стычку одним коротким словом: Я.

В первый месяц Фергусон даже не задумывался о том, как он счастлив в этом месте. Слишком увлекали его занятия, чтобы помедлить и задуматься о своих чувствах, он слишком погрузился в настоящее, чтобы глядеть мимо или за него, *жил мгновеньем*, как выразился его вожатый Гарви о хороших спортивных выступлениях, а это, возможно, и было подлинным определением счастья – не знать, что ты счастлив, не заботиться ни о чем, кроме того, что ты жив и жив сейчас, но вот неизбежно замаячил родительский день – воскресенье, отмечавшее середину их восьминедельной лагерной смены, и за те дни, что этому воскресенью предшествовали, Фергусон с испугом осознал, что он вовсе не ждет новой встречи с родителями, даже с матерью, по которой, как он думал, будет ужасно скучать, но не скучал, разве что какими-то разрозненными и мучительными вспышками, а особенно с отцом, который за последний месяц начисто стерся у него из памяти и уже, казалось, для него не считается. В лагере лучше, чем дома, понял он. Жизнь с друзьями богаче и удовлетворительней жизни с родителями, а это означало, что родители для него не так важны, как он считал раньше, мысль еретическая, даже революционная, которая заставила Фергусона крепко задумываться, когда он по ночам лежал на своей койке, – и тут настал день приезда, и когда он увидел, как его мать выходит из машины и направляется к нему, – неожиданно поймал себя на том, что старается не расплакаться. Какая нелепость. Как ужасно стыдно так себя вести, подумал он, и все же что он мог поделать – только кинуться к ней в объятия и подставить ее поцелуям?

Однако что-то было не так. С родителями Фергусона в лагерь должен был приехать и дядя Дон, однако его с ними не было, и когда Фергусон спросил у матери, почему тут нет отца Ноя, та натянуто на него посмотрела и ответила, что объяснит позже. Позже случилось примерно через час, когда родители перевезли его через границу Массачусетса пообедать в ресторане «Дружеский» в Грейт-Баррингтоне. Разговаривала, как обычно, только мать, но и отец в кои-то веки выглядел внимательным и в беседе участвовал – ловил каждое ее слово так же, как Фергусон, а с учетом того, что ей было что сказать, что сказать, от нее требовали обстоятельности, Фергусона ничуть не удивило, что мать его выглядит в большем замешательстве, чем он помнил в последнее время, голос у нее подрагивал, пока она говорила, желая оберечь сына от худшего, но в то же время не в силах смягчить удар, не искажая правды, ибо теперь важна была только правда, и пусть Фергусону всего девять лет, ему крайне настоятельно нужно услышать историю целиком, без всяких пропусков.

Ну все, Арчи, сказала она, прикуривая «Честерфильд» без фильтра и выдувая облачко синевато-серого дыма по столику, отделанному формайкой. Дон и Мильдред расстались. Их брак окончен. Я бы хотела объяснить тебе, из-за чего, но Мильдред даже мне этого не говорит. Она так раздавлена, что плачет последние десять дней без передышки. Не знаю, влюбился ли Дон в кого-то другого или же у них все само собой развалилось, но Дона в кадре больше нет, и крайне маловероятно, что они опять сойдутся. Я с ним пару раз разговаривала, но и он мне ничего не рассказывает. Только то, что у них с Мильдред всё, что ему на ней вообще не стоило жениться, что у них все пошло не так с самого начала. Нет, он не возвращается к матери Ноя. Он собирается вообще переехать в Париж. Из квартиры на Перри-стрит он уже вывез все свои вещи и намерен отбыть до конца месяца. Что подводит нас к вопросу о Ное. Дон хочет провести с ним какое-то время перед своим отъездом, поэтому его бывшая жена, я говорю о его первой бывшей жене, о бывшей жене Гвендолине, приехала сегодня в лагерь забрать Ноя и отвезти его обратно в Нью-Йорк. Все верно, Арчи, Ной уезжает. Я знаю, как близко вы с ним сошлись, какие вы с ним теперь хорошие друзья, но ничего с этим не могу поделать. Я позвонила этой женщине, Гвендолине Маркс, и сказала так: что бы ни произошло между Доном и Мильдред, я бы хотела, чтобы наши мальчики не прекращали дружить, жалко будет, если их дружба из-за этого пострадает, но она человек жесткий, Арчи, она озлоблена и сердита, у нее ледяное сердце, и она сказала, что не станет принимать это в расчет. А после того, как его отец уедет в Париж, спросила я, Ной вернется в лагерь? Об этом не может быть и речи, сказала она. Ну дайте хотя бы мальчикам возможность друг с другом попрощаться в воскресенье, сказала я, а она ответила, ты только представь, она сказала: Зачем? Я к тому моменту уже вся пылала, никогда, наверное, так в жизни не сердилась, и закричала на нее: Как же можно задавать такой вопрос? А она спокойно ответила: Мне нужно оберечь Ноя от эмоциональных сцен; жизнь у него трудна и без того. Даже не знаю, что сказать тебе, Арчи. Эта женщина лишилась рассудка. А моя сестра наелась успокоительных, плачет в постели так, что душа вон. А Дон от нее ушел, а у тебя забрали Ноя, и вот честно, малыш, чертовски великолепная вышла катавасия, а?

Второй месяц в лагере «Парадиз» был месяцем пустой койки. Голый матрас на металлической сетке справа от того места, где продолжал спать Фергусон, койка ныне отсутствующего Ноя, и что ни день, Фергусон спрашивал себя, увидятся ли они с ним когда-нибудь еще. Собратья на полтора года, а теперь уже больше не собратья. Тетя, которая вышла за дядю, а теперь уже опять ни за кем не замужем, и дядя живет по другую сторону Атлантического океана, где он больше не может встречаться со своим мальчиком. Все какое-то время крепко, а потом однажды утром восходит солнце – и весь мир начинает таять.

В конце августа Фергусон вернулся домой в Маплвуд, попрощался со своей комнатой, попрощался со столом для пинг-понга на заднем дворе, попрощался со сломанной сетчатой дверью в кухню, и на следующей неделе они с родителями въехали в свой новый дом на другом краю города. Началась эпоха жизни на широкую ногу.

## 2.1

Сколько Фергусон себя помнил, он всегда смотрел на рисунок девушки на бутылке «Белой скалы». То была марка сельтерской, которую его мать покупала в поездках в «А-и-Т»<sup>7</sup> два раза в неделю, а поскольку отец его твердо верил в достоинства сельтерской, на столе во время обеда бутылка этой воды стояла всегда. Стало быть, Фергусон изучал девушку сотни раз, придвигая бутылку поближе, чтобы смотреть на черно-белое изображение полуобнаженного тела на этикетке – эту манящую, безмятежно изящную девушку с маленькими голыми грудками и в белой набедренной повязке, обернутой вокруг ее бедер, которая распахивалась, обнажая по всей длине ее правую ногу на переднем плане, подвернутую, пока она подавалась вперед на коленях, опираясь на руки, и глядела в омут с водой со своего насеста на выступающем камне, на котором уместно значились слова «Белая скала», а примечательного, хоть и совершенно невероятного, в девушке были два полупрозрачных крылышка, торчавших из спины, и это означало, что она – больше, чем человек, она богиня или какое-то зачарованное существо, и все члены ее из-за этого были настолько тонки, и она вообще производила впечатление такой маленькой, что ее по-прежнему можно было считать девочкой, а не взрослой женщиной, невзирая на груди, которые были крохотными бутонами двенадцати- или тринадцатилетней, а подобранные наверх и заколотые волосы являли голую, светящуюся кожу у нее на шее и плечах, она как раз была той самой девочкой, о какой мог всерьез задумываться любой мальчик, и когда мальчик этот становился чуть постарше, скажем, лет в двенадцать или тринадцать, девочка «Белой скалы» могла легко обратиться в полноправную эротическую чаровницу, в призыв к миру плотской страсти и полностью пробужденных желаний, а как только это произошло с Фергусоном, он присматривал, чтобы, когда он глядит на бутылку, родители не глядели на него.

Кроме того, еще была коленопреклоненная индеанка на коробке масла «Земля озер» – красotka-подросток с длинными черными косами и двумя разноцветными перышками, торчавшими у нее из головной повязки с бусинами, но беда с этой возможной соперницей нимфы с «Белой скалы» была в том, что она полностью одета, а это значительно ослабляло ее притягательность, не говоря уже о том, что беда усугублялась ее локтями, негибко торчавшими в стороны, поскольку она протягивала коробку масла «Земля озер», идентичную той, что стояла перед Фергусоном, – ту же самую коробку, только меньше, с той же самой картинкой девушки-индеанки, протягивающей другую коробку масла «Земля озер», еще меньше, и было это маняще, хоть и озадачивало, как ощущал Фергусон: нескончаемое удаление все более уменьшающихся индейских девушек, держащих коробки масла все мельче и мельче, что походило на то, какое впечатление производила коробка «Квакерских овсов» с улыбающимся квакером в черной шляпе, он уходил куда-то до полного исчезновения, пока человеческое зрение переставало его различать, мир внутри мира, который располагался внутри другого мира, который располагался внутри другого мира, который располагался внутри другого мира, покуда мир не сводился к размерам единственного атома, и все же ему как-то удавалось делаться еще меньше. По-своему интересно, но едва ли такое способно вдохновлять сны, поэтому индейская девушка с маслом и дальше с большим отрывом занимала второе место после принцессы «Белой скалы». Вскоре после того, как ему исполнилось двенадцать, однако, Фергусона посвятили в тайну. Он пошел дальше по кварталу навестить своего друга Бобби Джорджа, и двое мальчишек сидели на кухне и ели сэндвичи с тунцом, как вдруг на кухню зашел четырнадцатилетний брат Бобби Карл – высокий нескладный парнишка, склонный к математике, с лицом, усеянным прыщами: он иногда шпынял своего младшего брата, а иногда разговаривал с ним

<sup>7</sup> «Большая Атлантическая и Тихоокеанская чайная компания».

как с почти ровней, но в тот дождливый субботний день в середине марта у непредсказуемого Карла настроение было щедрое, и пока мальчишки сидели за столом, жевали свои сандвичи и пили молоко, он сообщил им, что совершил потрясающее открытие. Не поясняя, что именно открыл, он распахнул дверцу холодильника и вытащил коробку масла «Земля озер», достал из выдвижного ящика у мойки ножницы и катушку клейкой ленты и перенес три эти предмета на кухонный стол. Глядите-ка, сказал он, и двое мальчишек стали глядеть, как он разрезал коробку на шесть сторон и отложил две крупные картинки с индейской девушкой на них. После чего вонзился ножницами в одну картинку, отрезал колени девушки и полоску голой кожи над ними, видневшейся у нее под краем юбочки, а затем наклеил колени на коробку с маслом на другой картинке, и – вы только гляньте – колени превратились в груди, пару крупных, голых грудей, каждая с красной точкой посередке, и весь мир мог бы признать в этих точках идеально нарисованный сосок. Чопорная скво из племени лакота превратилась в соблазнительную зажигательную красотку, и, покуда Карл щерился, а Бобби визжал от хохота, Фергусон смотрел на результат, не издавая ни звука. Какая умная штукавина, думал он. Несколько взмахов ножниц, одна-единственная полоска прозрачной ленты – и девушку с маслом раздели.

Фотографии голых женщин печатали в «Нэшнл Джоиграфике» – журнале, который родители Бобби выписывали и отчего-то никогда не выбрасывали, поэтому то и дело весной 1959 года Фергусон и Бобби возвращались домой из школы и тут же направлялись напрямик в гараж Джорджей, где рылись в стопках желтых журналов, выискивая изображения гологрудых женщин – антропологических образцов из первобытных племен Африки и Южной Америки, чернокожих и бурукожих женщин из всяких мест с теплым климатом, где разгуливали вообще без всякой одежды либо с очень малым ее количеством и вовсе не стыдились, что их такими видят, они выставляли напоказ свои груди с тем же безразличием, с каким американская женщина станет обнажать кисти рук или уши. Фотографии эти были отчетливо неэротичны, и, за исключением редкой красавицы, попадавшей им в одном номере из семи или десяти, большинство женщин, на взгляд Фергусона, были непривлекательны, но все равно смотреть на такие картинки было поучительно и возбуждало: уж что, что, а нескончаемое разнообразие женских форм они являли, в особенности изобилие различий в размерах и очертаниях грудей, от крупных до мелких, и все, что между, от пышных, выпирающих грудей, до сплюснутых, обвисших, от грудей гордых до грудей побежденных, от симметричных до странно сопоставленных, от смеющихся грудей до плачущих, от истончавших титек древних старух до громоздких непомерностей кормящих матерей. В таких фуражировках по страницам «Нэшнл Джоиграфика» Бобби частенько хихикал – он смеялся, чтобы скрыть неловкость от того, что ему хотелось поглядеть *грязные картинки*, как он их называл, а вот Фергусон никогда не считал эти снимки грязными, и ему никогда не бывало стыдно от своего желания их разглядывать. Грудь были важны, поскольку они – самая выдающаяся и зримая черта, отличающая женщин от мужчин, а женщины теперь служили для него предметом великого интереса, ибо хоть он пока еще и был неполовозрелым мальчишкой двенадцати лет, внутри у Фергусона шевелилось уже довольно всякого, чтобы он понимал: дни его детства сочтены.

Обстоятельства изменились. С ограблением склада в ноябре 1955-го, за которым в феврале 1956-го последовала автокатастрофа, дядя Фергусона оказались вычеркнуты из круга семьи. Опозоренный дядя Арнольд теперь жил в далекой Калифорнии, покойный дядя Лью покинул этот свет навсегда, и «Домашнего мира 3 братьев» больше не существовало. Почти весь следующий год отец Фергусона пытался удержать свое дело на плаву, но полиции так и не удалось отыскать украденные бытовые приборы, а поскольку он отозвал свою заявку на страховую выплату, отказавшись выдвигать обвинения против своего брата, потери, вызванные таким актом великодушия, были слишком велики, такие ничем не покрыть. Решив не залезать еще глубже в долги, он при помощи деда Фергусона вернул банку экстренный заем и все распро-

дал, освободив себя от бремени здания, склада и всего оставшегося товара, тем самым сбежав от призраков своих братьев и загубленного предприятия, которое больше двадцати лет было всей его жизнью. Здание, конечно, осталось стоять как и прежде – на своем старом месте на Спрингфилд-авеню, но теперь оно называлось «Ньюманова мебель со скидкой».

Отец Фергусона вернул тестю занятое из денег, вырученных за продажу, а затем открыл новый магазин в Монклере, поменьше – «ТВ и радио Станли». С точки зрения Фергусона, такое положение дел было гораздо лучше прежнего, ибо новое заведение отца, так уж вышло, располагалось в том же квартале, что и «Ателье Страны Роз», и теперь он имел возможность заглядывать к любому из своих родителей, когда бы только этого ни пожелал. «ТВ и радио Станли» было тесным, да, но в нем чувствовался приятный уют, и Фергусону нравилось навещать там отца после школы, садиться с ним рядом за верстак в задней комнате, пока отец его чинил телевизоры, радиоприемники, а также всякие другие штуки: разбирал, после чего собирал обратно неработающие тостеры, вентиляторы, кондиционеры воздуха, лампы, проигрыватели грампластинок, блендеры, электрические соковыжималки и пылесосы, поскольку молва о том, что отец Фергусона – человек, способный починить что угодно, разошлась быстро, а раз в передней комнате магазина стоял продавец Майк Антонелли и продавал жителям Монклера радио и телевизоры, то Станли Фергусон почти все время проводил в глубине заведения, возился себе в тиши, терпеливо разбирал сломанные устройства, чтобы те снова заработали. Фергусон понимал, что в отце его что-то сокрушилось предательством Арнольда, что это вот сокращенное воплощение бывшего дела представляло собой для него глубокий личный разгром, однако же нечто в нем изменилось и к лучшему, а главными выгодоприобретателями такой перемены оказались его жена и сын. Теперь родители Фергусона спорили гораздо реже, чем раньше. Напряженность дома развеялась – вообще-то казалось, что она исчезла совсем, и Фергусона успокаивало, что его мать и отец теперь обедали каждый день вместе, вдвоем и больше никого в угловой кабинке «Столовки Ала», и вновь и вновь, самыми разнообразными способами, однако, по сути, одинаково мать Фергусона отпускала в беседах с ним замечания, которые, в сухом остатке, означали вот что: *Твой отец хороший человек, Арчи, лучший человек где бы то ни было*. Человек хороший и по-прежнему в основном неразговорчивый, но теперь, раз он отказался от прежней своей мечты стать следующим Рокфеллером, Фергусону в его присутствии было поуютнее. Теперь они могли немного разговаривать, и почти все время Фергусон бывал вполне уверен, что отец его слушает. И даже когда они не разговаривали, Фергусону очень нравилось сидеть рядом с отцом за верстаком после школы, делать домашнее задание на одном его конце, а за другим своими делами занимался отец – медленно разбирал еще одну поврежденную машинку и собирал ее опять воедино.

Денег теперь было меньше, чем в дни «Домашнего мира 3 братьев». Вместо двух машин родители Фергусона теперь владели одной – зеленовато-голубым «понтиаком» 1954 года – и еще красным доставочным фургоном «шевроле» с названием отца предприятия на обеих боковых дверцах. В прошлом его родители иногда уезжали вместе по выходным, обычно куда-нибудь в Катскиллы на пару дней – поиграть в теннис и потанцевать у «Гроссингера» или в «Конкорде», но после того, как в 1957 году открылся «ТВ и радио Станли», они это дело забросили. В 1958-м, когда Фергусону понадобилась новая бейсбольная перчатка, отец отвез его аж в магазин Сэма Бронштейна в центре Ньюарка, чтобы купить *по себестоимости*, а не стал давать ему денег, чтобы он купил точно такую же перчатку в «Галлахере», местном спортивном магазине Монклера. Разница составляла двенадцать с половиной долларов – ровно двадцатка в сравнении с тридцатью двумя пятьюдесятью, разница невеликая в общемировом устройстве, но все равно существенная экономия, какой хватило, чтобы открыть Фергусону глаза на то, что жизнь изменилась, и ему отныне придется хорошенько думать, прежде чем просить у родителей чего-то помимо того, что строго необходимо. Вскоре после этого на них перестала работать Касси Буртон, и почти точно так же, как в 1952-м в аэропорту в объятьях друг дружки плакали

его мать и тетя Мильдред, так и утром, когда Касси сообщили, что семье держать ее больше не по карману, плакали его мать и Касси. Вчера отбивные, сегодня гамбургеры. Семья опустилась на риск-другую, но кто же в здравом уме станет ночей не спать из-за того, что нужно затянуть чуть потуже ремень? Книжка из публички – та же самая, какую раньше б ты купил в магазине, теннис по-прежнему теннис, играешь ли ты в него на муниципальных кортах или же в частном клубе, а отбивные и гамбургеры делают из той же коровы, и хотя отбивным полагалось представлять собой вершину хорошего житья, правда была в том, что Фергусону всегда больше нравились гамбургеры, особенно с кетчупом – а кетчуп был тот же самый, каким он когда-то сверху намазывал пухлые вырезки средней прожарки, которые так нравились его отцу.

Воскресенье по-прежнему оставалось лучшим днем недели, особенно если в такое воскресенье не требовалось идти ни к кому в гости и никто не приходил к ним, этот день Фергусон мог проводить наедине с родителями, и теперь, когда стал крупнее и крепче и превратился в проворного спортивного двенадцатилетку, он наслаждался утренними теннисными матчами с родителями, два против одного между матерью-сыном и мужем/отцом, спаренными матчами, в которых они в паре с отцом играли против Сэма Бронштейна и его младшего сына, а после тенниса обычно обедали в «Столовке Ала» – с неизменным шоколадным молочным коктейлем, а после обеда – кино, а после кино – китайская еда в «Зеленом драконе» в Глен-Ридже, или жареная курица в «Маленьком домике» в Милльбурне, или горячие открытые сэндвичи с индейкой в «Хижине приятеля» в Вест-Оранже, или же тушеное мясо и блины с сыром в «Клермонтской столовой» в Монклере: людные, недорогие места для еды в предместьях Нью-Джерси, шумные и неутонченные, быть может, но кормили там хорошо, стоял воскресный вечер, они втроем были вместе, и даже если Фергусон к тому времени уже начал отстраняться от родителей, тот единственный день недели помогал поддерживать иллюзию того, что боги, если пожелают, могут быть милостивы.

Тете Мильдред и дяде Генри не удалось произвести на свет двоюродного Адлера, какого Фергусону так хотелось в раннем детстве. Причины были ему неизвестны – стерильность, бесплодие или же сознательный отказ увеличивать народонаселение мира, но, несмотря на разочарование Фергусона, пустота без кузена на Западном побережье в итоге сыграла ему на руку. У тети Мильдред могло и не быть близости с собственной сестрой, но отсутствие своих детей, да и без каких-либо других племянников или племянниц где-либо в зоне видимости, какие бы то ни было материнские порывы, что у нее имелись, выливались на ее единственного и неповторимого Арчи. После ее отъезда в Калифорнию, когда Фергусону было пять, они с дядей Генри несколько раз возвращались в Нью-Йорк на продолжительные летние визиты, и даже когда она жила в Беркли весь остальной год, связь ее с племянником не прерывалась – она писала ему письма и время от времени звонила по телефону. Фергусон понимал, что в его тете чувствуется какой-то лед, что она может быть жестка и предвзята, а то и груба с другими людьми, но вот с ним, ее единственным и неповторимым Арчи, она была совершенно другим человеком: щедрым на похвалы, добродушным, ее всегда интересовало, чем занимается ее мальчик, о чем думает и что читает. С его самого раннего детства была у нее привычка покупать ему подарки, изобилие подарков, какие обычно являлись в виде книг и пластинок, а теперь, когда он стал постарше и его умственные способности возросли, количество книг и пластинок, что она пересылала ему из Калифорнии, тоже увеличилось. Вероятно, она не доверяла его матери и отцу в том, что они будут способны осуществлять должное интеллектуальное руководство им, быть может, она считала его родителей парочкой необразованных никчемных буржуа, наверное, полагала, будто долг ее – спасти Фергусона из этой пустыни невежества, в которой он жил, – считая, что лишь она и только она способна предложить ему помощь, необходимую для преодоления крутых склонов просвещения. Несомненно, вероятно было и то, что была она (как, однажды подслушал он, его отец сказал его матери) *интеллектуальным*



*снобом*, но не поспоришь с тем фактом, что, сноб она или не сноб, интеллектуальная она была на самом деле – личность с громадной эрудицией, зарабатывала себе на жизнь преподаванием в университете, и те произведения, с какими она знакомила своего племянника, и впрямь были для него великим благословением.

Ни один другой мальчик в его круге знакомых не читал того, что читал он, а поскольку тетя Мильдред тщательно отбирала для него книги, как делала это для своей сестры в период ее заключения тринадцатью годами ранее, Фергусон читал присылаемое ею с жадностью, напоминавшей физический голод, ибо тетя его понимала, какие книги способны удовлетворить аппетиты быстро развивающегося мальчика по мере того, как он вырастал с шести лет до восьми, с восьми до десяти, с десяти до двенадцати – и далее, до самого окончания средней школы. Для начала сказки, братья Гримм и многоцветные книжки, составленные шотландцем Лангом, за ними чудесные, фантастичные романы Льюиса Кэрролла, Джорджа Макдональда и Э. Несбит, за ними Бульфинчевы пересказы греческих и римских мифов, детский вариант «Одиссеи», «Паутина Шарлотты», книжка, составленная из сказок «Тысячи и одной ночи» и пересобранная под названием «Семь странствий Синдбада-Морехода», а за ними через несколько месяцев – и шестисотстраничное избранное из «Тысячи и одной ночи» уже целиком, а на следующий год – «Доктор Джекилл и мистер Хайд», жуткие и таинственные рассказы По, «Принц и нищий», «Похищенный», «Рождественская песнь», «Том Сойер» и «Этюд в багровых тонах», и так силен был отклик Фергусона на книжку Конан-Дойля, что подарок, полученный им от тети Мильдред на свой одиннадцатый день рождения, был очень толстым изданием «Полного Шерлока Холмса» со множеством картинок. Таковы были лишь некоторые книжки, но ведь появлялись еще и пластинки, которые оказывались не менее важны для Фергусона, чем книги, и особенно теперь, в последние два-три года, начиная с его девяти или десяти лет, они поступали к нему с регулярными трех-четырёхмесячными интервалами. Джаз, классическая музыка, народная музыка, ритм-энд-блюз и даже кое-что из рок-н-ролла. Опять же, как и с книгами, подход тети Мильдред был строго педагогическим, и Фергусона вела она поэтапно, зная, что Луи Армстронг должен предварять Чарли Паркера, который должен идти прежде Майлса Девиса, что Чайковский, Равель и Гершвин должны быть раньше Бетховена, Моцарта и Баха, что «Ткачей» нужно слушать раньше Ледбелли, а Элла Фицджеральд, поющая Кола Портера, – необходимый первый шаг перед сдачей экзамена на Билли Холидей, поющую «Чудные плоды». К большому своему огорчению, Фергусон обнаружил, что к самостоятельному исполнению музыки у него нет ни йоты таланта. В семь лет пробовал играть на пианино – и, отчаявшись, бросил год спустя; в девять взялся за корнет и бросил; в десять сел за барабаны и тоже бросил. Отчего-то трудно было ему читать музыку с листа, он не умел полностью усвоить символы на странице, эти пустые и зачерненные кружочки, сидящие на линейках или угнездившиеся между ними, бемоли и диезы, ключевые знаки, скрипичные ключи и басовые, ноты отказывались входить в него и машинально распознаваться, как это некогда удалось буквам и цифрам, а потому ему приходилось думать про каждую ноту, прежде чем ее сыграть, а это замедляло его продвижение через такты и размеры любой данной пьесы и, по сути, не давало ему вообще сыграть что бы то ни было. Прискорбный провал. Его обычно быстрый и действенный ум становился инвалидом, когда дело доходило до расшифровки тех непокорных отметок, и вместо того, чтобы дальше упорно биться головой в стену, он бросил эту борьбу. Печальный проигрыш, поскольку его любовь к музыке оказалась так сильна, и он умел так хорошо ее слышать, когда ее исполняли другие, ибо ухо у него было чувствительным и тонко настроенным на нюансы композиции и исполнения, а вот сам он как музыкант, выяснилось, – безнадёжен, совершенный неудачник, что означало только то, что теперь пришлось смириться и остаться лишь слушателем – пылким, преданным слушателем, и его тетя Мильдред была достаточно умна, чтобы знать, как подкармливать эту преданность, которая наверняка считалась одной из существенно важных причин жить.

Тем летом во время одного из ее приездов обратно на восток с дядей Генри тетя Милдред помогла Фергусону просветиться и еще в одном деле крайней для него важности, кое-чем совершенно не связанном с книгами или музыкой, но равно, если не более, значимом для его ума. Она приехала в Монклер провести несколько дней со своим единственным и неповторимым и его родителями, и когда они вдвоем сели обедать в первый же день (мать и отец были на работе, а это значило, что Фергусон и его тетя оставались в доме одни), он показал на бутылку сельтерской «Белая скала», стоявшую на столе, и спросил, почему у девушки на этикетке из спины растут крылышки. Я не понимаю, сказал он. Это не ангельские крылья и не птичьи – именно такие ведь можно рассчитывать увидеть у мифического существа, – а хрупкие крылышки насекомого, крылышки стрекозы или бабочки, и его это ставило в непроходимый тупик.

Ты разве не знаешь, кто это, Арчи? – спросила его тетя.

Нет, ответил он. Конечно, не знаю. Если б знал, разве я стал бы спрашивать.

Я думала, ты прочел Бульфинча, которого я тебе присылала пару лет назад.

Прочел.

Полностью?

Кажется, да. Мог пропустить главу-другую. Не помню.

Ничего. Потом посмотришь. (*Взяв бутылку со стола, постукивая пальцами по рисунку девушки.*) Это не очень хорошая картинка, но предполагается, что это Психея. Теперь ее помнишь?

Купидон и Психея. Я правда читал эту главу, но там нигде ничего не говорилось, что у Психеи есть крылышки. У Купидона крылья были, крылья и колчан стрел, но Купидон – бог, а Психея – просто смертная. Красивая девушка, но все равно человек, такая же, как мы. Нет, погоди-ка. Теперь я вспомнил. Выйдя замуж за Купидона, она тоже становится бессмертной. Верно, правда? Но я все равно не понимаю, зачем ей эти крылышки.

Слово *психе* по-гречески значит две вещи, сказала его тетя. Две очень разные, но интересные вещи. *Бабочка* и *душа*. Но если не торопясь и тщательно про это подумаешь, *бабочка* и *душа* не так уж и различны, в конце-то концов, верно? Бабочка начинается с гусеницы, такого некрасивого ничто, привязанного к земле червячка, а потом однажды гусеница свивает себе кокон, и некоторое время спустя кокон раскрывается, и наружу выпархивает бабочка, самое красивое существо на свете. Так же происходит и с душами, Арчи. Они борются в глубинах тьмы и невежества, страдают от своих испытаний и несчастий и мало-помалу этими страданиями очищаются, укрепляются трудностями, какие им достаются, – и вот однажды, если душа, о какой мы говорим, – душа достойная, она вырвется из кокона и воспарит ввысь, как великолепная бабочка.

Никакого, стало быть, таланта к музыке, к рисованию или живописи и убогая неспособность петь, танцевать и играть на сцене, но вот к играм у него талант имелся, к физическим играм, к спорту во всех его сезонных разновидностях – к бейсболу в теплые времена года, футболу в промозглые, баскетболу в холода, и к своим двенадцати годам Фергусон уже входил в команды по всем этим видам спорта и играл круглый год без перерывов. С того самого дня в конце сентября 1954-го, того незабвенного дня, что он провел с Касси, смотря, как Мейс и Родс разгромили «Индейцев», самым важным его увлечением стал бейсбол, и как только на следующий год он начал играть всерьез, оказалось, что удастся это ему на удивление хорошо, так же хорошо, как лучшим игрокам вокруг: на поле он был крепок, крепко держал биту, инстинктивно ощущал нюансы любой ситуации, складывавшейся по ходу игры, а когда кто-то обнаруживает, что может что-то делать хорошо, он скорее станет делать то же самое и дальше – и как можно чаще. Бессчетными утрами по рабочим дням, бессчетными днями среди недели, бессчетными ранними вечерами играл он в мяч с друзьями в общественных парках, не говоря о множестве дворовых разновидностей: стикбол, виффлбол, ступбол, панчбол, воллбол, кик-

бол и руфбол, затем же, в девять – Малая лига, и с нею возможность принадлежать к организованной команде и носить форму с номером на спине, номер 9, он всегда в той команде был номером 9, да и во всех остальных, что были следом, 9 по количеству игроков и количеству иннингов, 9 как чистое численное выражение самой игры, а на голове у него темно-синяя кепка с белой *G*, вышитой на тулье, *G* значит «Спортивные товары Галлахера», спонсора команды, которая была командой с тренером-добровольцем на полном рабочем дне, мистером Бальдасари – на еженедельных тренировках он муштровал игроков основами, хлопал в ладоши и выкрикивал оскорбления, приказы и похвалы на играх дважды в неделю, одна в субботу утром или днем, а другая вечером во вторник или четверг, и Фергусон стоял на позиции в поле, за четыре года, что провел в этой команде, вырастая от тщедушного прутика до мальчика-крепыша, в девять – второй базовый игрок и хиттер номер восемь, шортстоп и хиттер номер два в десять, шортстоп и зачищающий хиттер в одиннадцать и двенадцать, плюс дополнительное наслаждение от того, что играешь перед толпой, в среднем от пятидесяти до ста человек – родители и братья-сестры игроков, разнообразные друзья, двоюродные родичи, прародители и случайные зеваки, вопли и свист, крики, хлопки и топот с трибун, что начинались с первой же брошенной подачи и длились до самого завершения, и за те четыре года мать его редко пропускала игру, он искал ее глазами, разогреваясь вместе с товарищами по команде, как вдруг – вот она, махала ему со своего места на трибунах, и он всегда слышал ее голос, доносившийся до него сквозь другие голоса, когда он выходил на удар: *Давай, Арчи, Полегоньку, Арчи, Завали его отсюда, Арчи*, – а потом, после кончины «Домашнего мира 3 братьев» и рождения «ТВ и радио Станли» на матчи начал ходить и отец, и хоть он не кричал так, как кричала мать Фергусона, по крайней мере не так напористо, чтоб его можно было расслышать в толпе, именно он вел подсчет средних очков Фергусона, которые неуклонно росли по ходу лет, завершившись на несусветно высоком показателе .532 за последний сезон, последний матч которого был отыгран за две недели до того, как Фергусон и тетя Мильдред побеседовали о Психее, но он тогда уже был лучшим игроком в команде, одним из двух-трех лучших в лиге, и от лучшего игрока двенадцатилетки такой средний балл можно было ожидать.

В пятидесятых дети не играли в баскетбол, поскольку были слишком малы, слишком слабы, куда им бить мячом по корзинам на высоте десять футов, поэтому образование Фергусона в науке корзин началось лишь после того, как ему исполнилось двенадцать, а вот в футбол он играл непрерывно с шести лет, контактный футбол со шлемами и наплечниками, по большей части – полузащитником, поскольку был он решительным, хоть и не очень быстрым бегуном, но как только руки у него отросли достаточно, чтобы крепко хватать ими мяч, позиция его поменялась, ибо Фергусон к тому времени, как ему исполнилось четырнадцать, и его друзья обнаружили, что у него есть безумный талант передавать пасы, что крученые, какие запускать он правой своей рукой, летят быстрее, точнее и гораздо дальше, чем у кого бы то ни было, на пятьдесят – пятьдесят пять ярдов через все поле, и хотя Фергусон эту игру любил не с теми же тщанием и пылом, с какими любил он бейсбол, распасовщиком играть ему очень нравилось, поскольку мало что может сравниться с ощущением концевки длинного паса приемщику, несущемуся сломя голову к конечной зоне в тридцати-сорока ярдах от линии схватки, то жутковатое ощущение незримой связи через пустое пространство походило на переживание удара, попадающего в корзину в прыжке с двадцати футов, но отчего-то удовлетворяло больше, поскольку связь эта была с другим человеком, а не с неодушевленным предметом, сделанным из бечевки и стали, и потому он терпел менее привлекательные грани этого спорта (грубые подсечки, убийственные блокировки, столкновения, от которых оставались синяки), чтобы повторить никогда не перестававшее волновать ощущение – швырнуть мяч своим товарищам по команде. Затем, в ноябре 1961-го, его, девятиклассника четырнадцати с половиной лет, двинул двухсотпятидесятифунтовый защитник на линии по имени Деннис Мэрфи, и он оказался в больнице со сломанной левой рукой. Он намеревался следующей осенью попробо-

ваться в команду старших классов, но загвоздка с футболом состояла в том, что на игру там требовалось разрешение родителей, а когда он вернулся домой после первого дня в старших классах и предъявил матери бланк, та отказалась его подписывать. Он ее умолял, он ей грозил, он проклинал ее за то, что она себя ведет, как истеричная мать-наседка, но Роза не уступала, и так настал конец карьере Фергусона в футболе.

Я знаю, ты меня считаешь идиоткой, сказала его мать, но однажды, Арчи, ты мне за это спасибо скажешь. Ты крепкий мальчик, но никогда не будешь сильным или крупным настолько, чтобы превратиться в дубину, а чтобы играть в футбол, нужно быть именно таким – толстокожим дубиной, обормотом, которому нравится врезаться в других, животным, а не человеком. Мы с твоим отцом расстроились, когда ты в прошлом году сломал себе руку, но теперь я понимаю, что нет худа без добра, это нам было предупреждение, и теперь я не намерена позволять своему сыну портить себе тело в старших классах, чтобы дальше он ковылял на разбитых коленях весь остаток своей жизни. Занимайся и дальше бейсболом, Арчи. Это красивый вид спорта, и у тебя он хорошо получается, его так волнующе смотреть, чего же ради рисковать потерей бейсбола, если изувечишься в бессмысленном футболе? Хочешь и дальше кидать эти свои пасы – играй в бесконтактный футбол. Ну вот погляди на Кеннеди. Они же этим и занимаются, верно? Вся семья там у себя в Кейп-Коде скачет по лужайке, пинает мячики налево и направо, хохочет-заливается. По мне, так это очень весело.

Кеннеди. Даже теперь, независимым, свободомыслящим, временами бунтарски настроенным пятнадцатилеткой, он изумлялся тому, насколько хорошо мать продолжает его понимать, до чего умело может она достучаться до его сердца, если этого требует ситуация, до его вечно спотыкливого и раздираемого противоречиями сердца, ибо, хоть Фергусон и не желал признавать этого ни перед ней, ни перед кем-либо еще, он знал: насчет футбола мать права, по самому своему темпераменту он для протоколов кровавых стычек не годится, и лучше ему послужит сосредоточенность на любимом его бейсболе, но тут она повернула рукоятку еще на одно деление и упомянула Кеннеди, которые, знала она, для него – предмет чрезвычайной важности, гораздо более значимый, нежели какой-то эфемерный футбол или его отсутствие, и, отойдя от школьного спорта к американскому президенту, беседа их стала совсем другой беседой, и вдруг сказать по этому поводу больше было нечего.

Фергусон следил за Кеннеди уже больше двух с половиной лет, начав с объявления, что тот выдвигается кандидатом в президенты от Демократической партии 3 января 1960 года, ровно за два месяца до тринадцатого дня рождения Фергусона и через три дня после начала нового десятилетия, которого Фергусон почему-то очень ждал как знака восторженного обновления, раз вся его сознательная жизнь прошла в пятидесятых, когда президентом был старик, сердце его подвержено приступам, бывший генерал, играющий в гольф, и Кеннеди его поразили как нечто совершенно новое и все из себя замечательное, полный сил молодой человек, желающий изменить мир – несправедливый мир расового угнетения, идиотский мир Холодной войны, опасный мир гонки ядерных вооружений, самодовольный мир бессмысленного американского материализма, и, поскольку ни один другой кандидат на все эти напасти не обращал внимания так, чтобы удовлетворять Фергусона, он и решил, что Кеннеди – человек будущего. На том рубеже он был еще слишком мал и не понимал, что политика – это всегда политика, но в то же время был уже достаточно взросл, чтобы осознавать: что-то должно подвинуться, ибо те первые дни 1960-го наполнились известиями о сидячей забастовке четырех черных студентов в Северной Каролине, за стойкой кафетерия, в знак протеста против сегрегации, о конференции по разоружению в Женеве, о сбитом над советской территорией шпионском самолете «У-2» и аресте летчика Гари Пауэрса, что заставило Хрущева уйти с Парижской встречи в верхах и прекратило Женевские переговоры по разоружению без всякого успеха относительно остановки распространения ядерного оружия, вслед за чем последовал рост враждебности между

Кастро и Соединенными Штатами, что подрезало импорт кубинского сахара на девяносто пять процентов, а потом, через семь дней после этого, вечером тринадцатого июня Кеннеди выиграл номинацию по первому туру на съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе. То было первое лето из трех подряд, которые Фергусон проводил дома в Нью-Джерси – играл в бейсбол в турнире Американского легиона с «Монклерскими лысухами», четыре матча в неделю, начинающим хиттером и вторым базовым в тот первый год, поскольку был он теперь самым младшим игроком в команде и вновь начинал с самого низу, одинокий тринадцатилетка в команде четырнадцати- и пятнадцатилетних, и те жаркие месяцы, июль и август, пока Фергусон читал газеты и такие книжки, как «Скотный двор», «1984» и «Кандид», впервые внимательно слушал Третью, Пятую и Седьмую симфонии Бетховена, преданно листал каждый новый номер журнала «Мад» и вновь и вновь крутил альбом Майлса Девиса «Порги и Бесс», он все так же неожиданно заскакивал в ателье матери и лавку отца, а после тех кратких приветствий шел в местную штаб-квартиру Демократической партии в полутора кварталах дальше по улице, где помогал взрослым добровольцам лизать марки и конверты в обмен на неистощимые запасы значков кампании, наклеек на бамперы и плакатов, которые он прозрачной клейкой лентой приделывал ко всем незанятым участкам четырех стен у себя в спальне – так, что к концу лета комната его превратилась в капище Кеннеди.

Много лет спустя, когда Фергусон повзрослел уже до того, чтобы во всем разбираться, он оглядывался на тот период юношеского своего поклонения герою, и его передергивало, но в 1960-м все для него так и было, и с чего ему понимать тогда что-то иначе, если жил он на этой земле всего тринадцать лет? Стало быть, Фергусон болел за Кеннеди и хотел, чтобы тот выиграл, точно так же, как поддерживал некогда «Гигантов», чтобы те победили в Чемпионате США, ибо политическая кампания ничем не отличалась от спортивного события, осознал он, только тут не удары, а слова, быть может, но и они не менее грубы, чем в кровавейшем боксерском поединке, а когда дело доходило до поста президента, борьба уже велась в таких масштабах и до того зрелищно, что во всей Америке не было спектакля лучше. Блистательный Кеннеди против сурового Никсона, Король Артур против Кислой Морды, шарм против возмущения, надежда против озлобленности, день против ночи. Четырежды эти двое сходились по телевидению, четыре раза Фергусон и его родители смотрели дебаты в маленькой своей гостиной, и четырежды становились убеждены, что Кеннеди одолел Никсона, хоть люди и поговаривали, будто Никсон громил его в радиопередачах, да только значение теперь имело телевидение, оно было повсюду и вскорости станет уже всем, как отец Фергусона и предсказывал еще во время войны, и вот первый телевизионный президент явно выигрывал бой на домашнем экране.

Победа восьмого ноября, узкий перевес в сотню тысяч голосов избирателей, один из самых маленьких перевесов в истории – и более существенная победа по коллегии выборщиков, на восемьдесят четыре голоса, а когда наутро Фергусон отправился в школу и отпраздновал вместе с друзьями, кто был за Кеннеди, некоторые цифры еще не были известны, и уже ходили слухи, что чикагский мэр Дейли украл избирательные урны из республиканских районов и выкинул их в озеро Мичиган, а когда обвинение это достигло ушей Фергусона, он с трудом такому поверил, слишком уж предосудительна была эта мысль, слишком тошнотворна, ибо такой финт превратил бы все выборы в скверный анекдот, в пародию, состоящую из хитроумных манипуляций и лжи, но тогда, едва Фергусон совсем уже собрался дать выход ярости, он вдруг изменил течение своих мыслей, осознав, что с бойскаутской чепухой пора кончать и признать, что возможно все. Растленные люди есть везде, и чем могущественней человек, тем больше возможностей для коррупции, но даже если эта история – правда, ничего в ней не указывает на то, что к этому имел какое-то отношение сам Кеннеди. Дейли и его банда жуликов из округа Кук – возможно. Но не Кеннеди, Кеннеди – ни за что.

И все же, невзирая на его нерушимую уверенность в человеке будущего, весь остаток дня Фергусон провел с картинкой в голове: эти затонувшие избирательные урны лежат на дне озера Мичиган, и даже после того, как окончательные цифры доказали, что Кеннеди бы все равно выиграл выборы, с Иллинойсом или без Иллинойса, Фергусон не переставал думать об этих урнах, продолжал думать о них еще много лет.

Наутро 20 января 1961 года он сказал родителям, что ему как-то неможется, и спросил, нельзя ли сегодня не ходить в школу. Поскольку Фергусон мальчиком был сознательным и отнюдь не знаменитым тем, что измышлял для себя воображаемые болезни, желание его удовлетворили. Так вот и посмотрел он инаугурационную речь Кеннеди, сидя перед телевизором, пока его мать и отец были в центре города на работе, один в маленькой гостиной за кухней, церемонию, проходившую в холодном и ветреном Вашингтоне, таком морозном и открытом ветрам, что, когда древний Роберт Фрост со слезящимися глазами встал читать стихотворение, которое его попросили написать по этому случаю, тот самый Роберт Фрост, кто нес ответственность за единственную поэтическую строку, которую Фергусон знал наизусть, *В желтом лесу разошлись два пути*<sup>8</sup>, ветер взбрыкнул неистово и внезапно, стоило ему только встать за кафедру, и вырвал у него из рук одну страницу рукописи, отчего хрупкому седовласому барду стало нечего читать, однако с восхитительным достоинством и проворством, как почувствовал Фергусон, тот взял себя в руки, и пока его новое стихотворение летало над толпой, он по памяти прочел старое, превратив то, что могло бы стать бедствием, в нечто вроде победы, это произвело впечатление, но в то же время было и как-то комично – или, как Фергусон вечером сказал родителям, и смешно, и не смешно разом.

Затем вышел только что давший присягу президент, и, едва начал он произносить свою речь, ноты, издаваемые этим туго натянутым инструментом риторики, показались Фергусону до того естественными, так удобно соединенными с его собственными внутренними ожиданиями, что поймал он себя на том, что слушает его так же, как слушал бы музыкальное произведение. Человек держит в своих смертных руках. Пусть слово полетит. Заплатим любую цену, выдержим любое бремя. Сила уничтожить все виды человеческой нищеты и все виды человеческой жизни. Пусть знают все нации. Факел передан. Справимся с любыми трудностями, поддержим любого друга, встанем против любого врага. Новое поколение американцев. То шаткое равновесие страха, что останавливает стрелку последней войны человечества. Нынче труба зовет нас снова. Призыв вынести бремя долгой сумеречной борьбы. Но давайте начнем. Родившись в этом веке, закаленные войной, дисциплинированные трудным и горьким миром. Давайте исследовать звезды. Спросите. Не спрашивайте. Борьба против общих врагов человечества – тирании, нищеты, болезней и самой войны. Новое поколение. Спросите. Не спрашивайте. Но давайте же начнем.

Следующие двадцать месяцев Фергусон пристально наблюдал, как человек будущего спотыкается, идя вперед, начавши правление своей администрации с учреждения Корпуса мира, а затем едва не уничтожив его бойней в заливе Свиней семнадцатого апреля. Через три недели после футбольный мяч размером с человека по имени Алан Шепард был выпнут Национальным агентством космических исследований в открытое пространство, и Кеннеди объявил, что еще до окончания этого десятилетия американец пройдет по Луне, во что Фергусону поверить было трудно, но он все равно надеялся, что это произойдет, потому что хотел, чтобы человек этот оказался прав, а затем Джек и Джеки отправились в Париж встречаться с Де Голлем, за этим последовали два дня переговоров в Вене с Хрущевым, а Фергусон и глазом не успел моргнуть, как уже прочел свою первую книгу о современной американской политике, «Сотворение президента, 1960», возвели Берлинскую стену и начался процесс Эйхмана в Иерусалиме, это унылое зрелище почти полностью облысевшего, подергивающегося убийцы, сидя-

<sup>8</sup> Из стихотворения «The Road Not Taken», опубликованного в 1916 г.

щего одного в стеклянном ящике, которое Фергусон смотрел по телевизору каждый день после школы, весь объятый ужасом этого зрелища и все же не в силах оторвать глаз от экрана, прекратить смотреть, и когда процесс завершился, он продрался через все 1245 страниц «Взлета и падения Третьего рейха», громадной книжищи, написанной бывшим журналистом из «черного списка» Вильямом Ширером, которая в 1961-м получила Национальную книжную премию и была самым протяженным текстом, что Фергусон когда-либо читал. Следующий год начался с другого внеземного подвига: в феврале Джон Гленн вырвался за пределы тропосферы и три раза облетел вокруг земли, а весной то же самое повторил Скотт Карпентер, и затем, всего через два дня после того, как Джемс Мередит стал первым черным студентом, допущенным учиться в Университет Миссисипи (еще одно зрелище, которое Фергусон наблюдал по телевизору, молясь, чтобы этого беднягу не закидали до смерти камнями), Волли Ширра в начале октября превзошел Гленна и Карпентера – облетел земной шар шесть раз. Фергусон тогда уже учился в десятом классе – первый год в Монклерской средней школе, а из-за того, что его мать отказалась подписать в сентябре бланк согласия, футбольный сезон начался без него. Однако к тому времени, как Ширра совершил свое путешествие, Фергусон почти справился уже с разочарованием, обретая новый интерес в лице Анн-Мари Дюмартен, своей однокашницы, приехавшей в Америку из Бельгии двумя годами ранее: они с ней встречались на занятиях по истории и геометрии, и он до того увлекся этим предметом своих всевозраставших знаков внимания, что как раз тогда думать о человеке будущего ему было, в общем, некогда, и потому вечером двадцать второго октября, когда Кеннеди обратился к американскому народу и рассказал ему о русских ракетных базах на Кубе и морской блокаде, которую он намерен ввести, Фергусона не оказалось дома, и он не смотрел эту передачу с родителями. Вместо этого он сидел на скамейке в общественном парке с Анн-Мари Дюмартен, обхвативши руками ее тело и впервые целуя ее. В кои-то веки обычно внимательный Фергусон не обращал внимания, и величайшего международного кризиса после окончания Второй мировой войны, угрозы ядерного конфликта и возможного конца человеческой расы не осознал до следующего утра, после чего вновь стал обращать внимание, однако через неделю его Кеннеди перехитрил русских, и кризис миновал. Все выглядело так, что сейчас мир закончится, – а он взял и не закончился.

Ко Дню благодарения он уже не задавался вопросом, любовь ли это. В прошлом он уже переживал увлечения, начиная с детсадовских влюбленностей в Кати Гольд и Марджи Фицпатрик, когда ему было шесть, за чем последовал неистовый вихрь флиртов с Кароль, Джейн, Ненси, Сюзан, Мими, Линдой и Конни в двенадцать и тринадцать, танцевальные вечера по выходным, сеансы поцелуев на задних дворах под луной и в альковах цоколей, первые робкие заходы на половое знание, таинства кожи и слюнявых языков, вкус помады, запах духов, шелест нейлоновых чулок друг об друга, а затем, в четырнадцать – прорыв, внезапный скачок из детства в отрочество, и с ним – новая жизнь в чужом, вечно мутирующем теле, непрошенные эрекции, поллюции, мастурбация, эротические томленья, еженощные драмы похоти, исполняемые тенью в театре секса, ныне засевшем у него в черепе, соматические катаклизмы юности, но не брать в учет все те физические перемены и возмущения, фундаментальным как до, так и после начала его новой жизни оставался поиск духовный, греза о прочной связи, о взаимной любви между совместимыми душами – душами, наделенными телами, разумеется, к счастью, наделенными телами, но сперва все-таки душа, она всегда будет первой, и, несмотря на все его заигрывания с Кароль, Джейн, Ненси, Сюзан, Мими, Линдой и Конни, вскоре он понял, что ни одна из этих девочек не обладает такой душой, какую он ищет, и он терял к ним интерес, к одной за другой, и позволял им исчезнуть из своего сердца.

С Анн-Мари Дюмартен же история разворачивалась ровно наоборот. Все прочие начинались как пылкие физические притяжения, но чем лучше он их узнавал, тем сильнее разочаровывался, а вот Анн-Мари поначалу он едва замечал, весь месяц сентябрь даже не переки-

нулся с нею ни единым словом, но потом их учитель истории Европы произвольно назначил их вместе делать работу, и как только Фергусон начал ее немного узнавать, как тут же обнаружил, что хочет узнавать ее все больше и больше, а чем больше ее узнавал, тем выше поднималась она в его глазах, и после трех недель ежедневных встреч по поводу взлета и падения Наполеона (такова была тема их совместной работы), некогда обычная с виду бельгийка с легким французским акцентом преобразилась в экзотическую красавицу, и сердце Фергусона заполнилось ею целиком, надрывалось ею, и он намеревался держать ее в этом сердце как можно дольше. Неожиданное, непредвиденное завоевание. Пятнадцатилетнего мальчика застали врасплох, а затем Купидон заблудился и случайно очутился в Монклере, Нью-Джерси, и не успел еще муж Психеи купить новый билет и отправиться обратно в Нью-Йорк или Афины, или куда еще он там мог отправиться, – как выпустил свою стрелу просто так, тем самым начав мучительное приключение первой большой любви Фергусона.

Маленькая, но не слишком, чуть-чуть не дотягивая до пяти-пяти без обуви, темные волосы средней длины, круглое лицо с симметричными чертами и упрямым, неробким носиком, полные губы, гибкая шея, темные брови, а под ними серо-голубые живые глаза, светящиеся глаза, тонкие руки и пальцы, груди полнее, чем можно было ожидать, узкие бедра, худые ноги и изящные лодыжки, красота, не являющая себя с первого взгляда или даже со второго, но проступающая с растущим знакомством, такая, что постепенно ввинчивается в глаз, а потому становится нестираемой, лицо, от которого трудно отвернуться, лицо, о котором только грезить. Смышленная и серьезная девочка, девочка часто задумчивая, не подверженная выплескам смеха, скупая на улыбки, но когда же все-таки улыбалась, все тело ее превращалось в клинок сиянья, сверкающий меч. Новенькая, а потому – без подружек, она не очень охотно подлизывалась, чтобы ее стали считать своей, с упрямым самообладанием, какое нравилось Фергусону и делало ее непохожей на остальных его знакомых девочек – смеющихся девчонок-подростков северного Нью-Джерси во всей их великолепной фривольности, – ибо Анн-Мари и намеревалась оставаться изгоем, девочкой, оторванной от корней своего дома в Брюсселе и вынужденной жить в вульгарной, одержимой деньгами Америке: она упорно цеплялась за свою европейскую манеру одеваться, свой неизменный черный берет, макинтош с поясом, джемперы в клетку, белые блузки с мужскими галстуками, и пусть даже иногда она признавала, что Бельгия – страна унылая, серый и тусклый клочок земли, втиснутый между Лягушатниками и Фрицами, также она защищала ее, если ей бросали вызов, утверждая, что в маленькой, почти невидимой Бельгии лучшее пиво, лучший шоколад и лучшие *frites*<sup>9</sup>, чем где бы то ни было на свете. В самом начале, при одной из их первых встреч, еще до того, как муж Психеи случайно забрел в Монклер и выпустил стрелу в ничего не подозревавшую жертву, Фергусон поднял вопрос о Конго и ответственности Бельгии за бойню, в которой погибли тысячи угнетенных черных людей, и Анн-Мари твердо встретила его взгляд и кивнула. Ты умный мальчик, Арчи, сказала она. Ты знаешь в десять раз больше, чем любой десяток этих идиотов-американцев, вместе взятых. Когда месяц назад пришла в эту школу, я решила, что буду держаться сама по себе и не заводить друзей. Теперь я думаю, что была неправа. Всем нужен друг, и ты можешь стать таким другом, если захочешь.

К вечеру их первого поцелуя двадцать второго октября Фергусон узнал лишь несколько скудных фактов о семье Анн-Мари. Теперь ему стало известно, что ее отец работал экономистом в бельгийской делегации в ООН, мать у нее умерла, когда Анн-Мари было одиннадцать лет, а ее отец женился повторно, когда ей исполнилось двенадцать, и что два ее старших брата, Жорж и Патрис, учатся в Брюсселе в университете, но на этом примерно и всё – вместе с микроскопической деталькой: между семьей и девятью годами она жила в Лондоне, отчего так бегло теперь и говорила по-английски. Однако до того вечера ни единого слова не было

<sup>9</sup> Жареная картошка (*фр.*).



сказано о ее мачехе, ни слова о причине смерти матери, ни слова об отце, кроме того, что в Америку Дюмартенов привела его работа, и, поскольку Фергусон понимал, что Анн-Мари не хочется обо всем этом рассказывать, он и не давил на нее, чтоб она ему открылась, но понемногу, за последовавшие недели и месяцы, поступало все больше сведений: для начала жуткая история о раке матери – раке шейки матки, давшем метастазы и вызывавшем такие боли и такую безнадежность, что мать ее в конце концов просто убила себя передозировкой таблеток, что было официальной версией, во всяком случае, хотя Анн-Мари подозревала, что отец закрутил роман с ее будущей мачехой за много месяцев до смерти матери, и, как знать, может, овдовевшая Фабьенн Кордэ, так называемый давний друг дома, уже три года как вторая жена слепого в своем обожании отца Анн-Мари, та жалкая женщина, что стала теперь ее мачехой, и пропихнула те смертельные таблетки в горло ее матери, чтобы ускорить переход от тайного романа к браку, освященному католической церковью? Возмутительная клевета, несомненно – совершенная неправда, но Анн-Мари ничего не могла с собой поделать: возможность этого продолжала пожирать ее мысли, и даже хотя Фабьенн была невиновна, это ничуть не делало ее менее жалкой, менее достойной ненависти и презрения, какие Анн-Мари к ней испытывала. Фергусон слушал все эти откровения со всевозрастающим сочувствием к своей возлюбленной. Судьба ранила ее, и теперь она застряла в неблагополучной семье, воюя с ненавистной мачехой, разочарованная себялюбивым, невнимательным отцом, по-прежнему скорбя по своей покойной матери, горя от того, что сослана в жесткую, неприветливую Америку, сердитая, злая на все, но театральнo-драматический масштаб трудностей Анн-Мари не отпугивал Фергусона – напротив, притягивал его к ней все ближе, ибо теперь она в его глазах стала фигурой трагической, благородной, страдающей героиней, затравленной ударами фортуны, и со всем пылом неопытного пятнадцатилетнего мальчугана он взял на себя новую миссию в жизни – спасти ее из когтей несчастья.

Ему никогда не приходило в голову, что она может преувеличивать, что скорбь ее по утрате матери исказила ее зрение, что мачеху она отталкивала, не давая ей ни единой возможности, превратила ее во врага лишь по той причине, что она – не мать ей и никогда ею не станет, что ее урабатывавшийся отец делал все от себя зависящее для своей разъяренной и упрямой дочери, что и здесь – как всегда бывает – у истории есть и другая сторона. Подростки питаются драмой, они счастливее всего, если живут *in extremis*<sup>10</sup>, и Фергусон был не менее подвержен манящему зову накаленной эмоции и чрезмерного нездорового смысла, нежели любой другой мальчишка его возраста, а это означало, что притягательность такой девочки, как Анн-Мари, подпитывается именно ее несчастьем, и чем сильнее бури, в какие она его втягивала, тем яростнее он ее желал.

Устроить так, чтобы остаться с нею наедине, было сложно: оба они были слишком молоды, чтобы водить машину, и потому в перемещениях зависели от собственных ног, а это, по необходимости, ограничивало их дальность, но одним надежным решением был пустой дом Фергусона после окончания уроков в школе – те два часа, пока родители не возвращались с работы, когда Фергусон и Анн-Мари могли подняться к нему в комнату и захлопнуть за собой дверь. Фергусон бы с радостью нырнул прямо в нее, но он знал, что Анн-Мари к такому не готова, поэтому тема утраты их девственности никогда открыто не обсуждалась, а так с подобными вещами и обращались в 1962 году, по крайней мере – прилично воспитанные пятнадцатилетки из среднего и чуть выше среднего класса в Монклере и Брюсселе, но если ни одному из них не доставало храбрости бросить вызов условностям эпохи, это не означало, будто они пренебрегали пользоваться кроватью, которая, к счастью, была двуспальной, на ее поверхности достаточно места для них обоих, чтобы можно было растянуться бок о бок и приобщиться к сексу, какой не был совсем уж сексом, но тем не менее на вкус ощущался как любовь.

<sup>10</sup> В экстремальной ситуации (лат.).

До тех пор все сводилось к поцелуям, продолжительным экскурсиям языками по внутренностям рта, мокрым губам, затылкам и заушьям, к рукам, хватавшимся за лица, странствующим в шевелюрах, к рукам, охватывающим торсы, плечи, талии, руки сплетались с другими руками, а потом с Конни предыдущей весной – первое неуверенное движение положить ладони на груди, груди уж точно хорошо защищенные, надежно укрытые как блузкой, так и лифчиком, но руку его тогда не смахнули, что представляло дальнейший прогресс в его образовании, и вот теперь, с Анн-Мари, блузка спала, а через месяц спал и лифчик, что совпало с устранением его рубашки, и даже такая частичная нагота была наслаждением, о котором нельзя и мечтать, превосходившим все прочие удовольствия, и пока недели тянулись дальше, одной лишь своей силой воли Фергусон удерживался от того, чтобы не схватить ее за руку и не подтолкнуть ее к выпирающему бугру у себя в штанах. Отчетливо вспоминаемые дни – не только из-за того, что все происходило при свете дня и было видимо, в отличие от слепой возни в темноте с Конни, Линдой и остальными, солнце было с ними в комнате, и он мог видеть ее тело, оба их тела, а это означало, что каждый акт касания также был образом этого касания, и поверх всего прочего в комнате витал еще и постоянный подспудный страх, ужас того, что они потеряют счет времени, и кто-нибудь из его родителей постучится в дверь, пока они обнимаются, или же, что еще хуже, ворвется в комнату, забыв постучать, и, хотя ничего подобного покамест не произошло, все равно была такая возможность, а это наполняло те дневные часы ощущением безотлагательности, угрозы и преступной отваги.

Она стала первым человеком, допущенным во внутренние покои его тайного музыкального дворца, и если они не валялись на кровати или не разговаривали о своих жизнях (преимущественно жизни Анн-Мари) – слушали пластинки на маленьком проигрывателе с двумя динамиками, стоявшем на столе в южном углу комнаты, подарке родителей Фергусона на его двенадцатилетие. Теперь, три года спустя, 1962-й стал годом Баха, тем годом, когда Фергусон слушал Баха больше какого-либо другого композитора, в особенности Баха Гленна Гульда с упором на «Прелюдии и фуги» и «Гольдберг-вариации», а также Баха Пабло Казальса, куда входили бесчисленные воспроизведения шести пьес для виолончели без аккомпанемента, и Германа Шерхена, дирижировавшего «Оркестровыми сюитами» и «Страстями по Матфею», которые, как заключил Фергусон, были вообще прекраснейшим произведением из сочиненных Бахом, а стало быть – и прекраснейшим произведением, написанным вообще кем бы то ни было, но также они с Анн-Мари слушали Моцарта («Мессу в до-миноре»), Шуберта (фортепианные произведения в исполнении Святослава Рихтера), Бетховена (симфонии, квартеты, сонаты) и также многих других, почти все – подарки Фергусоновой тети Мильдред, не говоря уж о Мадди Вотерсе, Фэтсе Воллере, Бесси Смит и Джоне Колтрейне, то есть – не говоря о всяких других душах двадцатого века, как живых, так и мертвых, и лучше всего в слушании музыки с Анн-Мари было наблюдать за ее лицом, всматриваться в ее глаза и глядеть на ее рот, пока собирались у нее слезы или же лепилась улыбка, как же глубоко чувствовала она эмоциональные созвучия любой данной пьесы, ибо, в отличие от Фергусона, с самого раннего детства ее дрессировали, и она хорошо умела играть на фортепиано, и у нее было отличное сопрано, до того прекрасное, что она нарушила свой обет не участвовать ни в каких мероприятиях старших классов и посреди первого семестра записалась в хор, вот тут-то и залегала, возможно, самая великая их связь, нужда в музыке, пропитывавшая насквозь их тела, которая на том рубеже их жизни ничем не отличалась от нужды обрести способ существовать в мире.

Восхищаться в ней можно стольким, чувствовал он, столько в ней можно любить, однако Фергусон никогда не обманывался и не считал, что сумеет за нее удержаться, по меньшей мере – дольше следующих нескольких месяцев, или недель, или дней. Прямо с самого начала, с первых же мгновений его зарождавшейся влюбленности ощущал он, что у нее чувства не так сильны, как у него, и сколь бы, казалось, он ей ни нравился, как ни наслаждалась она, похоже, его телом и его пластинками и тем, как он с нею разговаривает, ему суждено было любить

больше, чем быть любимым в ответ, и не прошло и месяца после их первого поцелуя, он понял, что ему придется играть по ее правилам – а иначе рисковать тем, что вообще с нею не будет. Больше всего бесила его ее непоследовательность, то, насколько часто нарушала она обещания, как часто забывала то, что он ей говорил, до чего часто отказывалась в последнюю минуту от свиданий, говоря ему, что неважно себя чувствует, или что неприятности дома, или что она думала, будто они встречаются в субботу, а не в пятницу. Иногда ему становилось интересно, есть ли там другой мальчик, или несколько мальчиков, или мальчик в Бельгии, но по наблюдениям ничего этого понять не было возможно, поскольку первым правилом, какого она требовала придерживаться, был запрет на любые прилюдные проявления нежности, а это значило, что средняя школа Монклера находилась под запретом, даже если тропки их пересекались в классах, коридорах и столовой, им следовало делать вид, будто они вовсе не вместе: они могли только кивнуть, сказать друг другу привет и беседовать, как будто они шапочные знакомые, но ни при каких условиях не разрешалось им целоваться или братья за руки, что было нормальным поведением для любых других постоянных парочек в школе, и если то была игра, в которую ей хотелось с ним играть, кто знает, возможно, она в нее играет и с кем-нибудь другим? Фергусон чувствовал себя глупо от того, что согласился на такую нелепую сделку, но жил он тогда в некоей одержимой завороченности, и мысль о том, что Анн-Мари можно потерять, была гораздо хуже унижения от того, что он притворяется не тем, кто он есть на самом деле. И все же они продолжали видаться, и то время, что они проводили вместе, казалось, течет гладко, он, бывая с нею, чувствовал себя счастливее всего и самым что ни есть живым, а какие стычки или размолвки бы у них ни случались, все они, такое ощущение, неизменно происходили по телефону – в этом странном инструменте бестелесных голосов, каждый незрим для другого, когда разговаривают по проводам, бегущим от его дома к ее, и когда и если он заставлял ее в неудачный миг, то часто ловил себя на том, что слушает капризную, упрямую, невозможную персону, кого-то совершенно не похожего на ту Анн-Мари, которую, как Фергусон считал, он знает. Самый печальный, самый обескураживающий из таких разговоров случился у них в середине марта. После месяца проб в бейсбольную команду средней школы, вытерпев еженедельные вывески фамилий на доске объявлений в раздевалке, тревожного поиска своего имени в медленно сокращавшемся списке игроков, переживших последнюю отсечку, он позвонил сказать ей, что вывесили последний список и он – один из всего двух десятиклассников, попавших в команду старших классов. Долгое молчание на другом конце провода, которое Фергусон нарушил, сказав: Я просто хотел поделиться с тобой хорошей новостью. Еще одна пауза. А затем – ее отклик, произнесенный ровным, холодным голосом: Хорошая новость? С чего ты взял, будто я считаю это хорошей новостью? Я терпеть не могу спорт. Особенно бейсбол – он самая тупая игра, которую когда-либо изобрели. Пустая, детская и скучная, и с чего бы такому умному человеку, как ты, хотелось тратить свое время на то, чтоб бегать по полю со стадом кретинов? Пора взрослеть, Арчи. Ты уже больше не ребенок.

Фергусон не знал вот чего: когда Анн-Мари произносила эти слова, она была пьяна, как случилось и еще несколько других раз при их недавних беседах по телефону, уже несколько месяцев она украдкой проносила к себе в комнату бутылки с водкой и пила, пока родителей не было дома, устраивала долгие сольные запои, высвобождавшие в ней бесов и превращавшие ее язык в орудие жестокости. Трезвая, благонравная, разумная при свете дня девочка исчезала, когда оставалась ночью одна у себя в комнате, а поскольку Фергусон и в глаза эту другую личность не видывал, только разговаривал с нею и слушал ее сердитые, полупропеченные заявления, то и понятия не имел, что происходит, даже близко не знал, что первая любовь всей его жизни устремляется к надлому.

Тот последний разговор состоялся у них в четверг, и Фергусона так раздосадовали и ошеломили ее враждебные обвинения, что он почти обрадовался, когда наутро она не пришла в школу. Ему требовалось время все обдумать, сказал он себе, и, если не видеть ее в тот день,

ему будет не так трудно оправиться от той боли, какую она ему причинила. Подавляя в себе порыв позвонить ей после школы в пятницу, он вышел из дому, едва бросив учебники, и отправился дальше по кварталу навестить Бобби Джорджа – второго десятиклассника, который попал в команду, дородного, толстошеего Бобби, ныне – перворазрядного принимающего и чемпиона дуракавалянья, одного из тех кретинов в стаде, с которыми Фергусону вскоре предстояло играть. В итоге они с Бобби весь вечер провели с другими бейсбольными крестинами, своими однокашниками, попавшими в команду старших классов, и когда Фергусон вошел к себе домой за несколько минут до полуночи, звонить Анн-Мари было уже поздно. В субботу и воскресенье он тоже сдерживался, отбиваясь от соблазна набрать ее номер тем, что держался от телефонов подальше, решившись не сдаваться, мучительно желая сдаться, отчаянно стремясь услышать ее голос вновь. В понедельник утром он проснулся полностью излечившимся, злоба изгнана у него из сердца, он был готов простить ее за необъяснимый выплеск в четверг, но потом пришел в школу – и Анн-Мари не было снова. Он прикинул, что у нее, должно быть, простуда или грипп, ничего серьезного, но теперь, раз он даровал себе право с нею поговорить, в обеденную перемену он набрал номер ее дома из платного телефона у входа в школьную столовую. Никто не ответил. Десять звонков – и никто не отвечает. Надеясь, что просто набрал не тот номер, он повесил трубку и попробовал еще разок. Двадцать звонков – и нет ответа.

Он упорно звонил ей два дня, с каждой неудачной попыткой ее застать паника его возрастала, а еще больше сбивал его с толку необъяснимо пустой, судя по всему, дом, телефон, который все звонил и звонил, но никто не снимал трубку, что же такое тут происходит, спрашивал он себя, куда все подевались, и потому в четверг спозаранку, до первого звонка на уроки добрых полтора часа, он дошел до дома Дюмартенов на другом краю городка – большого дома со щипцами, с громадной лужайкой, на одной из самых элегантных улиц Монклера, Улице Особняков, как ее называл Фергусон, когда был маленький, и, хотя Анн-Мари упорно не подпускала его сюда, потому что не хотела, чтобы он знакомился с ее родителями, у него теперь не было выбора – только прийти сюда, чтобы решить загадку молчащего телефона, что, в свою очередь, может помочь ему решить загадку того, что с нею произошло.

Он позвонил в дверь и стал ждать – и ждал довольно долго, пока не пришел к выводу, что никого нет дома, затем позвонил еще раз, и едва собрался повернуться и уже уйти, как дверь открылась. Перед ним стоял человек, мужчина, который явно был отцом Анн-Мари – то же круглое лицо, тот же подбородок, те же серо-голубые глаза, – и хотя сейчас было всего двадцать минут восьмого утра, он уже был полностью одет, на нем ловко сидел темно-синий дипломатический костюм, накрахмаленная белая рубашка и красный галстук в полоску, щеки гладкие после раннеутреннего бритья, у головы витает аромат одеколона, а голова вполне симпатичная, решил Фергусон, хоть и несколько усталые глаза, быть может, или же в глазах этих взгляд какой-то хлопотливый, рассеянный, меланхоличный взгляд, какой Фергусон считал отчего-то трогательным, нет – не вполне трогательным, *неотразимым*, вне всяких сомнений, поскольку то было лицо, принадлежавшее отцу Анн-Мари.

Да?

Извините, сказал Фергусон, я понимаю, что сейчас довольно рано, но я друг Анн-Мари из школы и последние несколько дней звонил сюда, хотел узнать, все ли с ней в порядке, но тут никто никогда не снимает трубку, поэтому я встревожился и пришел вот выяснить.

А вы будете?

Арчи. Арчи Фергусон.

Объяснение простое, мистер Фергусон. Телефон сломался. Ужасное неудобство для всех нас, но меня заверили, что сегодня придет мастер и все починит.

А Анн-Мари?

Ей нездоровится.

Ничего серьезного, надеюсь.

Нет, я уверен, что все будет хорошо, но теперь ей нужно отдохнуть.

Мне можно будет ее навестить?

Извините. Если вы дадите мне свой номер, я передам ей, и она вам позвонит, как только ей станет немного лучше.

Спасибо. У нее уже есть мой номер.

Хорошо. Я скажу ей, чтобы вам позвонила. (*Краткая пауза.*) Напомните мне только, как вас зовут. У меня, кажется, выскочило из головы.

Фергусон. Арчи Фергусон.

Фергусон.

Да-да. И пожалуйста, передайте Анн-Мари, что я о ней думаю.

На том и завершилась одна-единственная встреча Фергусона с отцом Анн-Мари, и, едва дверь закрылась и сам он двинулся к улице, ему стало интересно, не забудет ли мистер Дюмартен его имя снова, либо он попросту забудет передать Анн-Мари, чтобы ему перезвонила, или не скажет ей, чтобы позвонила, намеренно, пусть и не забудет его имени, поскольку такова работа отцов повсюду на свете – оберегать своих дочерей от мальчиков, *которые о них думают*.

После этого – молчание и четыре долгих дня пустоты. У Фергусона было такое чувство, точно кто-то связал его и спихнул с лодки, и, пойдя ко дну озерца, которое обязательно было большим озером, никак не уже и не мельче озера Мичиган, он задерживает под водой дыхание, четыре долгих дня среди мертвых тел и ржавых избирательных урн, не дыша, и к вечеру воскресенья легкие его уже готовы были лопнуть, лопнуть была готова и голова – и он наконец нашел в себе мужество снять трубку, и мгновение спустя после того, как набрал номер Дюмартепов, – вот она. Какое счастье, сказала она, так рада его слышать, судя по голосу – не шутит, объяснив, что три раза звонила ему с утра (что могло быть правдой, поскольку он с родителями ходил играть в теннис), а потом начала рассказывать ему о водке, о месяцах тайного пьянства у себя в комнате, что достигли высшей точки в последнем запое вечером в четверг, в тот последний вечер, когда они разговаривали, и закончился он тем, что она отключилась прямо на полу, а когда ее отец и мачеха вернулись домой после своего званого ужина в Нью-Йорке в половине двенадцатого, они увидели, что дверь в ее спальню открыта и внутри горит свет, поэтому они вошли и обнаружили ее, а раз не смогли ее разбудить, а бутылка была пуста, они вызвали «скорую», чтобы отвезла ее в больницу, где ей промыли желудок, и она пришла в себя, но домой наутро ее отпускать не стали, а перевели в психиатрическое отделение, где ей три дня врачи устраивали проверки и допрашивали ее, а теперь, раз ей поставили диагноз «маниакальная депрессия», для лечения которой требуется длительная психотерапия, отец ее решил, что ей следует вернуться в Бельгию как можно скорее, чего ей на самом деле и надо, сбежать от ее кошмарной мачехи, положить конец ее ссылке в кошмарной Америке, которая на самом деле, несомненно, и вынудила ее начать пить, и вот теперь она станет жить с сестрой своей матери в Брюсселе, с ее любимой тетей Кристиной, а это значит, что она снова будет со своими братьями и кузенами и старыми друзьями, она так счастлива, такой счастливой она уже давно не бывала.

После он видел ее всего только раз, прощальное свидание в среду, событие исключительное среди учебной недели, какое позволила его мать, ибо знала, до чего это для него важно, даже дала ему лишних денег на такси (первый и единственный раз, когда такое случилось), чтобы ему и его *бельгийской девочке* не пришлось терпеть унижение того, что их станет возить кто-либо из его родителей, что лишь подчеркнуло бы, насколько он еще мал, а с каких это пор кто-либо в таких юных годах бывал серьезно влюблен? Да, мать продолжала понимать его, по крайней мере – многое важное в нем, и он был ей благодарен за это, но все равно тот последний вечер с Анн-Мари оказался для Фергусона делом жалким и неуклюжим, тщетным упражнением в поддержании собственного достоинства, в обуздывании своего горя, чтобы не умолять и не плакать, чтоб не сказать ей ничего жесткого из озлобленности или разочарования, но как

же не помнить всю встречу напролет, что это конец, что больше он ее никогда не увидит, а еще хуже то, что в тот вечер она была лучше некуда, такой теплой, такой неумеренной во всем, что говорила о нем, *мой чудесный Арчи, мой прекрасный Арчи, мой блистательный Арчи*, каждое доброе слово, казалось, описывает кого-то, кого здесь нет, мертвую личность, то были слова, уместные в прощальной речи на похоронах, а еще хуже была ее непривычная бодрость, та радость, какую он видел у нее во взгляде, когда заговаривала она о том, что уезжает, ни разу не остановившись задуматься, что уезжать – это оставлять его позади *уже послезавтра*, как вдруг она уже смеялась и велела ему не беспокоиться, скоро они увидятся вновь, он приедет в Брюссель и проведет с нею лето, как будто его родителям по карману отправить его на самолете в Европу, им, кто ни разу даже в Калифорнию не съездил навестить тетю Мильдред и дядю Генри за все те годы, что они там живут, а затем она принималась говорить что-то еще менее постижимое и ранившее его, сидя на скамейке в парке, где они впервые поцеловались в октябре и теперь целовались снова в свой последний вечер вместе в марте, говорила, что, может, ему еще и повезло, что она уезжает, что у нее в голове такой кавардак, а он такой нормальный и заслуживает быть со здоровой нормальной девчонкой, а не с больной и чокнутой, как она, и с того мига до момента, когда он высадил ее у ее дома двадцать минут спустя, ему было так грустно, как больше никогда и не бывало во всей его отвратительно нормальной жизни.

Через неделю он написал ей письмо на девяти страницах и послал на теткин адрес в Брюссель. Еще через неделю – на шести страницах. Через три недели после него – письмо на двух страницах. Через месяц – открытку. Ни на одно послание она не ответила, и к тому времени, как школу распустили на лето, он понял, что никогда больше писать ей не будет.

Правда была в том, что здоровые, нормальные девчонки его не интересовали. Жизнь в предместьях и без того была скучна, а беда со здоровыми, нормальными девчонками в том, что они напоминали ему о предместьях, что, на его вкус, стало чересчур уж предсказуемым, последнее же, чего ему хотелось, – это быть с предсказуемой девчонкой. Каковы б ни были недостатки Анн-Мари, сколько б мук она ему ни причинила, она была хотя бы полна сюрпризов, от нее, по крайней мере, сердце его билось от затянувшейся неопределенности, а теперь, раз ее больше не было, все опять стало скучным и предсказуемым, угнетало еще больше, чем до того, как она вошла в его жизнь. Он знал, что в этом она не виновата, но не мог не ощущать себя преданным. Она его бросила, и отныне либо придется довольствоваться кретинами, либо следующие два года жить в одиночном заключении, а потом он сможет сбежать из этого места и никогда больше сюда не возвращаться.

Теперь ему было шестнадцать, и все лето он проработал на своего отца, а по вечерам играл в бейсбол, всегда только в бейсбол, по-прежнему и вечно в бейсбол, что, вне всяких сомнений, занятием было бессмысленным, но продолжало приносить ему слишком много наслаждения – о том, чтоб его бросить, и мыслей даже не было, теперь играл он в лиге старшекласников и студентов колледжей со всего округа, лига эта была жесткая и конкурентная, но в первом году игры в команде старшекласников он проявил себя неплохо – начал третьим игроком на базе и хиттером номер пять, со средним баллом .312 для хорошей команды, лучшей в Конференции Большой десятки, и бил он теперь с большей силой, поскольку продолжал расти, пять-одиннадцать при последнем замере, 174 фунта в последний раз, когда вставал на весы, и потому играл он в то лето, чтобы не утратить хватки, а утра и дни работал на отца, главным образом – ездил по городку в фургоне, доставляя и устанавливая кондиционеры воздуха вместе с парнем по имени Эд, а если доставлять было нечего, он помогал Майку Антонелли торговать в лавке, или же подменял Майку, когда тот уходил на свои частые перерывы попить кофе в «Столовку Ала», а если в лавке не было посетителей, он скрывался в задней комнате и сидел там с отцом, пока кто-нибудь не объявлялся, его почти пятидесятилетний отец, по-прежнему поджарый и сухощавый, все так же не отлипал от своего верстака и чинил сломанные

машины, его отгороженный и молчаливый отец, теперь уже почти безмятежный, проведя шесть лет в спокойствии этой задней комнаты, и пока Фергусон неизменно предлагал ему помочь с ремонтом, хоть и был неуклюж и неумел во всем, что касалось машин, отец его всегда от него отмахивался, утверждая, что его сын не должен тратить свое время на сломанные тостеры, он движется по пути, что приведет его к гораздо более великим делам, а если ему хочется принести какую-то пользу, то пускай притащит что-нибудь из тех книжек со стихами, которые у него дома лежат, да почитает вслух, пока старик его разбирается со сломанными тостерами, и вот так и вышло, что Фергусон, поглотивший за последние полтора года громадные количества поэзии, часть того лета провел за чтением своему отцу вслух в задней комнате «ТВ и радио Станли» – Дикинсон, Гопкинса, По, Уитмена, Фроста, Элиота, Каммингса, Паунда, Стивенса, Вильямса и других, но стихотворение, которое, похоже, нравилось его отцу больше всего, то, которое, казалось, произвело на него самое сильное впечатление, было «Любовной песнью Дж. Альфреда Пруфрока», что Фергусона напугало, а поскольку к такой реакции он был неподготовлен, понял, что упустил что-то, он что-то упускал уже давно, а это значило, что ему придется заново обдумать все, что он прежде подразумевал про своего отца, ибо, как только дочитал он последнюю строку: *И к жизни пробуждаемся, и тонем*<sup>11</sup>, – отец повернулся к нему и заглянул ему в глаза, и посмотрел с такой силой, какой Фергусон никогда не видел за все годы их с отцом знакомства, а после долгой паузы произнес: Ох, Арчи. Какая великолепная штука. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. И затем отец его три раза качнул головой взад и вперед и вновь повторил последние слова: *И к жизни пробуждаемся, и тонем*.

Последняя неделя лета. Двадцать восьмое августа и Марш на Вашингтон, речи на Аллее, огромные толпы, десятки тысяч, сотни тысяч, а потом – речь, которую школьникам потом придется учить наизусть, речь всех речей, в тот день такая же важная, каким было Геттисбергское обращение в свой день, великое американское мгновение, публичный миг, какой видят и слышат все, даже еще важнее слов, произнесенных Кеннеди на своей инаугурации тридцатью двумя месяцами раньше, и в «ТВ и радио Станли» все встали в торговом зале и смотрели передачу, Фергусон и его отец, толстопузый Майк и тщедушный Эд, а потом вошла и мать Фергусона вместе с пятью-шестью прохожими, которым случилось идти мимо, но перед главной речью было несколько других, и среди них – обращение местного нью-джерсейца, ребе Иоахима Принца, еврея, вызывавшего наибольшее восхищение в Фергусоновой части света, героя его родителей, хоть они и не практиковали свою религию и не принадлежали ни к какой синагоге, но все трое Фергусонов видели его и слышали, как он выступает на свадьбах, похоронах и бар-мицах в храме, которым управлял в Ньюарке, знаменитый Иоахим Принц, который молодым ребе в Берлине осуждал Гитлера, когда нацисты еще не успели прийти к власти в 1933-м, который видел будущее отчетливее, чем кто бы то ни было еще, и побуждал евреев уезжать из Германии, что снова и снова приводило к его арестам гестапо и закончилось его собственным изгнанием в 1937-м, и он, разумеется, стал активистом американского движения за гражданские права, и, конечно же, его выбрали в тот день представлять евреев – из-за его красноречия и подробно увековеченного мужества, и родители Фергусона, само собой, им гордились, они, жавшие ему руку и разговаривавшие с ним, человеком, который стоял теперь перед камерой и обращался к нации, ко всему миру, и тут на помост вышел Кинг, и через тридцать или сорок секунд после того, как началась его речь, Фергусон посмотрел на мать и увидел, что глаза у нее блестят от слез, и это сильно его развлекло – не потому, что он считал, будто ей неуместно так на эту речь реагировать, а именно из-за того, что он так не считал, потому что перед ним был еще один пример того, как она взаимодействовала с миром, ее чрезмерного, зачастую сентиментального прочтения событий, тех порывов чувств, какие делали ее столь плаксивой на скверных голливудских фильмах, того добродушного оптимизма, что

<sup>11</sup> Пер. А. Сергеева.

иногда приводил к затуманенному мышлению и сокрушительным разочарованиям, а потом он перевел взгляд на своего отца, человека почти полностью безразличного к политике, кто, казалось, от жизни требовал гораздо меньшего, нежели требовала мать, и заметил в глазах отца сочетание неотчетливого любопытства и скуки, а ведь этого же человека так тронула унылая обреченность стихотворения Элиота, но вот полный надежд идеализм Мартина Лютера Кинга ему проглотить было трудно, и пока Фергусон слушал, как в голосе проповедника нарастает эмоциональность, как барабанной дробью повторяется слово *мечта*, – недоумевал, как две такие несовместимые души могли жениться друг на друге и остаться женатыми столько лет, как сам он мог родиться у такой пары, как Роза Адлер и Станли Фергусон, и до чего странно, до чего глубоко странно вообще быть живым.

На День труда к ним домой пришло человек двадцать – на барбекю в честь конца лета. Родители его редко устраивали такие крупные сборища, но двумя неделями раньше его мать выиграла конкурс фотографии, который финансировал новый совет губернатора по искусству в Трентоне. К награде прилагался заказ на альбом фотографий сотни *выдающихся граждан Нью-Джерси* – для этого проекта ей придется ездить по всему штату и снимать градоначальников, президентов колледжей, ученых, предпринимателей, художников, писателей, музыкантов и спортсменов, а поскольку работа эта будет хорошо оплачиваться, и родители Фергусона чувствовали себя зажиточными впервые за много лет, они и решили отпраздновать это кутежом с жареным мясом на заднем дворе. Собралась обычная публика: Соломоны, Бронштейны, Джорджи из дома дальше по кварталу, прародители Фергусона и его двоюродная бабушка Перл – но пришел и кое-кто другой, среди них – семейство из Нью-Йорка по фамилии Шнейдерманы, состоявшее из сорокапятилетнего коммерческого художника по имени Даниэль, младшего сына бывшего начальника Фергусоновой матери Эмануэля Шнейдермана, который жил теперь в доме престарелых в Бронксе, жены Даниэля Лиз и их шестнадцатилетней дочери Эми. Утром этого праздника в честь Дня труда, пока Фергусон и его родители рубили в кухне овощи и готовили соус к барбекю, мать сказала ему, что они с Эми были знакомы совсем маленькими детьми и несколько раз играли вместе, но она как-то перестала общаться со Шнейдерманами, с календаря споркнуло двенадцать лет, а затем, пару недель назад, навещая своих родителей в Нью-Йорке, она столкнулась с Даном и Лиз на Южной Центрального парка. Оттого и пригласила их. Оттого Шнейдерманы впервые в жизни приедут в Монклер.

Мать его продолжала: Судя по выражению твоих глаз, Арчи, я понимаю, что Эми ты забыл, но, когда вам было по три и четыре года, ты в нее был довольно сильно влюблен. Однажды мы все поехали домой к Шнейдерманам на воскресный ужин, и вы с Эми ушли к ней в комнату у них в квартире, закрыли дверь и сняли с себя всю одежду. Ты этого даже не помнишь, правда? Взрослые по-прежнему сидели за столом, как вдруг слышим – вы там хихикаете, визжите от хохота просто, издаете эти дикие, необузданные звуки, на какие способны только маленькие дети, и вот мы все встали и пошли посмотреть, в чем там дело. Дан открывает дверь – а там вы, вдвоем, всего три с половиной или четыре годика вам, скачете по кровати совершенно голые и визжите так, что уши закладывает, – как пара чокнутых личностей. Лиз окаменела от ужаса, а мне показалось, что это очень смешно. У тебя был такой восторг на лице написан, Арчи, да и вообще вид двух маленьких тел, скачущих вверх-вниз, вся комната полна дикарской радостью, полоумные человечьи детеныши ведут себя, как шимпанзе, – невозможно же было не расхохотаться. Твой отец и Даниэль тоже рассмеялись оба, насколько мне помнится, а вот Лиз ворвалась в комнату и приказала вам с Эми одеться. Сейчас же. Знаешь же это голос разгневанной матери. *Сейчас же!* Но не успели вы еще надеть ничего на себя, как Эми произнесла такое, смешнее чего я никогда не слышала. Мапочка, сказала она, вся уже серьезная и очень задумчивая, показывая пальчиком прямо на твои причиндалы, а затем на свои, мамочка, а почему Арчи такой шикарный тут, а я такая обычная?



Мать Фергусона рассмеялась, и смеялась она сильно и долго от воспоминания о тех словах, а вот Фергусон лишь улыбнулся – слабое подобие улыбки, быстро исчезнувшее у него с лица, ибо мало что приносило ему меньше удовольствия, чем выслушивать об идиотских проказах его раннего детства. Своей все еще смеявшейся матери он сказал: Тебе нравится меня дразнить, правда?

Ну, изредка, ответила она. Не так часто, Арчи, но порой мне просто бывает трудно устоять.

Через час Фергусон вышел во двор с книгой, которую тогда читал – «Путешествие на край ночи», – и сел в адирондакское кресло из тех, какие они с отцом перекрасили в начале лета в темно-зеленый, темный темно-зеленый, но книгу открывать не стал и, вместо того чтобы узнавать что-нибудь еще о похождениях Фердинанда на заводе «Форд-Мотор» в Детройте, просто сидел и думал, дожидаясь приезда первых гостей, удивляясь, что некогда куролесил на кровати с голой девочкой, что сам некогда был гол, пока куролесил с голой девочкой, и до чего это комично, что у него не осталось об этом совершенно никаких воспоминаний, хотя вот нынче он бы отдал чуть ли не все на свете, чтоб только оказаться с голой девочкой, оказаться голым в постели с голой девочкой было единственным по-настоящему важным стремлением в его одинокой жизни без любви, ни единого поцелуя или объятия больше чем за пять месяцев, сказал он себе, вся весна и почти все лето тоски по отсутствующей, полуобнаженной Анн-Мари Дюмартен, и вот сейчас он встретится с забытой голой девочкой из своего далекого прошлого, Эми Шнейдерман, а она, несомненно, выросла и стала нормальной, здоровой девочкой, скучной и предсказуемой, как большинство девчонок, как большинство мальчишек, как большинство мужчин и женщин, но что уж тут поделать, и, учитывая, что с нею он еще даже не повстречался, ему просто придется увидеть то, что он увидит.

А увидел он в тот день личность, которая стала его *следующей*, правопреемницей короны его желаний, девушку ни нормальную, ни ненормальную, которая вся пылала, ничего не боясь, сознавая исключительность того, с чем родилась, а через несколько недель после их первой встречи, когда лето уже растворилось в осени и мир вокруг них вдруг потемнел, она стала еще и *первой*, а это означало, что голая Эми Шнейдерман и голый Арчи Фергусон уже не прыгали по кровати, а лежали на ней, катались под одеялом, и многие годы после она продолжала дарить ему величайшие радости и величайшие муки его юной жизни, быть той необходимой другой, которая поселилась у него под кожей.

Но вернемся в тот понедельник в сентябре 1963-го, на барбекю в честь Дня труда на заднем дворе Фергусонов и к тому первому взгляду, какой он бросил на нее, когда она вышла из синего «шевроле» своих родителей: из задней дверцы появилась голова со светло-каштановыми волосами, а затем – удивительный факт, до чего высокого она роста, по меньшей мере пять-восемь, может, и пять-девять, крупная девушка со впечатляюще симпатичным лицом, не хорошенькая или красивая, а именно ладная, крепкий нос, упрямый подбородок, большие глаза по-прежнему неопределенного цвета, телосложения ни крупного, ни щуплого, мелковатые груди под синей блузкой с короткими рукавами, длинные ноги, круглая попа, обтянутая узкими рыжеватыми брючками, – и странноватая походка вприпрыжку: тело слегка подается вперед, словно ему не терпится вперед покатиться, походка сорванца, предположил он, но приятная и необычная, дает понять, что с нею нужно считаться, что она – девушка, отличная от прочих шестнадцатилетних девушек, поскольку держится без малейшего следа робости. Мать его взяла на себя представления, пожать руку ее матери (слегка напряженно, краткая улыбка), пожать руку отцу (расслабленно, дружелюбно), а не успел он пожать руку Эми, как ощутил, что Лиз Шнейдерман к его матери не расположена, потому что Лиз подозревает, будто ее муж наполовину в нее влюблен, что могло бы оказаться правдой, учитывая затянувшееся приветственное объятие, каким Шнейдерман наделил все еще красивую сорокаоднолетнюю Розу, и вот Фергусон пожимает руку Эми, длинную и примечательно изящную руку, сознавая, что

глаза у нее темно-зеленые, с крапинками карего внутри, наблюдая, когда она улыбается, что зубы великоваты для такого рта, чуть больше, чем нужно, а потому привлекают взгляд, – и следом он впервые услышал ее голос: *Привет, Арчи*, – и в тот же миг понял, узнал вне всяких сомнений, что им суждено стать друзьями, а это допущение нелепое, конечно, ибо как он вообще мог что-то знать в тот миг, но вот поди ж ты, чувство, чутье, уверенность в том, что сейчас происходит нечто важное и что они с Эми Шнейдерман вот-вот вместе отправятся в долгое путешествие.

В тот день там был Бобби Джордж вместе со своим братом Карлом, который готовился начать предвыпускной год в Дартмуте, но Фергусон не испытывал желания разговаривать ни с тем, ни с другим – ни со смышленным Карлом, ни с безмозглым шутником Бобби. Хотелось ему быть только с Эми, единственным другим молодым существом на вечеринке, и потому через сорок пять секунд после их рукопожатия, лишь бы исхитриться и не делить ее с кем бы то ни было еще, он стратегически пригласил ее к себе в комнату. То было несколько порывистое действие, быть может, но она приняла приглашение согласным кивком, сказав: *Хорошая мысль, пошли*, – и они поднялись в убежище Фергусона на втором этаже, которое не было уже святилищем Кеннеди, а его целиком забивали книги и пластинки, столько книг и пластинок, что переполненные полки больше не выдерживали всего их собрания, которое продолжало расти стопками у стены, ближе к кровати, и ему пришлось по нраву, как Эми опять кивнула, войдя в комнату, словно бы говоря ему, что одобряет увиденное, десятки освященных имен и почитаемых произведений, которые она затем взялась изучать пристальнее, показывая на одно и говоря: *Чертovski хорошая книга*, – показывая на другое и говоря: *Эту я еще не читала*, – показывая на что-то третье и говоря: *Никогда про него не слыхала*, – но совсем вскоре она уселась на пол у кровати, отчего Фергусону тоже пришлось сесть на пол, лицом к лицу с нею на расстоянии в три фута, откинувшись спиной на ящики письменного стола, и следующие полтора часа они разговаривали, а прекратили, только когда кто-то постучал в дверь и объявил, что еда на заднем дворе готова, отчего им ненадолго пришлось спуститься ко всем остальным, пока ели гамбургеры и пили запретное пиво на виду у родителей, которые, все четверо, даже глазом не моргнули от такого попрания закона, а затем Эми сунула руку к себе в сумочку, вытащила пачку «Лаки» и закурила перед родителями – которые снова даже не моргнули, – пояснив, что много она не курит, но после еды вкус табака ей нравится, а как только с едой и сигаретой покончили, Фергусон и Эми откланялись и подались на медленную прогулку по окрестному району, пока садилось солнце, и в итоге очутились на скамейке в том же самом парке, где он в последний раз поцеловал Анн-Мари перед тем, как она исчезла, и вскоре после того, как Фергусон и Эми условились увидеться опять в Нью-Йорке в субботу того же месяца, они тоже начали целоваться, незапланированный, спонтанный рывок, когда один рот присосался ко второму, восхитительные слюни трепетавших языков и стукавшихся зубов, мгновенное возбуждение в неугомонных нижних областях их уже половозрелых тел, целоваться с таким самозабвением, что могли б и сожрать друг дружку, если б Эми вдруг не отстранилась от него и не расхохоталась, выплеском бездыханного, изумленного хохота, от которого Фергусон вскоре захохотал и сам. Ну и ну, Арчи, сказала она. Если мы сейчас же не остановимся, через две минуты мы сорвем друг с дружки одежду. Она встала и протянула ему правую руку. Пойдем, полоумный, вернемся к дому.

Они были ровесники или почти ровесники, двести месяцев против ста девяти восьми месяцев, но, поскольку Эми родилась в конце 1946-го (29 декабря), а Фергусон в начале 1947-го (3 марта), она его на целый год опережала в школе, а это значило, что у нее начинался выпускной класс в Хантере, он же еще застрял в окопах презренного предвыпускного. Колледж на том рубеже был для него не более чем туманным где-то, далекой точкой назначения, которой еще только предстояло дать имя, а вот Эми уже большую часть года изучала карты и чуть ли не собирала вещи. Она подается в несколько школ, сказала Эми. Все утверждали, что ей

понадобятся запасные варианты, вторые и третьи, но первым ее выбором был Барнард, вообще-то был он ее единственным выбором, поскольку то был лучший колледж в Нью-Йорке, полностью-девический близнец полностью-мальчишеской Колумбии, и целью номер один было остаться в Нью-Йорке.

Но ты же прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь, сказал Фергусон. Разве тебе не хотелось бы попробовать какое-нибудь другое место?

Я бывала в других местах, сказала она, во множестве других мест, и все они называются Скуксити. Ты когда-нибудь бывал в Бостоне или Чикаго?

Нет.

Скуксити Один и Скуксити Два. Л.-А.?

Нет.

Скуксити Три.

Ладно. Ну а школы где-нибудь в деревне? Корнелл, Смит, где-нибудь там. Зеленые лужайки и гулкие плацы, постижение знаний в сельской обстановке.

Джозеф Корнелл гений, а братья Смит производят отличные карамельки от кашля, но морозить жопу четыре года в Глухоманском универе – не мой вариант веселья. Нет, Арчи, Нью-Йорк – *самое то*. Другого места нет.

Когда они обменялись этими словами, он знал ее от силы десять минут, и, покуда Фергусон слушал, как Эми защищает Нью-Йорк, объявляет о своей любви к Нью-Йорку, ему пришло в голову, что и сама она – некое воплощение своего города, не только в этой своей уверенности и быстроте ума, но и – и особенно – в голосе, голосе башковитых еврейских девочек из Бруклина, Квинса и Верхнего Вест-Сайда, голосе нью-йоркских евреев в третьем поколении, в смысле – второго поколения евреев, родившихся в Америке, у которого музыка была слегка отличной от голоса нью-йоркских ирландцев, к примеру, или нью-йоркских итальянцев, одновременно приземленного, изощренного и наглого, с тем же отвращением к жестким *p*, но более точного и выразительного в артикуляции, и чем больше он сам привыкал к такой артикуляции, тем больше хотелось ему и дальше ее слышать, поскольку голос Шнейдерман выражал для него все, что не было предместьями, не было его жизнью в том виде, в каком она сейчас существовала, а значит – обещал побег в возможное будущее, ну или хотя бы в настоящее, населенное этим возможным будущим, и пока он сидел в комнате с Эми, а потом шел с нею по улицам, беседовали они о чем угодно, главным образом – об американских горках того лета, что началось с убийства Медгара Эверса и закончилось речью Мартина Лютера Кинга, о нескончаемой путанице ужаса и надежды, что, казалось, определяет весь американский ландшафт, а также о книгах и пластинках на полках и полу Фергусоновой комнаты и, ясное дело, о школе, тестах на проверку академических способностей и даже о бейсболе, но вот одного вопроса он ей не задал, был полон решимости во что бы то ни стало воздержаться от него: есть ли у нее парень, ибо он уже решил сделать все, что будет в его силах и власти, чтобы она стала его *следующей*, и у него не было никакого интереса знать, сколько соперников стоит у него на пути.

Пятнадцатого сентября, менее чем через две недели после барбекю в честь Дня труда, а значит – ровно за шесть дней до того, как они собирались снова встретиться в Нью-Йорке, она позвонила ему, а поскольку позвонила она ему и никому другому, он понял, что никакого парня в кадре нет, не нужно опасаться никакого соперника и что она теперь с ним точно так же, как и он – с ней. Знал он это потому, что она выбрала позвонить именно ему, услышав известие о взрыве черной церкви в Бирмингеме, Алабама, и убийстве четырех маленьких девочек в ней, еще один американский ужас, еще одна битва в расовой войне, охватившей весь Юг, как будто за Марш на Вашингтон, случившийся всего двумя с половиной неделями раньше, следовало отомстить бомбами и убийством, и Эми плакала в трубку, стараясь не плакать, пока пересказывала ему эту новость, и мало-помалу, пока она брала себя в руки, заговорила о том, что тут можно сделать, о том, что нужно делать, по ее мысли, не только о законах, принима-

емых политиками, но об армии людей, которая пойдет сражаться с фанатиками, и в армию эту она запишется первой, на следующий же день после того, как закончит школу, она поедет на попутках в Алабаму и станет работать за правое дело, отдавать свою кровь за правое дело, превратит это дело в главный смысл всей своей жизни. Это наша страна, сказала она, и мы не можем позволить всякой сволочи ее у нас украть.

Они увиделись в следующую субботу и встречались через субботу всю осень: Фергусон ездил на автобусе из Нью-Джерси на терминал Портоуправления, а потом ехал экспрессом МСП<sup>12</sup> на Западную Семьдесят вторую улицу, где выходил и шагал три квартала на север и два на запад до квартиры Шнейдерманов на углу Риверсайд-драйва и Семьдесят пятой улицы, Квартира 4Б – это был теперь самый важный адрес во всем городе Нью-Йорке. Разнообразные походы, почти всегда – только они вдвоем, порой с какими-нибудь подругами Эми, зарубежные фильмы в «Талии» на углу Бродвея и Девяносто пятой улицы, Годар, Куросава, Феллини, походы в «Мет», «Фрик», «Музей современного искусства», на «Ников» в «Гарден», на Баха в «Карнеги-Холл», на Беккета, Пинтера, Ионеско в маленькие театры в Виллидж, все так близко и доступно, и Эми всегда знала, куда пойти и что делать, принцесса-воительница Манхэттана учила его, как не заблудиться в ее городе, который быстро становился и его городом. Тем не менее, чем бы ни занимались они, что бы ни видели, лучше всего в те субботы было сидеть в кофейнях и разговаривать, первые раунды нескончаемого диалога, который будет длиться годами, беседы, что иногда превращались в ожесточенные перебранки, если различались их мнения, хорошо или плохо кино, которое только что посмотрели, хороша или плоха политическая мысль, какую кто-то из них только что высказал, но Фергусон был не против спорить с нею, легкая добыча его не интересовала – всякие дующиеся девочки-простофили, кому хотелось только того, что они воображали формальностями любви, – это была любовь настоящая, сложная, глубокая и достаточно гибкая, чтобы в ней находилось место страстным разногласиям, и как мог не любить он эту девушку с ее непреклонным, испытующим взглядом и невообразимым, громогласным хохотом, натянутую, как струна, и бесстрашную Эми Шнейдерман, которая однажды намеревалась стать военным корреспондентом, или революционером, или врачом, который работает с бедняками. Ей было шестнадцать лет, близилось семнадцатилетие. Чистый лист уже не вполне чист, но она еще была молода и потому понимала, что может стереть те слова, какие уже написаны на нем, стереть их и начать сызнова, когда б ни подвигнул ее к этому дух.

Поцелуи, разумеется. Само собой, объятья. Вместе с тем раздражающим фактом, что родители Эми днем и вечером по субботам имели привычку сидеть дома, что ограничивало им возможности оставаться наедине в квартире и приводило к обильным тисканиям на скамейках Риверсайд-парка в промозглую погоду, кое-какие выплески обжиманий украдкой случались в задних спальнях на вечеринках, которые устраивали подружки Эми, а дважды, всего дважды, в те два раза, когда ее родители-домоседы вечером куда-то ушли, представилась возможность заняться честным полуголым барахтаньем на кровати в комнате Эми, помеченной старым страхом, что вот-вот в худший из возможных моментов распахнется дверь. Досада от того, что они не полностью хозяева своей жизни, гормональные неистовства вновь и вновь расстраиваются из-за обстоятельств, – они двое по прошествии недель все больше и больше отчаивались. Затем, во вторник вечером в середине ноября, Эми позвонила с хорошим известием. Ее родители уедут через выходные из города на три дня в далекий Чикаго, навестить недужную мать ее матери, а поскольку ее старший брат Джим прилетит из Бостона только за день до Благодарения, квартира окажется в ее распоряжении, пока родителей не будет. Целые выходные, сказала она. Подумай только, Арчи. Целые выходные, и дома никого, кроме нас.

<sup>12</sup> Межрайонная скоростная система перевозок Нью-Йорка.

Он сказал родителям, что их с парочкой друзей пригласили домой к еще одному другу на побережье Джерси, ложь до того причудливая и бессмысленная, что ни один из них ничего не заподозрил, и когда в нужную пятницу он отправился в школу, казалось совершенно уместным, что у него с собой небольшая сумка с нужным для ночевки. План был отправиться в Нью-Йорк в ту же секунду, как в школе закончатся уроки, и если ему повезет успеть на первый автобус, в квартире у Эми он окажется к половине пятого или без четверти пять, а если на первый автобус он опоздает и придется ехать вторым, то – к половине шестого или без четверти шесть. Еще один скучный день в коридорах и классах Монклерской средней школы, взгляд не отлипает от часов, как будто Фергусон мог сдвинуть время одной лишь силой своих мыслей, считая минуты, считая часы, и тут, посреди дня – объявление по громкой связи, что в Далласе стреляли в президента, а чуть погодя – еще одно объявление, что президент Кеннеди скончался.

В считанные минуты вся школьная деятельность прекратилась. В тысяче пар рук возникли носовые платки и салфетки, по щекам всхлипывавших девчонок струйками побежала тушь, мальчишки ходили, качая головами или колотя воздух кулаками, девчонки обнимались, мальчишки обнимались с девчонками, учителя всхлипывали и обнимались, а прочие вокруг тупо смотрели в стены и на дверные ручки, и совсем немного погодя учащиеся уже собрались в спортзале и столовой, никто не знал толком, что делать, никто никем не руководил, все вражды и свары прекратились, никаких недругов больше не осталось, и тут в динамиках снова раздался голос директора и объявил, что школа распускается, все могут идти домой.

Человек будущего был мертв.

*Призрачный город.*

Все пошли по домам, а Фергусон нес свою сумку для ночевки и шел на автобусную остановку Монклера ждать автобуса на Нью-Йорк. Родителям он позвонит потом, а теперь домой он не пошел. Ему нужно было побыть немного одному, а потом ему следовало быть с Эми, и он останется с ней, как и планировал, на все выходные.

Два пути разошлись в призрачном городе, и будущее умерло.

Дождаясь автобуса, затем поднимаясь в него по ступенькам и ища себе место, усевшись в пятом ряду, а потом – слушая, как переключается передача, когда автобус отходил и направлялся в Нью-Йорк, затем катясь через тоннель, а женщина на сиденье за ним всхлипывала, а водитель разговаривал с пассажиром в первом ряду: *В голове не уместается, у меня, блядь, просто в голове не уместается*, – но уж у Фергусона-то уместалось, хоть и чувствовал себя он совершенно от себя отрешенным, парил где-то вне собственного тела, но в то же время ясно присутствовал в своей голове, полностью отчетливо, без всякой склонности разрыдаться, нет, для такого все это слишком уж велико, пусть женщина у него за спиной душераздирающе всхлипывает, вероятно, ей так лучше, а ему никогда лучше не будет, и потому у него нет права плакать, у него есть лишь право думать, пытаться понять, что происходит, вот это большое, не похожее ни на что, с ним когда-либо происходившее. Человек, беседовавший с водителем, сказал: *Мне это напоминает Перл-Харбор. Знаете, все спокойно и тихо, ленивое воскресное утро, люди по дому в пижамах бродят, и тут БАХ, мир взрывается, и мы вдруг на войне.* Неплохое сравнение, подумал Фергусон. Крупное событие, разодравшее сердцевину всего, изменившее жизнь всем, тот незабываемый миг, когда что-то заканчивается, а что-то другое начинается. Оно ли это и есть, спросил он себя, – мгновение, похожее на начало войны? Нет, не вполне. Война объявляет о начале новой действительности, а сегодня ничего не началось, действительность закончилась, вот и всё, у мира что-то отняли, и теперь в нем дыра, ничто в том месте, где раньше было нечто, как будто на свете пропали все деревья, как будто само понятие дерева – или горы, или луны – стерлось из человеческого ума.

Небо без луны.

Мир без деревьев.

Автобус заехал в терминал на углу Сороковой улицы и Восьмой авеню. Вместо того чтобы пройти подземными переходами на Седьмую авеню, как Фергусон делал обычно, когда приезжал в Нью-Йорк, он поднялся по лестнице и вышел в сумерки позднего ноября, прошагал на восток по Сорок второй улице, направляясь к своей станции подземки на Таймс-сквер, еще одно тело в толпе в самом начале часа пик, мертвые лица людей, спешащих по своим делам, всё то же самое, всё другое, и когда он поймал себя на том, что проталкивается сквозь стайки неподвижных прохожих, собравшиеся на мостовой, все смотрят вверх, на поток высвеченных букв, опоясывающих высокое здание перед собой: ДЖ-Ф-К ЗАСТРЕЛЕН НАСМЕРТЬ В ДАЛ-ЛАСЕ – ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРИСЯГУ ПРИНЯЛ ДЖОНСОН, – и не успел он дойти до ступенек, что приведут его на подземный перрон МСП, как услышал, что одна женщина говорит другой: *Поверить не могу, Дороти, я просто не могу верить в то, что видят мои глаза.*

Призрачно.

Город без деревьев. Мир без деревьев.

Он не звонил Эми выяснить, вернулась ли она домой из школы. Возможно, она еще со своими подругами, охваченная смятением момента, взвинчена, слишком потрясена и не помнит, что он должен приехать, и потому, когда он нажал звонок Квартиры 4Б, ему еще было неясно, ответил ли ему кто-нибудь. Пять секунд сомнения, десять секунд сомнения, и тут он услышал голос, говорящий с ним из домофона: *Арчи, это ты, Арчи?* – и мгновение спустя она его с жужжаньем впустила.

Несколько часов они смотрели съемки покушения по телевизору, а затем, заключив друг дружку в тугие объятия, спотыкаясь, ввалились в спальню к Эми, опустили на кровать и впервые занялись любовью.

## 2.2

Первый номер «Покорителя мостовой» вышел 13 января 1958 года. А. Фергусон, основатель и издатель новорожденной газеты, в редакционной статье на первой полосе объявлял, что «Покоритель» намерен «сообщать факты со всей доступной нам точностью и рассказывать правду, чего бы это ни стоило». Печать новоявленного издания осуществлялась под руководством завпроизводством Розы Фергусон, которая отнесла оригинальный макет, написанный от руки, в «Типографию Маерсона» в Вест-Оранже, чтобы там выполнили задачу – воспроизвели обе стороны листа двадцать четыре на тридцать шесть дюймов и оттиснули их на бумаге достаточно тонкой для того, чтобы складывать лист пополам, и вот из-за этой складки «Покоритель» родился на свет скорее похожим на подлинное новостийное издание (почти), нежели на отпечатанный на машинке и размноженный на мимеографе бюллетень домашнего изготовления. Пять центов за экземпляр. Никаких фотографий или рисунков, сверху какие-то поля для трафарета шапки, а помимо этого – лишь два крупных прямоугольника, заполненных восьмью колонками убогих печатных букв, выписанных от руки почти одиннадцатилетним мальчиком, который всегда с трудом выравнивал буквы на строке, но, несмотря на некоторые колебания и кривизну их, результат оказался достаточно разборчивым, а общее производимое впечатление напоминало искренний, хоть и чуточку полоумный вариант листовки восемнадцатого века.

Статьи в количестве двадцати одной варьировались от подверсток в четыре строки до двух очерков на три колонки, и первой из них был гвоздь номера на первой полосе, с заголовком, гласившим: «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. “ХИТРЕЦЫ” И “ГИГАНТЫ” УЕЗЖАЮТ ИЗ Н.-Й. НА ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ», – и включавшим в себя выдержки из интервью, взятых Фергусоном у различных членов семьи и друзей, причем самый яркий отклик поступил от его соученика, пятиклассника Томми Фукса: «Мне хочется покончить с собой. Осталась одна команда – “Янки”, а я ненавижу “Янки”. Что же мне теперь делать?» В очерке на задней

странице рассматривался развивавшийся скандал в начальной школе Фергусона. Четырежды за последние полтора месяца учащиеся врезались в одну из двух кирпичных стен спортзала во время матчей в вышибалы, отчего происходили всплески количества подбитых глаз, сотрясений, а также разбитых черепов и лбов, и Фергусон ратовал за то, чтобы стены отделали матами, дабы предотвратить дальнейшие увечья. Собрав комментарии недавних жертв («Я гнался за мячом, – говорила одна жертва, – и не успел ничего сообразить, как уже отлетал от стены с пробитой головой»), Фергусон обратился к директору мистеру Джемсону, который согласился с тем, что ситуация вышла из-под контроля. «Я разговаривал с Советом по вопросам образования, – сказал он, – и они пообещали закрыть стены матами к концу месяца. А до тех пор – никаких вышибал».

Исчезнувшие бейсбольные команды и предотвратимые травмы головы, но еще и публикации о пропавших домашних питомцах, телеграфных столбах, поврежденных бурей, дорожных происшествиях, состязаниях по плевкам жеваной бумагой, «Спутнике» и состоянии здоровья президента, а также краткие извещения о текущих делах кланов Фергусонов и Адлеров, как то – «АИСТ ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК!»: «Впервые в истории человечества младенец родился в назначенный день. В 11:53 вечера 29 декабря, всего за семь минут до того, как ее обгонят часы, миссис Франсис Голландер, 22 лет, из города Нью-Йорка разродилась своим первым ребенком, мальчиком 7 фунтов 3 унций по имени Стивен. Поздравляем, кузина Франси!» Или – «КРУПНЫЙ ШАГ ВВЕРХ»: «Мильдред Адлер недавно повысили с адъюнкт-профессора до полного профессора на Факультете английского языка Университета Чикаго. Она – один из ведущих мировых специалистов по викторианскому роману и опубликовала книги о Джордж Элиот и Чарльзе Диккенсе». А еще не забыть о врезке в рамочке в правом нижнем углу задней страницы, несшей название «Угол шуток Адлера», которую Фергусон намеревался публиковать на постоянной основе во всех выпусках «Покорителя», поскольку как же мог он пренебречь таким ценным ресурсом, как его дедушка, царь дурной шутки, который за годы рассказал Фергусону столько скверных анекдотов, что юный главный редактор считал бы себя недобросовестным, если бы хоть какими-то не воспользовался. Первый пример выглядел так: «Мистер и миссис Гупер ехали на Гавайи. Перед тем как самолет приземлился, мистер Гупер спросил у супруги, как правильно произносить слово *Гавайи* – *Гавайи* с *г* и *в* или *Хауайи* с *х* и *у*. “Не знаю, – ответила миссис Гупер. – Давай спросим у кого-нибудь, когда прилетим”. В аэропорту они заметили маленького старичка в гавайской рубашке. “Простите, сэр, – обратился к нему мистер Гупер. – Не могли бы вы подсказать нам, как правильно говорить, *Гавайи* или *Хауайи*?” Не моргнув глазом, старичок ответил: “Хауайи”. “Спасибо”, – сказали мистер и миссис Гупер. На что старичок ответил: “Усихда пжалста”».

Последующие номера вышли из печати в апреле и сентябре того же года, каждый лучше прежнего – ну, или так Фергусона уверяли его родители и родственники, а вот со школьными друзьями все было иначе, ибо после успеха первого номера, вызвавшего бурю в классе, на поверхность начало проступать сколько-то недовольства и враждебности. Закрытым мирком жизни в пятом и шестом классах управлял строгий набор правил и общественных иерархий, и, взяв на себя инициативу запустить «Покорителя мостовой», то есть осмелившись создать из ничего что-то, Фергусон, сам того не ведая, эти рамки переступил. Внутри этих границ мальчишки могли добиваться положения одним из двух способов: достигая успехов в спорте или самоутверждаясь как мастера проказ. Хорошие школьные оценки мало что значили, и даже какой-нибудь исключительный талант в искусстве или музыке почти не считался, поскольку таланты эти рассматривались как врожденные дары, биологические черты вроде цвета волос или размера ноги, а потому не вполне связывались с личностью, ими обладавшей, просто факты природы, независимые от человеческой воли. Фергусон всегда довольно-таки преуспевал в спорте, что позволяло ему не откалываться от других мальчишек и избегать ужасающей судьбы изгоя. Проказы ему наскучивали, но его анархическое чувство юмора помогало кре-

пить репутацию парняги пристойного, пусть он и держался на расстоянии от необузданных выпендрейников, которые все выходные напролет засовывали бомбочки с краской в почтовые ящики, били уличные фонари и звонили с непристойными предложениями красивым девчонкам из класса постарше. Иными словами, Фергусон покамест лавировал успешно, не сталкиваясь ни с какими чрезмерными трудностями, его хорошие отметки не считались ни плюсом, ни минусом, его тактичный, неагрессивный подход к межличностным отношениям предохранял его от злости других мальчишек, а это означало, что в драках он почти не участвовал и постоянных врагов себе, похоже, не нажил, но тут, за несколько месяцев перед тем, как ему стукнуло одиннадцать лет, он решил, что хочет произвести какой-то всплеск, и выразилось это в самостоятельной публикации одностраничной газеты – и вдруг одноклассники его осознали, что в Фергусоне таится больше, чем они подозревали, что он на самом деле довольно умный молодой человек, не просто мальчишка, а мастер своего дела, и силы ума его хватает, чтобы выкинуть такой причудливый финт, как «Покоритель», а потому все двадцать два его соученика по пятому классу выложили свои никели на экземпляр первого номера, поздравили его с отличной работой, посмеялись над смешными оборотами, какими пестрели его статьи, а потом настали выходные, и к утру понедельника все уже перестали об этом говорить. Если бы «Покоритель» после того первого номера и закончился, Фергусона обошла бы стороной напасть, что, в итоге, обрушилась ему на голову, но откуда же он мог знать, что между просто умным и слишком умным есть разница, что от второго номера по весне часть класса начнет обращаться против него, поскольку номер этот докажет, что Фергусон слишком старается, старается чересчур сильно, а вот они стараются недостаточно, и значит это, что Фергусон – прилежный шустрик, а они всего-навсего ленивые, никчемные обалдуи? Девчонки по-прежнему были с ним, все до единой, но девчонки с ним и не состязались, это мальчишки начали ощущать напор Фергусонова прилежания, во всяком случае, трое или четверо, но Фергусон был слишком полон собственным счастьем и ничего не замечал – его чересчур захватило ощущение триумфа от того, что он закончил еще один номер, и он не задавался вопросом, отчего это Ронни Кролик и его банда хулиганья отказались покупать новое издание «Покорителя», когда он в апреле принес его в школу, думая – если он задумывался об этом вообще, – что им просто не хватает денег.

По мнению Фергусона, газеты были одним из величайших изобретений человечества, и он их любил с тех самых пор, как выучился читать. Рано поутру семь дней в неделю на парадных ступеньках дома возникал номер «Ньюарк Стар-Леджер» – приземлялся с приятным стуком как раз в тот миг, когда Фергусон выбирался из постели, швыряла его какая-то безымянная, незримая личность, которая никогда не промахивалась мимо цели, и к тому времени, как Фергусону исполнилось шесть с половиной, он уже начал принимать участие в утреннем ритуале чтения газеты за завтраком – он, кто силой воли заставил себя читать летом перелома ноги, кто с боем вырвался из тюрьмы собственной детской глупости и превратился в юного гражданина мира, теперь уже развитого настолько, чтобы все понимать, ну или почти все, кроме невразумительных вопросов экономической политики и представления о том, что создание большего количества ядерного оружия обеспечит длительный мир, и всякое утро он садился за стол завтракать с родителями, и каждый из них брался за свой раздел газеты, читали молча, потому что разговаривать в такую утреннюю рань очень трудно, а затем прочитанные тетрадки передавали друг дружке на кухне, полнившейся ароматами кофе и омлета, разогретого хлеба, жарящегося в тостере, масла, тающего на горячих ломтях этого хлеба. Для Фергусона началом всегда служили комиксы и спорт, странно привлекательная Ненси и ее друг Слагго, Джигс и его жена Магги, Блонди и Дагвуд, Битл Бейли, за которыми следовали последние известия от Мантла и Форда, от Конерли и Гиффорда, а затем уже – к местным известиям, национальным и международным новостям, статьям о кинофильмах и пьесах, так называемые жизненные очерки, – о семнадцати студентах колледжа, набившихся в телефон-



ную будку, или тридцати шести «хот-догов», употребленных в пищу победителем поедательного состязания округа Эссекс, а когда истощались и эти, а до выхода в школу оставалось еще несколько минут, – рекламные и частные объявления. *Дорогая, я тебя люблю. Вернись, пожалуйста, домой.*

Притягательность газет совершенно отличалась от привлекательности книг. Книги были солидны и постоянны, а газеты – эфемерные, хлипкие мимолетности, выбрасываемые, как только их прочли, назавтра они заменялись другими, каждое утро – свежая газета для нового дня. Книги двигались вперед по прямой, от начала к концу, а вот газеты всегда были в нескольких местах одновременно, мешаниной единомоментности и противоречий со множеством историй, сосуществующих в пределах страницы, и каждая разоблачала иную грань мира, каждая утверждала мысль или факт, которые не имели ничего общего с теми, что размещались рядом, война справа, гонки с ложкой и яйцом слева, горящее здание сверху, встреча гёрлскаутов снизу, крупное и мелкое смешивалось воедино, что-то трагическое на странице 1, а фривольное – на странице 4, зимние паводки и полицейские расследования, научные открытия и рецепты десертов, смерти и рожденья, советы безнадежно влюбленным и кроссворды, пасы с тачдаунами и дебаты в Конгрессе, циклоны и симфонии, забастовки и трансатлантические полеты на воздушных шарах, утренняя газета обязательно должна была касаться каждого из этих событий на своих колонках черной, пачкающей типографской краски, и каждое утро Фергусон ликовал от всей этой пачкотни, ибо ею и был мир сей, чувствовал он, большая бурливая неразбериха с миллионом различного всякого, что происходит в нем каждый миг.

Вот что для него представлял собой «Покоритель»: возможность создать собственную мешанину мира в чем-то, похожем на полноценную газету. Не совсем, конечно, полноценную, всего-навсего грубое приближение в лучшем случае, но его любительский, детский вариант настоящего был по духу своему достаточно близок, чтобы произвести впечатление на друзей. Фергусон надеялся на подобный отклик, хотел, чтобы поворачивались головы и его в классе замечали, а теперь, когда желание исполнилось, он нырнул во второй номер со всевозрастающей уверенностью, с новой верой в силу собственного гения, и до того слепа стала та вера, что даже частичный бойкот Кроликом и его приятелями не сумел показать ему, что происходит. Лишь на следующее утро глаза его несколько приоткрылись. Одним из его ближайших друзей был Майкл Тиммерман – смысленный и популярный мальчишка, чьи оценки были даже лучше, чем у Фергусона, квазигероическая фигура на голову выше злых карликов вроде Ронни Кролика – так дуб высился над зарослями ядовитого плюща, поэтому, если Майкл Тиммерман отводит тебя в сторонку на игровой площадке перед началом уроков и говорит, что хочет с тобой поговорить, ты более чем счастлив его выслушать. В первых же словах он заявил, насколько хорошим считает «Покорителя», что Фергусону понравилось чрезвычайно, поскольку мнение лучшего спортсмена и ученого их класса весило больше чьего бы то ни было мнения, но затем Тиммерман продолжил: ему бы хотелось работать вместе с Фергусоном, он желает войти в состав редакции «Покорителя» и лично писать статьи, отчего хорошее издание станет еще лучше, как он чувствует, ибо слыханное ли дело – газета, состоящая из одного человека, в этом есть что-то странное и низкопробное, если все статьи пишет один-единственный репортер, и если Фергусон даст ему возможность и все сложится хорошо, как знать, в газете может оказаться со временем и три, четыре или пять журналистов, а если все немного скинут, чтобы покрывать расходы на печать, возможно, «Покоритель» расширится до четырех или восьми страниц, и все в нем будет напечатано, и перестанет зависеть от жуткого почерка Фергусона, а оттого и начнет уже выглядеть как настоящая газета.

Ни к чему подобному Фергусон оказался не готов. «Покоритель» всегда планировался как концерт одного артиста, его персональное выступление, хорошо это или плохо, и больше ничье, и от мысли о том, чтобы делить сцену с другим мальчишкой, а с несколькими другими мальчишками и подавно, он заболел несчастностью. Тиммерман душал его своими заме-

чаниями и предложениями, пытаясь выкрутить ему руки, чтобы он уступил власть над своей низкопробной портянкой с ее жуткими печатными буквами от руки, но как же Тиммерман не понимал, что он уже обо всем этом подумал, что даже умеет он печатать, но не стал бы пользоваться печатной машинкой, потому что тогда все это бы выглядело не так и потому что ему не по карману было платить типографу – ведь ему всего одиннадцать лет, и он вместо этого выбрал писать от руки, а Тиммерман не знал об уговоре его матери с Маерсоном: она сделала ему скидку на портреты его троих детей в обмен на пользование его типографским оборудованием для воспроизведения факсимиле, так оно все и получилось, хотел он сказать Тиммерману, обмениваешься по бартеру, чтобы скостить расходы, и стараешься как можно лучше использовать то, что у тебя есть, и тут совсем не стоит складываться, чтобы выпускать так называемую настоящую газету, никакие пятеро мальчишек нипочем не соберут столько денег, чтобы на такое хватило, и будь Тиммерман не самым его большим другом, которым он восхищался, а кем-то другим, Фергусон бы сказал ему, чтоб не лез не в свое дело и основал бы собственную газету, раз у него столько блестящих идей, но Тиммермана он слишком уважал, чтоб высказать ему все, что у него на уме, не хотелось рисковать и оскорблять своего друга, и потому он предпочел выход труса и поднырнул, сказав: *Давай я про это подумаю*, а не дал ему ясный ответ «да» или «нет», надеясь, что со временем у Тиммермана эта новоявленная страсть к журналистике поугаснет и дело это через пару дней будет забыто.

Как большинство преуспевающих мальчишек, однако, Тиммерман не так легко сдавался или забывал. Весь остаток недели каждое утро он подходил к Фергусону на игровой площадке и спрашивал, принял ли тот решение, и каждое утро Фергусон старался дать ему отставку. Возможно, говорил он, может, это и хорошая мысль, но теперь весна, и у них не будет времени подготовить еще один номер до конца учебного года. Нынче мы оба заняты в Малой лиге, а ты себе не представляешь, сколько для этого нужно работать. Недели труда, месяцы труда. Столько работы, что я даже не знаю, хочу я этим заниматься дальше или нет. Оставь пока эту тему в покое, может, мы к ней вернемся где-нибудь летом.

Но Тиммерман на лето уезжал в лагерь, и вопрос ему хотелось решить прямо сейчас. Даже если следующий номер появится только осенью, ему нужно было знать, можно ли на это рассчитывать или же нет, и с какой это стати Фергусону так трудно решить, что делать? В чем тут загвоздка?

Фергусон понял, что его загнали в угол. Уже четыре дня подряд они торговались, и он понимал, что это не прекратится, пока он не даст ответа. Но какой ответ правильный? Если он скажет Тиммерману, что не хочет его, то, вероятно, потеряет друга. Если согласится на то, чтобы Тиммерман участвовал в газете, – будет презирать себя, что поддался. Чему-то в нем льстил этот энтузиазм Тиммермана к «Покорителю», а чему-то его друг начинал не нравиться: он теперь уже вел себя не как друг, а как сладкоречивый задира. Ну нет, не вполне задира, конечно, а вымогатель, а поскольку вымогатель у них в классе был самым могущественным и влиятельным человеком, Фергусону до ужаса не хотелось делать что-нибудь такое, что его бы обидело, поскольку если бы Тиммерман почувствовал, что Фергусон с ним обошелся как-то не так, он мог бы натравить на него весь класс, и жизнь Фергусона превратилась бы в неумолимое страданье на весь остаток учебного года. И все же не мог он позволить уничтожить «Покорителя» только ради поддержания мира. Что бы ни случилось, он все равно не выпрыгнет из собственной шкуры, и уж лучше ему превратиться в изгоя, чем утратить самоуважение. С другой стороны, гораздо лучше в изгоя не превращаться, если этого можно избежать.

Вопрос, стало быть, не стоял ни о «да», ни о «нет». Фергусону требовалось такое «может быть», какое даст хоть какую-то надежду, но при этом не прищипит его ни к каким железным обязательствам, некая обманная тактика, закамуфлированная под шаг навстречу, который на деле будет шагом назад и возможностью выторговать себе еще немного времени. Он предложил Тиммерману выполнить проверочное задание – посмотреть, нравится ли ему такая

работа, а как только он напишет свой материал, они поглядят на него вместе и решат, место ли ему в «Покорителе». Тиммерман поначалу вроде бы взъерепенился – ему не очень понравилась мысль, что его станет судить Фергусон, но чего еще можно было ожидать от круглого отличника, совершенно уверенного в своих умственных способностях, и потому Фергусону пришлось объяснить, что пробные задания необходимы: «Покоритель» – его штука, а не Тиммермана, и если Тиммерману хочется в ней участвовать, ему придется доказать, что его работа соответствует духу всего предприятия, четкого, смешного и бойкого. Неважно, насколько сам он смышлен, сказал Фергусон, ему еще только предстоит написать единственную газетную статью, у него нет в этом совершенно никакого опыта, а как им объединять свои усилия, если они пока не понимают, как его сочинение будет звучать? Справедливо, заметил Тиммерман. Он напишет пробный материал и докажет, насколько он хорош, и на этом всё.

Я вот о чем думаю, сказал Фергусон. *Кто твоя любимая киноактриса – и почему?* Поговори со всеми в классе, с каждой девчонкой и каждым мальчишкой, и задай им всем этот единственный вопрос: Кто твоя любимая киноактриса – и почему? Точно запиши все слова до единого, какие они скажут, дословно все ответы, какие они тебе дадут, а потом иди домой и преврати результаты в материал на одну колонку, который развеселит людей, когда они станут его читать, а если не сумеешь их развеселить, то пусть хотя бы улыбнутся. Договорились?

Договорились, ответил Тиммерман. А почему еще и про любимого актера не спросить?

Потому что соревнования с одним победителем лучше соревнований с двумя. Актеры могут обождать до следующего номера.

Так Фергусон и выторговал себе немного времени – отправил Тиммермана на это бессмысленное, высосанное из пальца задание, и следующие десять дней все было спокойно: новичок-репортер собрал свои данные и засел писать статью. Как Фергусон и подозревал, от мальчишек больше всего голосов получила Мэрилин Монро, шесть из одиннадцати, а остальные пять достались Элизабет Тейлор (два), Грейс Келли (два) и Одри Хепберн (один), а вот девчонки дали Монро лишь два голоса из своих двенадцати, остальные же десять распределились среди Хепберн (три), Тейлор (три) и по одному Келли, Лесли Карон, Сид Шерисс и Деборе Керр. Сам Фергусон не сумел выбрать между Тейлор и Келли, поэтому подбросил монетку и в итоге отдал свой голос за Тейлор, а Тиммерман, столкнувшись с такой же дилеммой между Келли и Хепберн, подбросил ту же монетку и в итоге проголосовал за Келли. Полная чепуха, конечно, но было в этом и что-то забавное, и Фергусон отметил, до чего сознательно Тиммерман подошел к делу опроса детей и записи их ответов в своем репортерском блокнотике на пружине. Высшие оценки за хождение ногами и прилежание, стало быть, но это лишь начало, фундамент дома, так сказать, но по-прежнему неясно, что за конструкцию Тиммерман сумеет на нем возвести. Сомнений не было – у мальчишки этого неплохие мозги, но это не значит, что он умеет хорошо писать.

За эти десять дней, пока наблюдал и ожидал, Фергусон провалился в странное состояние двусмысленности – он все меньше и меньше становился уверен в том, как относится к Тиммерману, не очень понимал, и дальше ли ему отталкивать его или же начать выказывать какую-то благодарность за его старательную работу: он то рассчитывал, что Тиммерману статья не удастся, то в следующий миг уже надеялся, что у того все получится, и задавался вопросом, не хорошей ли мыслью будет все же взять еще одного репортера, чтобы тот, в конце концов, разделит с ним бремя, и Фергусон осознавал уже, что в выдаче заданий другим людям имеется некоторое удовлетворение, что быть начальником – не без своих удовольствий, ибо Тиммерман выполнял его распоряжения, не жалуясь, и то было новое чувство – ощущение того, что ты главный, и если со статьей Тиммермана все будет хорошо, возможно, Фергусону и стоит задуматься о том, чтобы его впустить, не партнером, конечно, нет, вовсе нет, никогда и ни за что, а сотрудником, первым из, быть может, нескольких, что в итоге, наверное, позволит «Покорителю» увеличиться от двух страниц до четырех. Может быть. А может, опять же, и нет, ибо

Тиммерману еще только предстоит сдать свою статью, хоть интервью все свои он взял за пять дней, а теперь прошло еще пять дней, и Фергусон мог заключить лишь, что с нею тот все еще сражается, а если Тиммерману писать статью трудно, это, вероятно, означает, что материал никуда не годится, а все, что окажется не очень хорошо, будет неприемлемо. Ему придется сказать это Тиммерману в лицо. Вообрази, смотришь в глаза доке Майклу Тиммерману, говорил он себе, единственному человеку, кто никогда и ни в чем не проваливался, и сообщаем ему, что он провалился. Наутро десятого дня надежды Фергусона на будущее рухнули в единственное желание: чтобы Тиммерман написал шедевр.

Как выяснилось, статья была вовсе не плоха. Не до ужаса плоха, во всяком случае, но ей не доставало той прыгучести, на какую надеялся Фергусон, чуточки юмора, какой превратил бы тривиальную ее тему в нечто, достойное чтения. Если в такой неудаче и было некое утешение, то состояло оно в том, что и сам Тиммерман, похоже, считал статью скверной – ну, или так предположил Фергусон по самоуничижительному пожатью плеч автора, когда тот вручал ему завершенную рукопись в то утро на игровой площадке, сопровождая сдачу материала извинением за то, что это заняло столько времени, но работа оказалась не так легка, как он рассчитывал, сказал Тиммерман, он переписал статью четыре раза, и если из этого чему-то научился, то лишь одному: писать – *дело довольно лихое*.

Это хорошо, сказал сам себе Фергусон. Немножко смирения от мистера Совершенство. Признание сомнений, быть может, даже признание неудачи, а значит, противостояния, которого он страшился, скорее всего не произойдет, а это хорошо, это просто отлично и очень успокаивает, потому что несколько последних дней Фергусон уже воображал, как ему в живот врезаются кулаки, а сам он немедленно оказывается сослан в самые дальние пределы для презираемых. И все же, сообразил он, если ему хочется сохранить их дружбу в целости, вокруг Тиммермана ему придется вышагивать осторожно и удостоверяться, что при этом не наступает ему на ноги. А ноги были крупны, и личность, которой они принадлежали, тоже не мала, и сколь дружелюбен бы ни был этот мальчишка, у него еще имелся и характер, чьи проявления Фергусон несколько раз за много лет наблюдал, совсем недавно – когда Тиммерман двинул Томми Фукса за то, что тот его обозвал *надутым говнюком*, того же Томми Фукса, кто своим клеветникам был известен под именем Томми Хуюкса, и у Фергусона не было ни малейшего желания огрести от Тиммермана так же, как огрел Томми Хуюкс.

Он попросил Тиммермана дать ему несколько минут, после чего удалился в угол игровой площадки прочесть статью в одиночестве:

«Вопрос был: Кто твоя любимая киноактриса – и почему? Опрос двадцати трех учащихся пятого класса мисс Ван Горн дал нам ответ – Мэрилин Монро, которая набрала восемь голосов, победив Элизабет Тейлор, пришедшую к финишу второй с пятью голосами...»

Тиммерман похвально изложил факты, но язык у него был плоский, негибкий до полной безжизненности, и сосредоточился он на самой неинтересной части сюжета – на цифрах, что было глубоко скучно по сравнению с тем, что ученики говорили о своем выборе, те комментарии, которыми Тиммерман поделился с Фергусоном, а затем по большей части пренебрег включить в материал, и пока Фергусон сейчас припоминал некоторые утверждения – поймал себя на том, что уже начал в уме переписывать статью.

«Ба ба бум», – сказал Кевин Ласситер, кому потребовалось лишь три коротких слова, чтобы объяснить, почему Мэрилин Монро – его любимая киноактриса.

«Она кажется такой доброй и разумной личностью, мне бы хотелось с нею познакомиться и стать ее подружкой», – сказала Пегги Гольдштейн, защищая свой выбор – Дебору Керр.

«Такая элегантная, такая красивая – я от нее просто глаз не могу оторвать», – сказала Глория Долан о своем первом номере – Грейс Келли.

«Ну и ягодка, – сказал Алекс Ботелло о своей лучшей звезде – Элизабет Тейлор. – В смысле, поглядите только на это тело. От такого мальчишкам хочется вырасти побыстрее»».

Невозможно попросить Тиммермана вернуться к самому началу и переписать статью в пятый раз. Бесполезно объяснять ему, что работа его не вызовет ни смеха, ни улыбки, и что ему было бы лучше сосредоточиться на «почему», а не на «кто». Теперь уже слишком поздно во все это вдаваться, и Фергусону меньше всего на свете хотелось бы навязывать Тиммерману свое мнение и читать ему нотацию о том, что ему следовало и чего не следовало писать. Он вернулся туда, где стоял мистер Большие Ноги, и вернул ему статью.

Ну? – спросил Тиммерман.

Неплохо, ответил Фергусон.

Хочешь сказать – нехорошо.

Нет, не *нехорошо*. Неплохо. А это значит – довольно хорошо.

А что насчет следующего номера?

Пока не знаю. Я об этом еще не думал.

Но ты же собираешься его делать, правда?

Может быть. А может, и нет. Пока что рано говорить.

Не бросай. Ты начал кое-что хорошее, Арчи, и теперь надо продолжать.

Если не захочется, так и не буду. Да и вообще, какое тебе дело? Я по-прежнему не понимаю, почему «Покоритель» для тебя вдруг стал так важен.

Потому что это здорово, вот почему, а я хочу участвовать в том, что здорово. Мне кажется, это будет очень весело.

Ладно. Я тебе так скажу. Если я решу выпускать еще один номер – дам тебе знать.

И дашь мне возможность что-нибудь написать?

Конечно, а чего ж нет?

Честно?

Дать тебе возможность? Да, честно.

Даже произнося эти слова, Фергусон знал, что обещание его ничего не значит, поскольку он уже решил закрыть «Покоритель» насовсем. Четырнадцатидневная битва с Тиммерманом его вымотала, он себя чувствовал выпотрошенным и лишившимся вдохновения, из-за своих слабоумных метаний ему было от себя противно, он был деморализован собственным нежеланием постоять за себя и защитить свою позицию: либо его газета одного человека, либо ничего, и теперь, когда он поднял волну и сделал то, что намеревался сделать, возможно, лучше всего было бы, если б тут не осталось ничего, лучше выбраться из бассейна, вытереться насухо и всё бросить. Кроме того, уже начался бейсбольный сезон, и ему стало некогда – он играл в команде «Пираты» Торговой палаты Вест-Оранжа, а если не играл в бейсбол, то читал «Графа Монте-Кристо», громадную книжищу, которую тетя Мильдред прислала ему в прошлом месяце на одиннадцатилетие, и вот он ее наконец-то начал после того, как сдал в печать второй номер «Покорителя», а теперь, раз он в нее погрузился, то погрузился он в нее с головой, ибо то был, несомненно, самый захватывающий роман, какой когда-либо попадался ему в руки, и до чего же приятно было каждый вечер после ужина следить за приключениями Эдмона Дантеса, а не считать слова в своих статьях, чтоб те поместились в узкие колонки его листовки, столько труда, столько прищуриваний допоздна под настольной лампой в один патрон, продвигаясь вперед в почти полной темноте, пока родители его думали, что он спит, столько фальстартов и исправлений, столько безмолвных благодарностей человеку, изобретшему ластики, зная уже, что труд этот, письмо, – такое же удаление слов, как и их добавление, а затем – скучная задача обвести все до единой карандашные буквы чернилами, чтобы удостовериться, что слова достаточно черны и окажутся разборчивыми при факсимильном воспроизведении, изматывает, да, вот как это называется, и после затянувшегося и мучительного противостояния с Тиммерманом он был вымотан, а как ему бы сказал любой врач, единственное лекарство от вымотанности – это отдых.

Отдыхал он месяц: с тяжелым сердцем дочитал Дюма, опасаясь, что может пройти много лет, прежде чем ему попадется роман настолько же хороший, а затем, за три дня, последовавшие за дочитыванием книги, произошло три вещи, которые изменили ход мыслей Фергусона и вывели его из добровольной отставки. Он просто ничего не мог с собой поделать. На ум ему взбредли слова нового заголовка, и такими восхитительными слова эти были для него, так живописно трямкали и рифмовались их лязгающие согласные, так причудливо оказывалось, что их явная бессмыслица фактически никакая не бессмыслица, а очень даже смысл, что ему не терпелось увидеть эти слова в печати, и потому, отступившись от своего обета оставить газетное дело, он принялся планировать третий номер «Покорителя», который крупными буквами нес на своей первой странице двойной удар заголовка: «ФУГАСЫ В КАРАКАСЕ».

Все началось тринадцатого мая, когда на Ричарда Никсона при его последней остановке в турне доброй воли по трем странам Южной Америки напала толпа венесуэльских демонстрантов. Вице-президент только приземлился в аэропорту, и пока его колесная кавалькада ехала по улицам в центре Каракаса, толпы, выстроившиеся на тротуарах, скандировали: *Смерть Никсону! Никсон, иди домой!* – и совсем немного погодя машину Никсона окружили десятки людей, главным образом молодежь, которые стали плевать на машину и бить в ней стекла, а через несколько мгновений принялись раскачивать ее из стороны в сторону, мотать взад-вперед с такой яростью, что машина того и гляди перевернется, и если б не внезапное появление венесуэльских солдат, которые разогнали толпу и расчистили машине Никсона путь, все бы завершилось скверно, совсем плохо для всех участников, особенно для чуть не убитого Никсона и его супруги.

Фергусон прочел об этом в газете на следующее утро, увидел съемки инцидента в новостях по телевизору, а под конец следующего дня к ним в гости заехали его двоюродная сестра Франси, ее муж Гари и их пятимесячный младенец. Жили они теперь в Нью-Йорке, где Гари собирался доучиваться последний год на юридическом факультете Колумбии, и с тех пор, как Фергусон выступил четырем годами ранее кольценосцем на их свадебной церемонии, Гари относился к юному кузену своей жены как к некоему протеже, подрастающему попутчику в мире идей и мужских занятий, что приводило к некоторым длительным беседам о книгах и спорте, но еще и о политике, которая для Гари была своего рода одержимостью (он подписывался на «Диссент», «И. Ф. Стоунс Викли» и «Партизан Ревю»), а оттого, что муж Франси был разумным молодым человеком, уж точно лучшим мыслителем из всех, кого Фергусон знал, если не считать тети Мильдред, поэтому, само собой, он и спросил у Гари, что тот думает о стычке Никсона с толпой в Венесуэле. Они вместе были на заднем дворе – гуляли под дубом, с которого Фергусон упал, когда ему было шесть лет, высокий, мясистый Гари пыхтел «Парламентом», а мать Фергусона и Франси сидели на веранде с младенцем Стивеном, этим пухлым маленьким новичком среди людей, таким же юным по отношению к Фергусону, каким сам Фергусон некогда был по отношению к Франси, и пока две женщины вместе смеялись и по очереди держали младенца, вечно серьезный морализатор Гари Голландер беседовал с ним о Холодной войне, черном списке, Красной угрозе и полоумном антикоммунизме, какой подхлестывал американскую внешнюю политику, что вынуждало Государственный департамент поддерживать злобные правые диктатуры по всему миру, особенно в Центральной и Южной Америках, и вот поэтому на Никсона и напали, сказал он, не из-за того, что он Никсон, а потому, что он представляет правительство Соединенных Штатов, а правительство это в тех странах презирают огромные массы людей, и презирают обоснованно – за поддержку тиранов, которые их угнетают.

Гари умолк, прикуривая еще один «Парламент». Потом сказал: Ты улавливаешь, что я говорю, Арчи?

Фергусон кивнул. Улавливаю, сказал он. Мы так боимся коммунизма, что пойдем на что угодно, лишь бы его остановить. Даже если это означает помощь тем людям, которые хуже коммунистов.

На следующее утро, читая за завтраком спортивную страницу, Фергусон впервые запнулся о слово *фугас*. Детройтский подающий швырнул мяч в голову чикагскому отбивающему, отбивающий выронил свою битку, подбежал к горке и двинул подающему, после чего игроки обеих команд ринулись на поле и следующие двенадцать минут колотили друг друга. *Как только осколки от взрыва этого фугаса улеглись*, писал репортер, *шестерых игроков удалили из игры*.

Фергусон перевел взгляд на мать и спросил: Что значит слово *фугас*?

Большая бомба, ответила мать. Сильно взрывается.

Я так и думал, сказал он. Просто нужно было убедиться.

Шли месяцы. Учебный год закончился без дальнейших хлопот с Кроликом, Тиммерманом или кем бы то ни было другим, и двадцать три бывших ученика мисс Ван Горн расстались друг с дружкой на летние каникулы. Фергусон отправился в лагерь «Парадиз» на второй свой двухмесячный срок, и хотя большую часть времени он там бегал по полю с мячом и плескался в озере, после обеда на отдыхе, в часы затишья, ему хватало свободного времени на то, чтобы писать статьи и продумывать макет для третьего номера «Покорителя». Работу эту он завершил уже дома, за две недели, что остались между приездом из лагеря и началом учебы: возился каждое утро, весь день и почти весь вечер, лишь бы успеть к назначенному самому себе сроку, первое сентября, чтобы матери его хватило времени отгнать факсимильные копии у Маерсона и номер был готов к первому дню школы. Хороший способ начать учебный год, считал он, небольшая встряска, чтобы все побыстрее зашевелилось, а уж после он поймет, что ему делать дальше, решит, будут ли «Покорители» выходить и впредь, или же это действительно последний номер.

Он дал Тиммерману слово, что сообщит ему, выйдет ли следующий номер, но все статьи уже были написаны до того, как ему выпала возможность с ним поговорить. Он звонил Тиммерману домой через день после приезда из лагеря, но домоправительница сказала ему, что Майкл с родителями и двумя братьями на рыбалке в Адирондаках и вернутся лишь за день до начала школьных занятий. Раньше тем же летом Фергусон подумывал написать смешную версию материала про киноактрис с ба-ба-бумами и вставить в номер, но отказался от этой мысли из почтения к чувствам Тиммермана, понимая, насколько жестоко будет теперь опубликовать его, как ранит Тиммермана такое остроумное разрушение его собственной скучной попытки. Если б он оставил вариант Тиммермана, то мог бы расценивать эту публикацию как дань вежливости, но он вернул ему статью еще в апреле на игровой площадке, а потому это оказалось невозможно. Новый номер «Покорителя мостовой» был готов разлететься по джунглям спортзалов и классов начальной школы Фергусона, а Майкл Тиммерман об этом ничего не знал.

Это была его первая ошибка.

Вторая ошибка заключалась в том, что он слишком много чего запомнил из своей беседы с Гари на заднем дворе.

Фугас в Каракасе к тому времени уже был старой новостью, но Фергусон не мог отделаться от фразы, она блямкала у него в голове не один месяц, поэтому вместо того, чтобы прицепить этот заголовок к отчету о том, что произошло с Никсоном, он превратил свой материал в редакционную статью в рамочке посреди первой полосы, и «ФУГАС В КАРАКАСЕ» читался над самым сгибом страницы, а остальная статья располагалась под ним. Вдохновившись своей беседой с Гари, он доказывал, что Америке следует прекратить так беспокоиться из-за коммунизма и послушать, что есть сказать людям в других странах. «Неправильно было стараться перевернуть машину вице-президента, — писал он, — но люди, которые это делали, были сердиты, а сердиты они были не просто так. Им не нравится Америка, потому что они

чувствуют: Америка против них. И это не означает, что они коммунисты. Это значит лишь то, что они хотят быть свободными».

Сначала прилетел удар – злобный удар в живот, когда Тиммерман заорал ему *врун* и сшиб его наземь. Последние двадцать один экземпляр «Покорителя» выпорхнули из рук Фергусона и разлетелись по всему школьному двору от жестких порывов утреннего ветра, мелькнув мимо других детей, как армия воздушных змеев без бечевки. Фергусон поднялся и попробовал нанести ответный удар, но Тиммерман, похоже подросший за лето еще на три или четыре дюйма, отмахнулся от него и парировал еще одним ударом под дых, прилетевшим с гораздо большей силой, чем первый, и Фергусон не только опять оказался на земле, но из него еще и вышибло весь дух. К тому времени вокруг Фергусона уже стояли Кролик, Томми Хуюкс и несколько других мальчишек и смеялись над ним, дразня его словами, звучавшими как *гнойный прыщ*, *пидор* и *пиздоголовый*, а когда Фергусону удалось встать снова, Тиммерман в третий раз толкнул его наземь, толкнул жестко, отчего Фергусон рухнул на левый локоть, и за считанные секунды жуткая боль в «смешной косточке» локтя едва не обездвижила его, а Кролику и Хуюксу поэтому хватило времени пинками запорошить ему грязью все лицо. Он закрыл глаза. Где-то вдали кричала девчонка.

Затем последовали выговоры и наказания и оставление после уроков, идиотское задание писать слова *Я не буду драться в школе* двести раз, церемониальное рукопожатие, знаменующее собой погребение топора войны с Тиммерманом, который отказывался смотреть Фергусону в глаза, который больше уже никогда не посмотрит ему в глаза, который будет ненавидеть Фергусона всю оставшуюся жизнь, а затем, когда мистер Блази, их классный руководитель в этом году, уже собирался отпустить их домой, в кабинет вошла секретарша директора и сказала Фергусону, что его внизу у себя ждет мистер Джемсон. А Майкла? – спросил мистер Блази. Нет, Майкла не ждет, ответила мисс О'Хара. Только Арчи.

Фергусон застал мистера Джемсона за столом с экземпляром «Покорителя мостовой» в руках. Школой он руководил последние пять лет и с каждым годом казался все меньше ростом и круглее, а волосы у него на голове, похоже, редели все сильнее. Сначала они были темно-русыми, припоминал Фергусон, но теперь оставшиеся жидкие пряди поседели. Директор не пригласил Фергусона садиться, поэтому Фергусон остался стоять.

Ты понимаешь, что у тебя серьезные неприятности, не так ли? – сказал мистер Джемсон.

Неприятности? – переспросил Фергусон. Меня только что наказали. Какие у меня могут быть еще неприятности?

Вас с Тиммерманом наказали за драку. Я же говорю вот об этом.

Мистер Джемсон бросил на стол экземпляр «Покорителя».

Скажи мне, Фергусон, продолжал директор, ты несешь ответственность за все статьи в этом выпуске?

Да, сэр. За каждое слово в каждой статье.

Тебе никто не помогал тут ничего писать?

Никто.

А твои мать с отцом. Они это предварительно читали?

Мать читала. Она помогает мне с печатью, поэтому видит это прежде всех остальных. А мой отец прочел это только вчера.

И что они тебе на этот счет сказали?

Ничего особенного. Хорошо постарался, Арчи. Продолжай в том же духе. Что-то такое. Значит, ты говоришь мне, что редакционную статью на первой странице ты сам придумал.

Фугас в Каракасе. Да, сам.

Говори правду, Фергусон. Кто отравлял тебе ум коммунистической пропагандой?

Что?



Скажи мне, или мне придется устранить тебя от занятий за публикацию этой лжи.  
Я не лгал.

Ты только что начал учебу в шестом классе. Это значит, тебе одиннадцать лет, так?  
Одиннадцать с половиной.

И ты рассчитываешь, будто я поверю, что мальчик в твоём возрасте способен выступить с такими политическими доводами? Ты слишком юн, чтоб быть изменником, Фергусон. Это просто невозможно. Тебе, должно быть, скормливал весь этот мусор кто-то постарше, и я подозреваю, что это твои мать или отец.

Они не изменники, мистер Джемсон. Они любят свою страну.

Тогда кто разговаривал с тобой?

Никто.

Когда в прошлом году ты начал издавать свою газету, я согласился на это, верно? Я даже дал тебе интервью для одной из статей. Я считал это обаятельным – как раз таким и должен заниматься сообразительный мальчик. Никаких противоречий, никакой политики, а потом ты уезжаешь на летние каникулы, а возвращаешься красным. Что мне с тобой делать?

Если вся беда в «Покорителе», мистер Джемсон, то вам из-за него волноваться больше не стоит. Напечатано только пятьдесят экземпляров к началу учебного года, половину из них унесло ветром, когда началась драка. Я сам толком не знал, что мне с ним делать дальше, но после драки сегодня утром решил твердо. «Покоритель мостовой» умер.

Даешь слово, Фергусон?

И да поможет мне бог.

Тогда держи свое слово, и я, возможно, сумею забыть, что ты заслуживаешь отстранения от занятий.

Нет, не забывайте. Я хочу быть отстраненным. Теперь все мальчишки в шестом классе против меня, и школа – последнее место, где мне хочется быть. Отстраните меня надолго, мистер Джемсон.

Не шути с этим, Фергусон.

Я не шучу. Я теперь белая ворона, и чем дольше меня тут не будет, тем лучше.

Его отец занимался нынче другой работой. «Домашнего мира 3 братьев» больше не было, зато на границе Вест-Оранжа и Саут-Оранжа размещался громадный, защищенный от непогоды пузырь, который назывался «Теннисный центр Южной горы»: шесть закрытых кортов, позволявших всем окрестным любителям тенниса предаваться своей страсти к этому спорту круглый год, играть и в грозы, и в метели, играть ночью, играть до восхода солнца зимними утрами, полдюжины зеленых кортов с твердым покрытием, пара раздевалок, оборудованных умывальниками, туалетами и душевыми, а также профессиональный магазин, торговавший ракетками, мячами, тапочками и белой теннисной формой для мужчин и женщин. Пожар 1953 года сочли несчастным случаем, страховая компания все выплатила полностью, и отец Фергусона не стал перестраивать или открывать старый магазин на новом месте, а щедро поделился с братьями-подчиненными долей денег (по шестьдесят тысяч на брата), а на оставшиеся сто восемьдесят тысяч запустил свой теннисный проект. Лью и Милли отчалили в южную Флориду, где Лью сделался покровителем собачьих бегов и матчей по хай-алаю, а Арнольд открыл в Морристауне лавку, которая специализировалась на устройении детских дней рождения: полки ее были набиты мешками воздушных шариков, лентами из креповой бумаги, свечами, хлопушками, дурацкими колпаками и плакатами пришил-хвостик-ослику, однако Нью-Джерси оказался не готов к подобной новинке, и, когда лавка через два с половиной года прогорела, Арнольд обратился к Станли за помощью, и ему дали работу в спортивном магазине при «Теннисном центре». Что же касается отца Фергусона, то каждый день те два с половиной года, что у Арнольда заняло угробить свой магазинчик, он потратил на накопление капитала, кото-

рый дополнил бы те средства, какие вложил он сам, на поиски и, в итоге, покупку участка, на консультации с архитекторами и подрядчиками и, наконец, на возведение «Теннисного центра Южная гора», который открыл двери в марте 1956-го, через неделю после девятого дня рождения его сына.

Фергусону нравился этот защищенный от непогоды пузырь и жутковатое эхо от летающих по его каверне мячей, попури чпок-чпок-чпоков ракеток, сталкивающихся с мячами, когда задействовались сразу несколько кортов, неумолчный скрип резиновых подошв по твердому покрытию, крики и ахи, долгие промежутки времени, когда никто не издавал ни слова, притихшая серьезность облаченных в белое людей, подающих белые мячи через белые сетки, маленький, замкнутый мирок, не похожий ни на одно другое место в большом мире за пределами купола. Он ощущал, что отец его поступил правильно, поменяв работу, что телевизоры, холодильники и пружинные матрасы могут манить не вечно, а затем настает миг, когда нужно сбежать с корабля и попробовать что-то другое, а поскольку отец так любил теннис, так чего ж не зарабатывать себе на жизнь игрой, которую любишь? Еще в 1953-м, в жутковатые дни после того, как «Домашний мир 3 братьев» сторел дотла, когда отец его только начинал зарабатывать план на центр «Южная гора», мать предупреждала его насчет рисков, связанных с подобным предприятием, о том, что отец вступает в большую азартную игру, и впрямь – по пути там было много взлетов и падений, и даже после того, как центр построили, прошло некоторое время, пока ряды членов выросли настолько, что взносы их превысили ежемесячную эксплуатационную стоимость такой крупной компании, а это значило, что почти все три с лишним года между концом 1953-го и серединой 1957-го семейство Фергусонов зависело от зарабатываемого в «Ателье Страны Роз», чтобы не пойти ко дну. С тех пор положение укрепилось, и центр, и студия работали с неплохой прибылью, принося столько дохода, что хватало на такие роскошества, как новый «бьюик» отцу, свежая перекраска всего дома, норковый палантин для матери и два лета подряд в лагере для самого Фергусона, но хоть обстоятельства для них теперь и улучшились, Фергусон понимал, насколько трудно дается его родителям поддерживать этот уровень удобства, насколько обоих поглощают их работы и до чего мало времени остается у них на что бы то ни было еще, особенно отцу, чей теннисный центр работал семь дней в неделю, с шести утра до десяти вечера, и хотя у него был штат работников, Чак О'Ши и Билл Абрамавиц, к примеру, которые могли более-менее со всем управляться самостоятельно, и Джон Робинзон, бывший проводник пульмановских вагонов, кто присматривал за кортами и раздевалками, и бездельник дядя Арнольд, коротавший часы в спортивном магазине, куря «Камелы» и листая газеты и беговые формуляры, и трое молодых ассистентов Роджер Найлс, Нед Фортунато и Ричи Зигель, чередовавшие свои шести- и семичасовые смены, да еще полдюжины старшекласников на полставки, отец Фергусона редко брал себе отгулы в холодные месяцы, а когда устанавливалось тепло, тоже с выходными не частил.

Поскольку родители его были так озабочены, Фергусон был склонен свои беды держать при себе. В случае суровой нужды, знал он, на мать рассчитывать можно – она его поддержит, – но штука была в том, что за последнюю пару лет никаких суровых нужд не возникало, по крайней мере – таких, что заставили бы его броситься к матери за помощью, – и теперь, когда ему исполнилось одиннадцать с половиной, большинство обстоятельств, что некогда казались ему обстоятельствами суровой нужды, теперь сокращались до набора мелких неурядиц, которые он мог бы решить и сам. Пострадать в драке на игровой площадке перед первым днем школьных занятий было, вне всяких сомнений, передражкой крупной. Получить обвинение в распространении коммунистической пропаганды от директора школы – также, без вопросов, крупная передражка. Но можно ли считать ту и другую серьезные передражки обстоятельствами суровой нужды? И ладно еще, что он чуть не расплакался после выговора в кабинете мистера Джемсона, не стоит и о том, что со слезами этими он боролся всю дорогу из школы домой. Ужасный ему выпал день, вероятно – худший в жизни после того дня, когда он упал с дерева

и сломал ногу, и у него имелись теперь все причины на свете для того, чтобы не выдержать и расплакаться. Его избил друг, оскорбили другие приятели, ждать ему можно лишь новых побоев и насмешек, а последнее унижение – его назвал изменником этот тупой трус, директор, у которого кишка тонка даже отстранить его от занятий. Да, Фергусону было тоскливо, Фергусон изо всех сил старался не заплакать, Фергусон оказался в трудном положении, но что хорошего рассказывать об этом родителям? Мать вся изойдет на сочувствие, конечно, ей захочется его обнять и взять на ручки, она с радостью превратит его снова в маленького мальчика и будет держать на коленях, чтобы проревелся и изложил все свои плаксивые жалобы, а потом от его имени рассердится, будет грозиться, что позвонит мистеру Джемсону, чтобы высказать ему все, что она о нем думает, они условятся о встрече, взрослые станут из-за него ругаться, все примутся орать о розовом подрывном элементе и его розовых родителях, и что в этом будет хорошего, какие такие действия или слова его матери смогут помешать тому, чтобы ему не прилетело в следующий раз? Отец же будет по всему этому поводу более практичен. Он вытащит боксерские перчатки и преподаст Фергусону еще один урок в искусстве кулачной драки, *сладкой науке*, как отцу нравилось это называть, а это явно худшая ошибка названия в человеческой истории, и двадцать минут станет показывать ему, как обороняться и защищаться от противника, который выше него ростом, но что толку в боксерских перчатках на игровой площадке, где люди дерутся голыми руками и не следуют никаким правилам, где не всегда сражаются один на один, а часто бывает двое на одного или трое на одного – и даже четверо на одного? Сурово. Да, вероятно, это оно, однако ни Отец не знает, как лучше, ни Мать не знает, как лучше, а следовательно, ему придется держать все это при себе. Не звать на помощь. Ни слова никому из них. Надо терпеть, держаться подальше от игровой площадки и надеяться не сдохнуть до Рождества.

В аду он прожил весь учебный год, но природа этого ада и законы, им управлявшие, менялись от месяца к месяцу. Он предполагал, что все сведется в основном к колотушкам, к тому, что его будут бить, а он – по возможности давать сдачи, но крупные битвы на открытом воздухе на повестке дня не стояли, и хотя в первые недели занятий его частенько поколачивали, ему никогда не выпадало случая дать сдачи, потому что все, что ему прилетало, прилетало без предупреждения: откуда ни возмись на него пер какой-нибудь мальчишка, лупил по руке, или по спине, или по плечу и тут же убегал, не успевал Фергусон отреагировать. Удары болезненные, нападения исподтишка – на один укус, пока никто не смотрит, мальчишка всегда какой-нибудь новый, девять разных мальчишек из одиннадцати прочих его одноклассников, словно все они сговорились и выработали стратегию заблаговременно, а как только Фергусон получил свои девять ударов от девяти разных мальчишек, бить его прекратили. После этого оставался ноль внимания, фунт презрения, те же девятые отказывались с ним разговаривать, делая вид, будто не слышат Фергусона, если он открывал рот и что-то произносил, смотрели на него с тупыми безразличными лицами, прикидываясь, будто он невидимка, капля ничто, растворяющаяся в пустом воздухе. Затем настал период сбивания его наземь – старый трюк, когда один мальчишка становится у тебя за спиной на четвереньки, а другой сильно пихает спереди, резким движением, от которого теряешь равновесие, – и вот Фергусон кувыркался назад через спину присевшего мальчишки и далеко не раз ударялся оземь головой, а в этом же не только бесчестье того, что тебя снова застали врасплох, – это и больно. Столько веселья, столько смеха за его счет, а мальчишки были так коварны и ловки, что мистер Блази, похоже, ни разу ничего так и не заметил. Изуродованные рисунки, исчерканные домашки по математике, пропадающие школьные обеды, мусор у него в шкафчике, отрезанный рукав школьного пиджака, снег в галошах, собачья какашка в парте. Зима была временем розыгрышей, горькая пора гадостей под крышей и всеуглубляющегося отчаяния, а затем, через пару недель после его двенадцатого дня рождения, лед растаял и начался новый раунд колотушек.

Если б не девчонки, Фергусон бы точно развалился на куски, но ни одна из двенадцати девчонок в классе не ополчилась на него, а кроме них были и двое мальчишек, которые отказались участвовать в травле: жирный и слегка придурковатый Энтони Делукка, известный под разнообразными кличками Щекастый, Жирик и Жмяк, – он всегда смотрел на Фергусона снизу вверх, и его в прошлом частенько доставали Кролик и компания, – и новенький, Говард Мелк, тихий, интеллигентный пацан, летом переехавший в Вест-Оранж из Манхаттана, – этот пока лишь на ощупь разбирался в том, как все устроено в предместном захолустье. По сути, большинство учеников осталось в лагере Фергусона, и, поскольку он был не один, хотя бы не совсем уж одинок, ему удавалось выстоять, поскольку держался он трех своих главных принципов: никто не должен видеть, как он плачет, никогда не давать сдачи в раздражении или гнев и никогда ни словом не обмолвливаясь обо всем этом никому из взрослых, в особенности родителям. Дело это было, конечно, жестокое и деморализующее, бессчетные слезы проливались по ночам в подушку, он яростно, все более изощренно грезил о возмездии, надолго проваливался в скалистые пропасти меланхолии, впадал в нелепое умственное неистовство, где видел, как прыгает с вершины «Эмпайр-Стейт-Билдинга», произносил безмолвные филиппики против несправедливости того, что с ним происходит, под судорожный, отчаянный барабанный бой презрения к себе, в тайной убежденности, что он заслуживает наказания, поскольку сам на себя навлек весь этот ужас. Но то происходило наедине с собой. На людях же он вынуждал себя быть жестким, сносил удары, даже не пикнув от боли, не обращая на них внимания так, как не обращают внимания на муравьев на земле или погоду в Китае, от всякого нового унижения уходил так, словно победил в какой-то космической борьбе добра со злом, сдерживал в себе любое выражение горечи или расстройства, ибо знал, что за ним наблюдают девчонки, и чем храбрее противостоял он своим обидчикам, тем мощнее девчонки принимали его сторону.

Все это было так сложно. Теперь им было по двенадцать лет – ну или, того и гляди, исполнится двенадцать, и некоторые мальчишки и девчонки уже начинали разбиваться на парочки, старая пропасть между полами сузилась до того, что мужское и женское оказалось чуть ли не на общей почве, вдруг пошли разговоры о постоянных дружочках и подружках, о том, что кто-то с кем-то «ходит», почти каждые выходные устраивались вечеринки с танцами и игрой «в бутылочку», и те же мальчишки, кто еще год назад мучили девчонок тем, что дергали их за волосы и щипали за руки, теперь предпочитали с ними целоваться. Но все равно мальчишка номер один, Тиммерман, выковал романтический союз с девчонкой номер один, Сюзи Краусс, и они вдвоем правили всем классом как эдакая королевская чета, мистер и мисс Популярность-1959. Фергусону на руку было то, что они с Сюзи дружили с детского сада, и она руководила силами анти-травли. Когда они с Тиммерманом стали к концу марта ходить вместе, атмосфера начала несколько меняться, и совсем немного погодя Фергусон заметил, что на него нападают гораздо реже – и делает это гораздо меньше мальчишек. Вслух ничего не произносилось. Фергусон подозревал, что Сюзи предъявила своему возлюбленному ультиматум: хватит мучить Арчи, или я уйду, – а поскольку Тиммерману было интереснее ухлестывать за Сюзи, чем ненавидеть Фергусона, он и сдал назад. К Фергусону он по-прежнему относился с презрением, но прекратил пускать против него в ход кулаки и больше не портил его имущество, а раз Тиммерман вышел из Банды Девятерых, несколько других мальчишек ее тоже бросили, поскольку Тиммерман был их вожаком, и они во всем следовали ему, поэтому на два с половиной последних месяца занятий у Фергусона осталось всего четверо мучителей, Кролик и его банда имбецилов, и хотя получать от этой четверки приятным не казалось, было это гораздо лучше, чем огребать от девятерых. Сюзи не признавалась ему, разговаривала она с Тиммерманом или нет (протокол требовал, чтобы по этому поводу она из верности своей любви хранила молчание), но Фергусон был почти уверен, что разговаривала, и так благодарен был он Сюзи Краусс и ее благородному бойцовскому сердцу, что начал томиться по тому дню, когда она бросит наконец Тиммермана и ему откроется простор для того, чтобы самому попытаться с нею

счастья. Об этом думал он непрерывно все первые недели весны, решив, что, вероятно, лучше всего будет начать с приглашения провести с ним субботний день в отцовом теннисном центре, где он мог бы ей все показать и заодно продемонстрировать, насколько хорошо он знает, как там все устроено изнутри, что, несомненно, произведет на нее впечатление и создаст у нее нужный настрой для поцелуя, а то и нескольких поцелуев, а если и не для поцелуя, то хотя бы для того, чтобы им подержаться за руки. С учетом летучести таких подростковых романов в том углу нью-джерсейских предместий, где средний союз длился всего две-три недели, а два месяца парности считались эквивалентом десяти лет брака, со стороны Фергусона вовсе не было неразумно надеяться, что такая возможность представится ему еще до окончания учебного года и отпуска всех школьников на лето.

А тем временем он положил глаз на Глорию Долан – красивее Сюзи Краусс, но быть с нею оказалось не так восхитительно, мягкая, усидчивая душа по сравнению со стремительной, искрометной Сюзи, и все же Фергусон положил на нее глаз, поскольку обнаружил, что Глория положила глаз на него, вполне буквально – смотрела на него, когда думала, что он на нее не смотрит, и сколько же раз за последний месяц замечал он, как в классе из-за своей парты она пялится на него, когда мистер Блази отворачивался от учеников, чтобы решить на доске очередную задачку по математике, и уже не обращает внимания на белые меловые цифры, а вместо этого разглядывает Фергусона так, словно Фергусон вдруг стал предметом ее живейшего интереса, и теперь, раз сам он этот интерес осознал, то и Фергусон начал отворачивать голову от доски, чтобы посмотреть на нее, и все чаще и чаще взгляды их встречались, а всякий раз, когда такое происходило, они друг другу улыбались. На том рубеже своего путешествия по жизни Фергусон еще дожидался своего первого поцелуя, первого поцелуя от девчонки, поцелуя истинного, в отличие от подложных поцелуев матерей, бабушек и двоюродных сородичей женского пола, поцелуя пылкого, эротичного поцелуя, такого, что зайдет гораздо дальше простого прижатия губ к губам и отправит его в полет по доселе неизведанным местностям. К такому поцелую он был готов, думал о нем еще с поры до своего дня рождения, в последние несколько месяцев они с Говардом Мелком не раз и подолгу обсуждали этот вопрос, а теперь, когда они с Глорией Долан обменивались на уроках тайными улыбками, Фергусон решил, что Глория станет первой, ибо все до единого признаки указывали на неизбежность того, что она станет первой, и так оно и вышло, вечером в пятницу в конце апреля, покуда происходило сборище дома у Пегги Гольдштейн на Мерривуд-драйве, когда Фергусон вывел Глорию на задний двор и поцеловал ее, а поскольку она поцеловала его в ответ, целовались они довольно долго, гораздо дольше того, что он себе воображал: быть может, целых десять или двенадцать минут, – и когда Глория скользнула языком ему в рот на четвертой или пятой минуте, всё вдруг изменилось, и Фергусон понял, что живет он отныне в новом мире, а в старый мир – больше ни ногой.

Помимо изменивших жизнь поцелуев с Глорией Долан, другой хорошей штукой в том унылом году была углублявшаяся дружба с новеньким – Говардом Мелком. Способствовало то, что Говард приехал из другого места, что вышел на сцену в то первое злополучное утро нового учебного года без предвзятости или предрассудков касаясь того, кто тут кто или кто кем должен быть, что он купил третий номер «Покорителя мостовой» в первые же несколько минут после того, как оказался на игровой площадке, и с удовольствием просматривал его содержимое, когда увидел, как на мальчишку, который только что продал ему газету, напали Тиммерман и прочие, а поскольку отличить хорошее от плохого он умел, то немедленно взял сторону Фергусона и затем держался за Фергусона с первого же дня, а потому часто подвергался нападениям и сам – за то, что он друг Фергусона, и двое мальчишек очень сблизилась: каждый оказался бы в полном одиночестве, если б не другой. Отщепенцы шестого класса – и потому друзья, а не прошло и месяца – лучшие друзья.

Говард, не Гови – подчеркнуто не Гови. Мелк по фамилии, но отнюдь не мелкий по размерам, лишь на крохотную долю дюйма ниже Фергусона и уже начинал округляться, уже не тщедушная детка, но неуклонно крепнувший подросток, плотный и сильный, физически бесстрашный, спортсмен-камикадзе, который свои посредственные способности компенсировал несгибаемым воодушевлением и усилиями. Остроумный и добрый, учился он быстро и обладал талантом хорошо справляться под нажимом, превосходя даже Тиммермана по результатам стопроцентных контрольных, читал книги, как и Фергусон, начинал интересоваться политикой, как и Фергусон, а еще у этого мальчишки был чудесный дар к рисованию. Из-под карандаша, который он всегда носил в кармане, выходили пейзажи, портреты и натюрморты почти фотографической точности, а еще – карикатуры и комиксы, чей юмор коренился в неожиданных шуточках, основывался на словах, вырванных из своих привычных ролей, поскольку звучали они, как другие, не связанные с этими слова, например, рисунок, озаглавленный «Он по воздуху мчит, паря в простоте»<sup>13</sup>: изображался на ней мальчик, летящий по небу в заглавной букве Т, а позади него барахтались прочие мальчишки в других буквах алфавита, – или же Фергусонова любимая картинка, где Говард превратил тошноту в новый вид растительности, рисунок нес заголовок «Сад мистера Пинского»: сверху ряд вишневых деревьев, аккуратно подписанный «Вишни», ниже ряд черешен, аккуратно подписанный «Черешни», а внизу – ряд фонтанчиков рвоты, аккуратно подписанный «Тошни». Какой тонкий и забавный замысел, считал Фергусон, и какой тонкий слух – уловить в слове нечто иное, но еще больше уха тут засчитывался глаз, глаз, соединенный с рукой, поскольку результат и вполнину не был бы так действен, если бы рвота, бившая из земли, не была так здорово нарисована, ибо у Говарда она была просто божественна, изображена так точно и аккуратно, как Фергусон не видел ни разу в жизни.

Отец Говарда преподавал математику и перевез Мелков в Нью-Джерси, поскольку ему предложили новую должность заведующего отделом студентов в Монклерском педагогическом институте штата. Мать Говарда работала редактором в женском журнале «Очаг и дом», а это значило, что на работу она ездила в Нью-Йорк пять дней в неделю и редко возвращалась в Вест-Оранж до темна, а поскольку у Говарда еще имелись двадцатилетний брат и восемнадцатилетняя сестра (оба они учились в колледже), обстоятельства его были примечательно похожи на Фергусоновы – по факту единственный ребенок, возвращавшийся после школы в пустой дом. Очень немногие женщины в предместьях в 1959 году работали, но и у Фергусона, и у его друга матери были отнюдь не только домохозяйками, а следовательно, обоим пришлось стать независимее и увереннее в себе, чем большинству их соучеников, и теперь, когда им исполнилось по двенадцать лет и они во весь опор неслись к своим подростковым воротам, то, что им обоим предоставлялись широкие просеки безнадзорного времени, оказывалось преимуществом, поскольку в этот период жизни родители – уж точно самые неинтересные люди на свете, и чем меньше иметь с ними дела, тем лучше. Стало быть, они могли после школы ходить к Фергусону домой и включать телевизор, чтобы посмотреть «Американскую эстраду» или «Кино за миллион долларов», не опасаясь, что их отчитают за пустую трату последних драгоценных часов дневного света на то, чтобы сидеть взаперти *в такой прекрасный денек*. Дважды в ту весну им даже удавалось уговорить Глорию Долан и Пегги Гольдштейн пойти домой вместе с ними и устроить там в гостиной танцевальную вечеринку на четверых, а раз Фергусон и Глория к тому времени уже стали матерями целовальщиками, их пример вдохновил Говарда и Пегги на попытку их собственного посвящения в сложное искусство стыковки языками. В иные дни они ходили домой к Мелку, твердо зная, что им не помешают и не станут за ними шпионить, когда они открывают нижний ящик письменного стола Говардова брата и

<sup>13</sup> Парафраз первой строки популярной песни «The Flying Trapeze» (1867) английских композитора Гэстона Лайла и певца Джорджа Лейбуерна, вдохновленной акробатом Жюлем Леотаром.

вытаскивают пачку журналов с девчонками, которую тот держал там под невинным прикрытием учебника по химии для старших классов. За этим следовали долгие беседы о том, у какой голой женщины там самое прелестное личико или самое привлекательное тело, производились сравнения натурщиц в «Плейбое» и их же в «Дженте» и «Свонке», глянцевого, хорошо освещенные цветные фотоснимки квазиневожможных на вид женщин «Плейбоя» в отличие от более грубых, зернистых изображений в журналах подешевле, вылизанные всеамериканские молодые красотки и распутницы постарше, более похотливые, с жесткими лицами и отбеленными волосами, а цель дискуссии всегда была выяснить, кто из них больше тебя возбуждает и с какой из женщин ты бы скорее занялся любовью, как только тело твоё станет способно на настоящий секс, а это в данный момент оставалось несбыточным ни для одного, ни для другого, но теперь уже оставалось недолго, может, еще полгода, может, год, и они наконец заснут однажды вечером, а наутро проснутся и обнаружат, что стали мужчинами.

Фергусон отслеживал изменения в собственном теле с тех самых пор, когда на нем появился первый признак неотвратимой мужественности – в виде единственного волоска, выросшего у него в левой подмышке, когда ему было еще десять с половиной лет. Он знал, что это означает, и удивился, поскольку казалось, что появился этот волосок слишком рано, и он в тот миг еще не был готов попрощаться с собой-мальчиком, принадлежавшим ему с самого рождения. Волосок он считал уродским и нелепым – незванный гость, присланный некоей чуждой силой, чтобы испортить ему доселе незапятнанную личность, – а потому выдернул его. Однако через несколько дней тот вернулся – вместе со своим братом-близнецом, который возник там на следующей неделе, а затем оживилась и правая подмышка, и прошло совсем немного времени, как отдельные прядки уже стали неразличимы, волоски превратились в гнезда волос, и к его двенадцати годам они уже были постоянным фактом его жизни. Фергусон с ужасом и зачарованностью наблюдал, как преображаются и другие участки его тела, почти что невидимый светловатый пушок на ногах и руках потемнел, погустел и стал изобильнее, в некогда гладком низу живота возникла лобковая поросль, а затем, едва ему сравнялось тринадцать, между носом и верхней губой у него начал зарождаться гадостный черный пух, настолько отвратительный и уродующий, что однажды утром он его сбрил отцовской электробритвой, а когда две недели спустя он снова отрос, сбрил его опять. Ужас заключался в том, что происходившее с ним не было в его власти, что тело его превратилось в площадку для эксперимента, проводимого каким-то сбрендившим шутником-ученым, и пока волосы продолжали размножаться по все большим участкам его кожи, он не мог не думать о Человеке-волке, герое того жуткого фильма, который они посмотрели с Говардом однажды вечером еще осенью по телевизору, о превращении обычного человека в чудовище с мохнатой мордой: как Фергусон теперь это понимал, то была притча о беспомощности, какую человек испытывает при своем половом созревании, ибо тогда ты просто обречен стать тем, кем стать за тебя решили твои гены, и пока процесс этот не завершится, ты понятия иметь не будешь, что именно принесет тебе каждый следующий день. В том-то и был весь ужас. Но вместе с ужасом присутствовала и замороженность, знание, что сколь долго бы это ни заняло, каким бы длительным ни было это путешествие, оно в итоге приведет тебя в царство эротического блаженства.

Беда была лишь в том, что Фергусон по-прежнему ничего не знал о самой природе этого блаженства, и как бы ни старался он вообразить, что станет чувствовать его тело в корчах оргазма, воображение неизменно подводило Фергусона. Его первые двузначные годы заполнены были слухами и пересудами, а отнюдь не крепкими фактами, таинственными, неподтвержденными историями мальчишек, у кого были братья-подростки постарше, кто ссылаясь на немыслимые судороги, связанные с достижением эротического блаженства, пульсирующие потоки мутно-белой жидкости, фонтаном бьющие у тебя из пениса, к примеру, которым как-то удавалось покрывать по воздуху расстояния в несколько футов или даже ярдов, – так называемое семяизвержение, каковое всегда сопровождалось тем желанным ощущением блаженства,

которое брат Говарда Том описывал как лучшее чувство на свете, но когда Фергусон нажал на него, требуя больше подробностей и точного описания того, каково это чувство, Том ответил, что он даже не знает, с чего начать, это слишком трудно облечь в слова, и Фергусону просто придется дожидаться, когда оно придет к нему самому, а такой ответ раздражал – он никак не развешивал невежества Фергусона, и хотя некоторые технические понятия были теперь ему знакомы, к примеру, слово *семя*, это такое липкое вещество, что выстреливает из тебя и несет в себе сперматозоиды, которые нужны для производства младенцев, если кто-то это слово употреблял при нем, Фергусон неизменно думал о судне, полном матросов, торговых моряков, одетых во млечные, белые формы, как они сходят на берег с какого-нибудь сейнера и направляются напрямик в сомнительные бары, выстроившиеся возле порта, чтобы заигрывать в них с полуголыми женщинами и вместе с другими просоленными морскими волками горланить пьяные матросские песни, пока одноногий дядька в полосатой рубашке выжимает мелодию из своей древней концертины. Бедный Фергусон. Ум его был не в ладу с собой, а поскольку он до сих пор не мог себе представить, что все эти слова на самом деле значат, мысли его обычно металась в несколько сторон сразу. Сейнер вскоре превращался в семь я, а мгновение спустя он уже воображал, как они, вслепую держась друг за друга, заходят в шумный бар.

Ясно было, что главным участником этой драмы была его промежность. Либо, если прислушаться к терминологии древних иудеев, его чресла. Иными словами – его причинные места, которые в медицинской литературе, как правило, звались гениталиями. Ибо сколько он самого себя помнил, ему всегда было приятно трогать себя там, возиться со своим пенисом, пока никто не смотрит, по ночам в постели или рано утром, например, играть этим плотским отростком, пока тот не вздымался жестко в воздух, увеличиваясь в размерах в два, три, а то и четыре раза, и вот с этой поразительной мутацией по всему его телу начинало растекаться некое зарождавшееся наслаждение, особенно в нижней части тела, какой-то бесформенный нахлыв чувства, какое еще не было блаженством, но уже намекало, что настанет такой день, когда этого блаженства можно будет достичь подобным видом трения. Теперь уже Фергусон рос неуклонно, с каждым утром тело его казалось немного крупнее, чем накануне, а рост его пениса не отставал от всего остального в нем, это больше не была птичка-кочерыжка, как в детстве-до-волос, а все более внушительный отросток, у которого ныне, казалось, появился собственный мозг – отросток этот удлинялся и отвердевал при малейшей провокации, особенно в те дни, когда они с Говардом изучали журналы Тома с голыми девушками. Учились они теперь уже в средней школе, и однажды Говард пересказал анекдот своего брата.

Учитель естествознания спрашивает у своих учеников: Какая часть тела может вырастать до своего шестикратного размера? И показывает на мисс Макгиликадди, а та вместо ответа на вопрос заливается румянцем и закрывает лицо руками. Учитель после этого вызывает мистера Макдональда, и тот быстро отвечает: Зрачок в глазу. Правильно, говорит учитель, затем поворачивается к покрасневшей мисс Макгиликадди и обращается к ней с раздражением, граничащим с презрением. Должен сказать вам три вещи, барышня, говорит он. Первое: вы не выполнили домашнее задание. Второе: у вас очень грязный и нездоровый ум. И третье: в жизни вас ждет множество жестоких разочарований.

Стало быть – не в шесть раз, даже после того, как он полностью вырастет. Есть пределы у того, чего можно ждать от будущего, но каковы бы ни были точные размеры, каков бы ни был зазор между мягким расслабленным состоянием и жесткой готовностью, увеличения этого будет довольно для каждого дня<sup>14</sup>, и для ночи того дня, и для всех ночей и дней, что воспевают.

Старшие классы несомненно превосходили среднюю школу, в которой он пробыл пленником последние семь лет, и, поскольку в конце каждого пятидесятиминутного урока по кори-

<sup>14</sup> Мф. 6:34.



дорам носилась тысяча с лишним учащихся, ему уже не приходилось терпеть удушающую сокровенность в узилище класса из двадцати трех или двадцати четырех одних и тех же людей с понедельника по пятницу и с начала сентября до конца июня. Банда Девятерых теперь отступила в прошлое, и даже Кролик и трое его прихлебателей, в общем и целом, скрылись с глаз, поскольку дорожки Фергусона теперь редко пересекались с их тропами. Тиммерман еще присутствовал – был одноклассником Фергусона по четырем предметам, но двое мальчишек сосуществовали мирно лишь благодаря тому, что оба из кожи вон лезли, лишь бы не обращать друг на друга внимания: такой тупик в отношениях был отнюдь не счастливым, но и невыносимым он не был. Что еще лучше, Тиммерман и Сюзи Краусс расстались, как Фергусон и надеялся, а поскольку сам Фергусон за лето утратил связь с Глорией Долан, его первая подружка по поцелуям ныне положила глаз на смазливового Марка Коннелли, что Фергусона разочаровало, но целиком и полностью не раздавило, раз теперь ему открылся путь броситься за Сюзи Краусс, девчонкой, о которой он мечтал в шестом классе, и он взял быка за рога – однажды вечером на первой неделе занятий позвонил ей, что привело к визиту в теннисный центр его отца в субботу днем, что, в свою очередь, привело к их первому поцелую в следующую субботу и множеству других поцелуев в последующие пятницы и субботы на протяжении нескольких месяцев, а затем расстались и они, ибо Сюзи пала в объятия вышеупомянутого Марка Коннелли, который проиграл Глорию Долан мальчику по имени Рик Бассини, а Фергусон стал сохнуть по все более привлекательной Пегги Гольдштейн, которая сколько-то времени назад порвала с Говардом, но лучший друг Фергусона оправился от этого с сердцем своим в целости и сохранности, и теперь это самое сердце предлагал веселой и кипучей Эди Кантор.

Так оно все и продолжалось весь год эфемерных влюбленностей и карусельных романчиков, который также стал годом, когда все больше и больше его друзей являлось в школу со скобками на зубах, и годом, когда все начали тревожиться из-за своей скверной кожи. Фергусон ощущал, что ему повезло. Пока что на лицо его напало всего три или четыре умеренных вулкана, которые он выдавил при первой же возможности, а родители его решили, что зубы у него и так ровные, и подвергать его испытаниям ортодонтии не стали. Мало того, они настояли на том, чтобы он поехал в лагерь «Парадиз» еще на одно лето. Сам он предполагал, что в тринадцать лет для лагеря, возможно, он слишком выросл, а потому на рождественских каникулах спросил у отца, нельзя ли ему июль и август поработать в теннисном центре, но отец рассмеялся на это и сказал, что на работу времени у него будет достаточно и потом. Тебе нужно больше быть на свежем воздухе, Арчи, сказал ему отец, бегать с мальчишками твоего возраста. А кроме того, документы, разрешающие тебе работать, ты получишь только в четырнадцать лет. Раньше в Нью-Джерси нельзя, а ты же не хочешь, чтобы у меня были неприятности из-за того, что я нарушил закон, правда?

В лагере Фергусон был счастлив. Он там всегда бывал счастлив, и приятно было воссоединиться со своими летними друзьями из Нью-Йорка – с полудюжиной городских мальчишек, которые ездили в лагерь из года в год, как и он сам. Он получал удовольствие от вечного сарказма и юмора их, тараторящих и жизнерадостных, – это часто напоминало ему о том, как в кино о Второй мировой войне друг с другом разговаривают американские солдаты, – от их комического, остроумного трепа, от настоятельной потребности никогда ничего не принимать всерьез, любую ситуацию превращать в повод для следующей шутки или брошенной в сторону насмешки. Несомненно, было что-то восхитительное в том, чтобы нападать на саму жизнь с таким остроумием и непочтительностью, но также временами это могло становиться и утомительным, и когда бы Фергусон ни осознавал, что с него хватит словесных кунштюков своих товарищей по жилью, он начинал скучать по Говарду, который был далеко, на молочной ферме своих тети и дяди в Вермонте, где проводил каждое лето, и потому принимался писать ему письма на тихом часе после обеда, множество коротких и длинных писем, в которых излагал

все, что приходило ему в этот миг в голову, поскольку Говард был единственным человеком на свете, на кого он мог все это вывалить, единственным, кому не боялся доверять и поверяться, особенным, безупречным другом, с кем он мог делиться всем, от критики других людей и замечаний о прочитанных книгах до размышлений о том, как трудно не пукать на людях, и мыслей о боге.

Всего таких писем получилось шестнадцать, и Говард хранил их в квадратной деревянной коробке – не выбрасывал даже после того, как вырос и начал взрослую жизнь, потому что тринадцатилетний Фергусон, его друг с ровными зубами и сияющей физиономией, основатель давно уже не существующего, но не позабытого «Покорителя мостовой», мальчик, в шесть лет сломавший себе ногу, пропоротивший стопу в три и чуть было не утонувший в пять, кто вытерпел поношения Банды Девяти и Банды Четырех, кто целовал Глорию Долан, Сюзи Краусс и Пегги Гольдштейн, кто считал дни до того, как ему будет можно вступить в царство эротического блаженства, кто предполагал, рассчитывал и принимал совершенно как должное, что перед ним еще много лет жизни, до конца лета не дожил. Именно поэтому Говард Мелк сохранил эти шестнадцать писем – они были последними следами присутствия Фергусона на этой земле.

«Я больше не верю в Бога, – писал тот в одном. – По крайней мере – в Бога иудеев, христиан и любой другой религии. Библия утверждает, что Бог создал человека по образу своему. Но Библию написали люди, правда же? А это значит, что человек создал Бога по *своему* образу. Что, в свою очередь, означает, что Бог за нами не присматривает, и уж точно ему плевать, о чем люди думают, чем занимаются или что чувствуют. Если б ему вообще было до нас какое-то дело, он бы не сотворил мир с таким количеством ужасных вещей в нем. Люди б не сражались в войнах, не убивали друг друга и не строили концентрационные лагеря. Они б не врали, не жульничали и не воровали. Я не утверждаю, что Бог мира не создавал (это ни одному человеку не под силу!), но как только работа закончилась, он распался на атомы и молекулы Вселенной и бросил нас разбираться друг с дружкой».

«Я рад, что Кеннеди выиграл выдвижение, – написал он в другом письме. – Мне он нравился больше, чем другие кандидаты, и я уверен, что осенью он одолеет Никсона. Не знаю, почему я так уверен, но трудно себе представить, что американцы захотят себе в президенты человека с кличкой Хитрый Дик».

«У меня в хижине шесть других мальчишек, – писал он в еще одном письме, – и трое из них уже такие взрослые, что могут “делать это”. Они дробчат в постелях по ночам и рассказывают всем нам, как им от этого хорошо. Два дня назад устроили, как они это называли, круговую дробчку и пустили нас посмотреть, поэтому я наконец увидел, как выглядит эта штука и как далеко пуляет. Она не молочно-белая, а как бы сливочно-белая такая, вроде майонеза или тоника для волос. Потом у одного из трех царей дробчки, здорового парня по имени Энди, встал снова, и он сделал такое, что поразило и меня, и всех остальных. Он нагнулся и стал сосать собственный хер! Я вообще не думал, что человек на такое способен. Ну то есть как можно быть таким гибким, чтобы изогнуть собственное тело в такую позу? Сам я попробовал так вчера утром в умывальне, но ртом даже близко до своего хера не дотянулся. Тем лучше, наверное. Не хотелось бы ходить и считать себя хуесосом, правда? Но все равно, до чего странно было на это смотреть!»

«Здесь, с тех пор как приехал, я прочел три книги, – писал он в последнем письме, датированном девятым августа, – и считаю, что все они обалденные. Две из них мне прислала тетя Мильдред: маленькую Франца Кафки, называется “Превращение”, и одну побольше – Дж. Д. Сэлинджера, называется “Ловец во ржи”. А третью мне дал Гари, муж моей двоюродной сестры Франси, – “Кандид” Вольтера. Книжка Кафки – самая из них дикая, и читать ее было труднее всего, но мне очень понравилось. Человек однажды утром просыпается и обнаруживает, что превратился в громадное насекомое! Похоже на научную фантастику или рассказ про ужасы, но нет. Это про человеческую душу. “Ловец во ржи” – про парнишку-старшеклассника, кото-

рый бродит по Нью-Йорку. В ней ничего особенного не происходит, но то, как Холден (это главный герой) разговаривает, – очень как в жизни и правда, и он просто не может не нравиться, хочется с ним подружиться. “Кандид” – это старая книжка, XVIII века, но она дикая и смешная, и я хохотал вслух почти на каждой странице. Гари ее называл политической сатирой. Мое тебе слово, это здоровское чтиво! Ты ее обязательно должен прочесть – и другие книжки тоже. Я уже их все дочитал – и тут поразился, какие они все три разные. Каждая написана по-своему, и все очень хорошие, а это означает, что написать хорошую книгу можно не всего одним способом. В прошлом году мистер Демпси постоянно твердил нам, что все можно делать или правильно, или неправильно, помнишь? Может, с математикой и точными науками оно так и есть, а вот с книжками – нет. Их делаешь по-своему, и если нашел хороший подход, напишешь хорошую книжку. Самое интересное, что я так и не решил, какая мне понравилась больше всех. Можно бы подумать, что это и так понятно, но мне – нет. Мне они все очень понравились. А это значит, наверное, что любой хороший подход – он правильный. Мне очень радостно, когда я думаю о книжках, каких еще не читал, – их же сотни, тысячи. Столького еще можно ждать!»

Последний день жизни Фергусона, 10 августа 1960 года, начался кратким ливнем сразу после восхода, но когда в половине восьмого прозвучала побудка, тучи уже сдуло к востоку и небо стало голубым. Фергусон и шестеро его сожителей по хижине направились в столовую со своим вожатым Биллом Кауфманом, в июне закончившим второй курс в Бруклинском колледже, и за те тридцать или сорок минут, какие у них заняли овсянка и омлет, тучи вернулись, и пока мальчишки шли обратно в хижину, на уборку и проверку, дождик начался опять, такой мелкий и незначительный, что едва ли имело значение, что ни на ком из них не было накидок или с собой зонтиков. Футболки их все покрылись темными крапинами влаги, но на этом и всё – легчайшая из легких морось, вода в столь мелких количествах, что они даже не вымокли. Но вот стоило им начать утренний ритуал заправки постелей и подметания пола, небо потемнело сильнее, и скоро уже дождь полил всерьез, все быстрее заколотил по крыше хижины все большими каплями. Минуту или две в этом стуке звучали прелестные негармоничные синкопы, как показалось Фергусону, но затем дождь усилился, и такое впечатление исчезло. Дождь не играл больше музыку. Он превратился в массу плотного неразборчивого звука, в сплошной барабанный мазок. Билл сообщил им, что с юга подступает новая метеосистема, а с севера одновременно надвигается холодный фронт, и можно рассчитывать на продолжительную, сильную мокрядь. Устраивайтесь поудобнее, мальчишки, сказал он. Буря будет долгой, и почти весь день мы с вами просидим в этой хижине.

Темное небо потемнело еще больше, и в хижине становилось трудно что-то разглядеть. Билл зажег верхний свет, но даже когда тот загорелся, внутри все равно оставалось темно, потому что семидесятипятиваттная лампочка висела слишком высоко под стропилами и мало освещала то, что внизу. Фергусон лежал у себя на кровати, листал старый номер журнала «Мад», который у них в хижине передавали из рук в руки, читал, подсвечивая себе фонариком, и задавался вопросом, случалось ли у них когда-нибудь такое темное утро. Дождь уже бил в крышу во всю мощь, колотил по кровельной дранке, как будто жидкие капли его обратились камнями, миллионы камней валялись с неба и стучали по ней, а потом где-то в дальней дали Фергусон расслышал тупой басовый рокот, густой, слипшийся звук, отчего вдруг подумал, что так кто-то прочищает горло, гром, звучащий, должно быть, за много миль от них, где-то в горах, наверное, и Фергусону это вдруг показалось странным, поскольку по его опыту гром и молния в грозах случаются вместе с дождем, а тут дождь уже идет, льет так, что сильнее некуда, а вот грома еще нет и близко, что подвело Фергусона к рассуждениям, что, быть может, сейчас происходят две отдельные грозы – одна прямо над ними, а другая подкатывается с севера, и если первая гроза не выдохнется до прибытия второй, обе они столкнутся друг с дружкой и

солятся вместе, а от этого получится чертовски могучая буря, сказал себе Фергусон, гроза просто эпохальная, такая, что конец всем громам.

Кровать справа от Фергусона занимал мальчишка по имени Гал Краснер. С самого начала лета у них двоих была фирменная шутка: они изображали смышленного Джорджа и недалекого Ленни, бродяг из «О мышах и людях» – эту книжку они прочли в начале того года и сочли, что в ней полно возможностей для комикования. Фергусон был Джорджем, а Краснер – Ленни, и почти всякий день они по несколько минут импровизировали полоумные диалоги своих избранных персонажей, выдавали уверенный раунд чепухи, который обычно начинался с того, что Ленни просил Джорджа рассказать ему, каково оно будет, когда они попадут на небо, к примеру, а Джордж напоминал Ленни, чтобы не ковырялся в носу на людях, идиотские разговоры, что, вероятно, ббльшим были обязаны Лорелу и Гарди, чем Стейнбеку, но мальчишек подобные выходки развлекали, и теперь, раз их лагерь заливало дождем и все застряли в четырех стенах, Краснер был в настроении затеять это еще разок.

Прошу тебя, Джордж, начал он. Пожалуйста, прекрати. Я больше не вынесу.

Что прекратить, Ленни? – отозвался Фергусон.

Дождь, Джордж. Шум дождя. Слишком громко, я уже начинаю сходить с ума.

Ты всегда был сумасшедшим, Ленни. Сам же знаешь.

Не сумасшедшим, Джордж. Просто глупым.

Глупым, да. Но еще и сумасшедшим.

Я тут ничего сделать не могу, Джордж. Я таким родился.

Тебя никто в этом и не винит, Ленни.

Ну так и что?

Что – что?

Ты мне дождь прекратишь?

Это только начальство может.

Но ты же начальство, Джордж. Ты всегда был начальство.

Я имел в виду главное начальство. Одно-единственное.

Не знаю я никакого одноединого. Я только тебя знаю, Джордж.

Чтоб эдакое отмочить, тут чудо потребуется.

Так и ладно. Ты же все можешь.

Правда?

Меня уже тошнит от шума, Джордж. Я, наверное, умру, если ты ничего не сделаешь.

Краснер зажал руками уши и застонал. Он теперь был Ленни, который сообщает Джорджу, что сил у него больше не осталось, а Фергусон-Джордж кивал, печально ему сочувствуя и зная, что не может ни один человек прекратить падение дождя с неба, что чудеса не под силу человечеству, а вот Фергусону-Фергусону было непросто продолжать игру со своего конца, Краснеровы стоны больной коровы просто-напросто были очень смешны, и, послушав их еще несколько секунд, Фергусон расхохотался, что нарушило для него все очарование игры, а вот для Краснера – нет: он решил, что Фергусон хохочет, как Джордж, и потому, по-прежнему изображая Ленни, Краснер отнял руки от ушей и сказал:

Некрасиво так смеяться над человеком, Джордж. Может, я и не самый смышленный парень в округе, но у меня есть душа, ровно как у тебя и всех прочих, и если ты не сотрешь ухмылку у себя с лица, я тебе шею сверну напополам, как это делаю кроликам.

Теперь, раз Краснер-Ленни произнес такую искреннюю и действенную речь, Фергусон почувствовал себя обязанным вернуться в роль, снова стать Джорджем ради Краснера и ради других мальчишек, их слушавших, но едва он уже собрался набрать в легкие побольше воздуха и заорать приказ дождю остановиться – *А ну хватит поливать нас, начальство!* – как небо рявкнуло таким пронзительным ударом грома, шум грянул такой громкий и такой взрывной, что сотрясся даже пол хижины и задребезжали оконные рамы – и продолжали гудеть и

вибрировать, покуда следующий удар грома не сотряс их снова. Половина мальчишек подскочили от неожиданности, дернулись вперед, невольно вздрогнули от этих звуков, а другие чисто рефлекторно вскрикнули, воздух выстреливал у них из легких короткими, испуганными восклицаниями, которые казались словами, а на самом деле были инстинктивными выкриками в форме слов: *ух, эй, ай*. Дождь все еще лил сильно, хлестал в окна, и в них было трудно что-либо разглядеть – лишь волнистую водянистую тьму, освещаемую внезапными копьями молний, все черно на десять-двадцать ударов сердца, а затем миг-другой слепящего белого света. Буря, какую Фергусон себе воображал, та громадная двойная гроза, что сплавится в одну, когда столкнутся воздух с севера и воздух с юга, уже навалилась на них и даже была еще больше и лучше, чем он надеялся. Роскошная буря. Топор ярости раскалывал небеса на части. Восторг.

Не волнуйся, Ленни, сказал он Краснеру. Не нужно бояться. Я сейчас же положу конец этому шуму.

И, даже не помедлив, чтобы пояснить кому бы то ни было, что он намерен сделать, Фергусон соскочил с кровати и побежал к двери, которую отрывисто дернул на себя обеими руками, и хоть и слышал у себя за спиной Билла, кричавшего: *Да что ж такое, Арчи! Ты с ума сошел!* – не остановился. Он понимал, что это и впрямь сумасбродство – то, что он делает, – но штука заключалась в том, что ему в тот миг и хотелось быть сумасбродом, он желал выскочить наружу в бурю, испробовать грозу, влиться в грозу, оказаться внутри грозы настолько, насколько грозе захочется остаться в нем.

Ливень был великолепен. Едва Фергусон пересек порог и шагнул на землю, он понял, что ни один дождь на свете никогда не лил сильнее, капли дождя были гуще и летели быстрее, чем любые другие капли, какие он знал, что неслись они с небес с силою свинцовых катышков и были так тяжелы, что на коже возникали синяки, а то и на черепе вмятину могли оставить. Внушительный дождь, всемогущий дождь, но, чтобы насладиться им в полнейшей мере, прикинул он, стоит добежать до рощицы дубов, стоявшей ярдах в двадцати впереди, где листва и ветви защитят его тело от этих падающих пуль, и вот Фергусон рванул туда, опрометью по насквозь промокшей, скользкой земле к деревьям, расплескивая лужи по щиколотку, а над головой у него и вокруг грохотал гром, и молнии били всего в нескольких ярдах от его ног. Добравшись до рощицы, он был уже весь насквозь мокрый, но ощущалось это хорошо, лучше всего на свете – вот так промокнуть, и Фергусон был счастлив, счастливее он не был никогда ни тем летом, ни каким-либо другим летом, ни в какое другое время своей жизни, потому что ничего лучше он уж точно никогда не вытворял.

Ветра почти не было. Буря не была ураганом или тайфуном, то был просто ревущий ливень с громом, от которого сотрясались его кости, и молнией, что слепила глаза, и Фергусон ничуть не боялся той молнии, поскольку был в теннисных тапках, а при себе не имел ни одного металлического предмета, даже наручных часов или ремня с серебряной пряжкой, и потому под укрытием деревьев ему ощущалось безопасно и восторженно – он смотрел оттуда в серую стену воды, стоявшую между ним и хижинкой, наблюдал за смутной, почти невидимой фигурой своего вожатого Билла, замершего в дверном проеме: казалось, тот что-то кричит ему или же кричит на него и жестами показывает, чтобы Фергусон вернулся в хижину, но Фергусон не слышал ни слова из того, что Билл кричал, с таким-то шумом дождя и грома, а особенно когда сам Фергусон завыл, уже не Джордж, взявшийся спасти Ленни, а просто сам Фергусон, тринадцатилетний мальчишка, вопящий от восторга при мысли, что жив в таком мире, какой дан был ему в то утро, и даже когда молния ударила в верхние ветви одного дуба, Фергусон не обратил на нее внимания, ибо знал, что в безопасности, а когда увидел, что Билл выскочил из хижины и бежит к нему, чего это он так, спросил себя Фергусон, но ответить на этот вопрос не успел – ветвь отломилась от дерева и падала к его голове. Он ощутил удар, почувствовал, как дерево треснуло его, словно ему кто-то заехал по башке сзади, а потом уже ничего не чувствовал, вообще ничего и никогда больше, и пока его бездвижное тело лежало на залитой

водой земле, сверху на него продолжал лить дождь, а гром грохотал и дальше, и боги – с одного края света до другого – молчали.

### 2.3

Его дедушка называл это *занятым междуцарствием*, имея в виду время, застрявшее между двумя другими временами, время без времени, когда все правила того, как тебе полагается жить, вышвырнуты в окошко, и хотя мальчик-безотцовщина понимал, что вечно длиться это не может, ему хотелось, чтобы затянулось оно подольше, чем на два отпущенных ему месяца, еще на два поверх тех первых двух, быть может, или еще на полгода, а то и на год. Хорошо было жить в том времени без школы, в причудливом зазоре между одной жизнью и следующей, когда мать находилась с ним с той секунды, как он утром открывал глаза, до той секунды, когда закрывал их вечером, ибо она единственный человек на свете, кто теперь казался ему настоящим, и до чего же хорошо было делить с нею те дни и недели, те странные два месяца питания в ресторанах и хождения по пустым квартирам, и в кино почти каждый день, столько фильмов просмотрено вместе во тьме балкона, где им позволялось плакать, когда хочется, и при этом ни с кем не объясняться. Мать его называла это *барахтаньем в трясине*, и под этим Фергусон понимал трясину их несчастья, но погружаться в такое несчастье отчего-то было до странности удовлетворительно, как он обнаружил, если только погружаться как можно глубже и не бояться утонуть, а поскольку слезы все время выпихивали их в прошлое, это защищало их от нужды думать о будущем, но потом однажды мать сказала, что пора уже начать о нем думать, и слезам настал конец.

Школа, к несчастью, оставалась неизбежной. Как бы ни хотелось Фергусону продлить свою свободу, не в его власти было такое контролировать, и как только они с матерью решили снимать квартиру на Западной Центрального парка, следующим пунктом в повестке дня стало поместить его в хорошую частную школу. Бесплатная даже не обсуждалась. На этом твердо стояла тетя Мильдред, и в том редком случае согласия между сестрами мать Фергусона последовала ее совету, зная, что Мильдред лучше нее осведомлена в вопросах образования, и зачем швырять Арчи на грубый асфальт игровой площадки бесплатной школы, если ей по карману расходы на подготовку в частной? Ей для мальчика хотелось только лучшего, а Нью-Йорк превратился в город мрачнее и опаснее того, который она покинула в 1944 году – по улицам Верхнего Вест-Сайда бродили шайки молодежи, вооруженной выкидными ножами и смертоносными самострелами, всего в двадцати пяти кварталах от того места, где жили ее родители, и все же – в иной вселенной: тот район за последние несколько лет преобразился притоком пуэрториканских иммигрантов и стал грязнее, беднее и колоритнее, чем в войну, воздух теперь был заряжен незнакомыми запахами и звуками, иная энергия уже оживляла тротуары на авеню Колумбус и Амстердам, стоило лишь выйти за порог – и ощутишь подводное течение угрозы и смятения, и мать Фергусона, которой ребенком и юной женщиной всегда было в Нью-Йорке так уютно, тревожилась за безопасность сына. Вторая половина занятого междуцарствия, следовательно, посвящена была не только покупке мебели и хождению в кино – в списке Мильдред присутствовало с полдюжины частных школ, которые следовало посмотреть и обсудить, провести экскурсии по классам и удобствам, побеседовать с директорами и приемными комиссиями, пройти тесты на умственные способности и сдать вступительные экзамены, и когда Фергусона приняли в первый номер по списку Мильдред – школу для мальчиков Гиллиард, в семье так радовались, его омыло такой волной теплоты и восторга от прародителей, матери, тети и дяди, а также двоюродной бабушки Перл, что почти восьмилетний сирота прикинул: должно быть, школа – не такой уж скверный способ коротать время, в конце-то концов. Влиться туда, конечно, было непросто – в конце февраля, когда от учебного года осталась всего-то почти треть, да и ничего хорошего в том, чтобы каждый день носить пиджак с галстуком, но, воз-

можно, и не будет в этом большой беды, кто знает, он как-то привыкнет к форме, но даже если это бедой и окажется, и к форме он так и не привыкнет, разницы никакой, потому что нравится ему это или нет, но в школу для мальчиков Гиллиард ходить ему придется.

А пошел он туда потому, что тетя Мильдред убедила его мать: Гиллиард – одна из лучших школ в городе, с *давней репутацией высокой академической успеваемости*, но никто не сказал Фергусону, что учиться он будет вместе с некоторыми богатейшими детьми в Америке, отпрысками привилегированного Нью-Йорка старых денег, или что он окажется в своем классе единственным мальчишкой, живущим в Вест-Сайде и одним из лишь одиннадцати нехристиан во всей школе с приемом на полное среднее образование в почти шесть сотен человек. Поначалу никто не подозревал, что он чем-то отличается от шотландского пресвитерианина – ошибка, объяснимая в свете фамилии его деда, которую тот получил в 1900 году после ошибки с Рокфеллером, но затем один учитель заметил, что у Фергусона не шевелятся губы, когда ему полагось произносить *Иисус Христос, Господь наш* в утренней часовне, и со временем разнеслась весть, что он – из одиннадцати, а не из пятисот семидесяти шести. Добавьте сюда то, что в школу он поступил поздно, мальчиком был преимущественно молчаливым, в классе ни с кем связан не был – и становится понятно, что пребывание Фергусона в Гиллиарде было обречено с самого начала, обречено еще до того, как он успел войти в здание в свой первый учебный день.

Дело не в том, что кто-то был к нему недобр или кто-то его допекал или что ему давали понять, что он здесь нежеланен. Как и в любой другой школе, тут были дружелюбные мальчики и мальчики нейтральные, а также всякие гады, но даже самые мерзкие из последних никогда не дразнили Фергусона за то, что он еврей. Гиллиард, конечно, мог быть местом чопорным, где все ходят в костюмах и при галстуках, но еще там проповедовались терпимость и добродетели джентльменского владения собой, и с любым актом неприкрытой предвзятости начальство разобралось бы жестко. Неуловимее и сильнее Фергусона сбивало с толку то, с чем ему приходилось мириться: некое бесхитростное невежество, которое его одноклассникам, похоже, вприснули при рождении. Даже Дуг Гейс, вечно дружелюбный и добродушный Дуги Гейс, который подчеркнуто подружился с Фергусоном с того момента, как тот появился в Гиллиарде, который первым пригласил его к себе на день рождения и после неоднократно приглашал в городской особняк своих родителей на Восточной Семьдесят восьмой улице, не меньше дюжины раз, все равно мог спросить, уже девять месяцев зная Фергусона, что тот намерен делать на День благодарения.

Есть индюшку, ответил Фергусон. Так мы поступаем каждый год. Мы с матерью идем в гости к ее родителям и едим там индюшку с начинкой и подливой.

А, сказал Дуги. Я не знал.

А что такое? – ответил Фергусон. Вы разве не так же поступаете?

Мы-то да. Я просто не думал, что у вас принято отмечать Благодарение.

У нас?

Ну, знаешь. У евреев.

А чего б нам не отмечать Благодарение?

Потому что это американская такая штука, наверно. Переселенцы. Плимутский камень. Всякие английские парни в потешных шляпах, что приплыли на «Майском цветке».

Фергусон так обалдел от замечания Дуги, что не знал, как ему ответить. До того мига ему ни разу не приходило в голову, что он может оказаться не-американцем, или, точнее, что его способ быть американцем – какой-то менее настоящий, нежели американцем был Дуги или другие мальчишки, – но, похоже, именно это и утверждал его друг: что между ними есть разница, некое неуловимое, неопределимое свойство, имевшее какое-то отношение к предкам-англичанам в черных шляпах и длительности срока, проведенного на этой стороне океана, и к деньгам, на которые можно жить в четырехэтажных городских особняках Верхнего Вест-Сайда, свойство, делавшее одни семьи более американскими, чем другие, и в итоге разница эта

оказывалась так велика, что менее американские семьи едва ли вообще можно было считать американцами.

Несомненно, мать выбрала для него не ту школу, но, несмотря на тот озадачивший его разговор о еврейских застольных привычках по национальным праздникам, не говоря уже о каких-то иных сбивавших с толку эпизодах как до, так и после его беседы с Дуги Г., у Фергусона никогда не возникало желания покинуть Гиллиард. Даже если ему не удавалось ухватить причудливые обычаи и верования того мира, в который он вступил, он изо всех сил старался им подчиняться и ни разу не винил свою мать или тетю Мильдред за то, что его туда отправили. В конце концов, надо же где-то быть. Закон утверждал, что любой ребенок в возрасте до шестнадцати лет обязан ходить в школу, и, с его личной точки зрения, Гиллиард был ничем не лучше и не хуже любого другого исправительного заведения для молодежи. Школа ж не виновата, что ему в ней так скверно. В те унылые первые дни после смерти Станли Фергусона юный Фергусон пришел к заключению, что он живет во вселенной вверх тормашками, где царят бесконечно обратимые суждения (день = ночь, надежда = отчаяние, сила = слабость), а это означало, что когда дело доходит до школы, ему теперь полагается в ней скорее не успевать, чем преуспевать, и если учесть, насколько хорошо сейчас ему было от того, что все уже безразлично, что, неудача для него – дело принципа и он добровольно бросается в утешительные объятия унижения и разгрома, почти совершенно вероятным представлялось то, что не успевал бы он также доблестно и где угодно.

Учителя считали его *ленивым и безынициативным, безразличным к авторитетам, рассеянным, упрямым, потрясаяще недисциплинированным, человеческой головоломкой*. Мальчик верно ответил на все вопросы вступительного экзамена, покорила директора по приему своей милой натурой и не по годам глубокими соображениями, поступил в школу по дополнительному набору поздно, под конец учебного года, а потому вроде бы должен носить домой отличные оценки по всем предметам – но в первой же ведомости успеваемости, выданной в апреле его второго класса, у него стояла лишь одна оценка «отлично». Предмет – физкультура. «Хорошо» поставили за чтение, письмо и чистописание (он старался напортачить, но в сокрытии собственных талантов был пока новичком), «удовлетворительно» – по музыке (ему не удалось устоять и не вопить во всю глотку негритянские спиричуэлы и ирландские народные песни, которым их учил мистер Боулс, хоть он и пытался не мазать мимо нот), и «плохо» по всему остальному, куда включались математика, естественные науки, искусства, обществознание, дисциплина, гражданственность и поведение. Следующий – последний – табель, выданный в июне, был почти полностью идентичен первому, с единственной разницей – его оценкой по математике, которая опустилась с «плохо» до «неуда» (он к тому времени уже довел до совершенства искусство давать неверные ответы на арифметические задачи, три из каждых пяти в среднем, но все равно не мог заставить себя писать с ошибками больше одной десятой всех слов). В обычных обстоятельствах Фергусона бы не позвали обратно на следующий год. Успеваемость его была настолько отвратительна, что заставляла думать о глубоких психологических заболеваниях, а такая школа, как Гиллиард, не привыкла владеть на себе мертвый груз, по крайней мере – если неуспевающий не происходил из наследственной семьи: *родословная* тут означала мальчика из третьего, четвертого или даже пятого поколения, чей отец каждый год выписывал чек или сидел в совете попечителей. Они, однако, были согласны предоставить Фергусону еще один шанс, ибо понимали, что обстоятельства его далеки от обычных. Мистер Фергусон погиб посреди учебного года, кончина его была внезапной и насильственной, и мальчика от нее зашвырнуло в нижние пределы скорби и распада: разумеется, он заслужил немножко больше времени, чтобы снова взять себя в руки. В нем им виделся слишком большой потенциал, чтобы задиравать лапки всего после трех с половиной месяцев, а потому они поставили мать Фергусона в известность, что ее сыну предоставляется еще один год на то, чтобы



оправдаться. Если он к тому времени придет в себя, испытательный срок его завершится. Если нет – что ж, тогда на этом будет всё, и удачи ему, где бы он потом ни оказался.

Фергусон ненавидел себя за то, что разочаровал мать, у кого жизнь была трудна и без тревог из-за его паршивой успеваемости в школе, но на кону стояли более важные вопросы, нежели попытки убажить мать или встать на мостик, чтобы произвести впечатление на родню своим табелем, полным «отл.» и «оч. хор.». Он понимал, что жить ему и всем остальным стало бы проще, если б он подтянулся и делал то, что от него ожидается. Как легко и совершенно не запутанно было бы перестать давать заведомо неправильные ответы, вновь начать быть внимательным – тогда все опять будут гордиться таким прилежным мальчиком, но Фергусон пустился на великий эксперимент, затеял тайное расследование самых фундаментальных вопросов жизни и смерти и теперь не мог повернуть назад, он путешествовал по ухабистой и опасной дороге, один среди скал и извилистых горных троп, ему в любой миг грозила опасность свалиться с утеса, но пока не будет собрано достаточно данных, чтобы он мог прийти к убедительным выводам, ему и дальше предстоит подвергать себя риску – даже если это означает, что его отчислят из школы для мальчиков Гиллиард, даже если он по-крупному опозорится.

Вопрос стоял так: Почему Бог перестал с ним разговаривать? А если Бог сейчас молчит, значит ли это, что молчать Он будет вечно – или же когда-нибудь все же начнет опять с ним разговаривать? А если Он больше никогда не заговорит, может ли это значить, что Фергусон обманывал себя и Бога там вообще никогда не было?

Сколько он себя помнил, голос звучал у него в голове – беседовал с ним всякий раз, когда Фергусон оставался один, спокойно, размеренно, голос этот одновременно успокаивал и распоряжался, бормотал баритоном, расточал слова великого незримого духа, правившего миром, и Фергусона он всегда утешал, защищал, говорил ему, что, если только он будет держаться своих обязательств по сделке, все у него будет хорошо, а его обязательства – это вечное обещание вести себя хорошо, относиться к другим по-доброму и щедро и соблюдать святыне заповеди, что означало никогда не лгать, не красть, не поддаваться зависти, что означало любить своих родителей и прилежно учиться в школе, не впутываться ни в какие передраги, и Фергусон верил в этот голос и как мог старался все время следовать его наставлениям, а раз Бог, похоже, своих обязательств по сделке тоже держался – у Фергусона все было хорошо: он себя чувствовал любимым и счастливым, надежно знал, что Бог в него верит так же, как он верит в Него. Так все и длилось, пока ему не исполнилось семь с половиной, и тут однажды утром в начале ноября, утром, которое для него вроде бы ничем не отличалось от любого другого утра, мать вошла к нему в комнату и сообщила, что отец умер, – и все вдруг изменилось. Бог ему солгал. Великому незримому духу больше нельзя было верить, и хоть Он продолжал разговаривать с Фергусоном еще несколько дней, просил еще одной возможности оправдаться, умолять мальчика, лишившегося отца, не отречься от Него *в темное время смерти и скорби*, Фергусон так на Него разозлился, что отказывался слушать. Затем, через четыре дня после похорон, голос вдруг смолк и тех пор больше с ним не беседовал.

Вот в чем теперь была загвоздка: вычислить, по-прежнему ли Бог с ним в молчании или же навсегда пропал из его жизни. Фергусону не хватало смелости сознательно совершить какую-нибудь жестокость, он не мог заставить себя соврать, обмануть или украсть, у него не было склонности вредить матери или обижать ее, но в том узком диапазоне проступков, на какие был способен, он понимал, что ответить на такой вопрос можно единственным способом: нарушать сделку со своего конца как можно чаще, бросать вызов запрету не подчиняться священным заповедям, а затем ждать, чтобы Бог с ним сделал что-нибудь плохое, что-нибудь гадкое и личное, такое, что могло бы служить явным знаком намеренного воздаяния – сломанная рука, прыщи на лице, бешеная собака откусила бы у него кусок ноги. Если же Бог его не накажет, это станет доказательством того, что Он и впрямь исчез из его жизни, когда голос Его перестал с ним разговаривать, а поскольку Бог якобы везде, в каждом дереве и каждой тра-

винке, в каждом порыве ветра и человеческом чувстве, выйдет несуразно, если Он из одного какого-то места исчезнет, а во всех остальных останется. Он обязательно должен быть с Фергусоном, потому что Он повсюду одновременно, и если в том месте, где случилось быть Фергусону, отсутствует, это может значить, что Его нет нигде – и никогда нигде не было вообще, что Его на самом деле никогда и не существовало, а тот голос, который Фергусон принимал за голос Бога, был не чем иным, а только лишь его собственным голосом, он попросту внутренне разговаривал сам с собой.

Первым своим бунтовским деянием он разорвал бейсбольную карточку с Тедом Вильямсом, ту драгоценную карточку, какую в руку ему сунул Джефф Бальсони через пару дней после того, как он вернулся в школу, как жест вечной дружбы и сочувствия. До чего отвратительно было уничтожать тот подарок и как стыдно ему было отводить взгляд от миссис Костелло и делать вид, что ее там нет, и теперь, уже в Гиллиарде, до чего бессовестно он чувствовал себя, пустившись в кампанию намеренного саботажа, наращивая усилия первого года, чтобы выработать новую схему сводящих с ума непоследовательных результатов, гораздо более действенную стратегию, нежели просто провал за провалом, как решил он, по сто процентов в двух контрольных по математике подряд, к примеру, а затем в следующей – двадцать пять процентов, сорок процентов – в той, что шла за ней, а потом девяносто процентов и – мертвый ноль, как же он всех их озадачивал, и учителей, и одноклассников, не говоря уже о его бедной матери и остальной родне, и хотя Фергусон продолжал плевать на правила ответственного человеческого поведения, никакая собака на него не прыгнула и не укусила за ногу, никакой валун не свалился ему на пальцы, захлопнувшаяся дверь не двинула по носу, и казалось, что Бог вовсе не заинтересован его наказывать, ибо Фергусон вел преступную жизнь уже почти год, а на нем по-прежнему не было ни царапины.

На том все и должно было завершиться раз и навсегда, но оно не завершилось. Если Бог не желает его наказывать, это означает, что Он не может его наказать, а следовательно – Его не существует. Ну или так Фергусон допустил, но теперь, когда Бог оказался на грани окончательного исчезновения для него, он спросил себя: а если его и без того уже достаточно наказали? Что, если убийство его отца было наказанием таких грандиозных масштабов, трагедией с такими чудовищными, долговечными последствиями, что Бог решил его пощадить и никак больше не наказывать в будущем? Вроде бы такое возможно, показалось ему, не точно, конечно, однако, возможно, и все-таки прошло уже столько месяцев, а голос у него внутри молчал, и Фергусон никак не мог подтвердить свое интуитивное понимание. Бог навредил ему, а теперь всеми силами старается загладить Свою вину перед Фергусоном, обращаясь с ним с божественной мягкостью и милосердием. Если голос больше не мог ему говорить то, что ему нужно было знать, вероятно, Бог способен выходить с ним на связь каким-то иным способом, подавать некие неслышимые сигналы, что докажут: Он его мысли по-прежнему слушает, – и так началась последняя стадия долгого теологического изыскания Фергусона, месяцы безмолвной молитвы, когда он умолял Бога открыться ему – либо же утратить право носить имя Бога. Фергусон не просил никакого роскошного библейского откровения, могучего удара грома или внезапного расступленья вод, нет, его бы вполне удовлетворило что-нибудь мелкое, микроскопическое чудо, которое осознал бы лишь он один: ветер подул бы сильнее – ровно так, чтобы сдуть случайный обрывок бумаги через дорогу до того, как сменится сигнал светофора, на десять секунд прекратили бы тикать часы, а потом пошли бы вновь, упала бы с безоблачного неба ему на палец единственная капля дождя, мать произнесла бы слово *таинственно* в следующие тридцать секунд, само бы включилось радио, за следующие полторы минуты у него перед окном прошло бы семнадцать человек, малиновка на траве в Центральном парке вытащила бы из земли червячка прежде, чем над головой пролетит самолет, библикнули бы три машины одновременно, открылась бы у него в руке книжка на странице 97, на первой полосе утренней газеты напечатали бы не ту дату, лежал бы четвертачок на тротуаре у его ноги, когда он опустит

голову, выиграли бы «Хитрецы» три пробежки в самом начале девятого иннинга и победили б в игре, подмигнула бы ему кошка двоюродной бабушки Перл, вот бы все в комнате зевнули разом, вот бы все в комнате разом расхохотались, вот бы никто в комнате не издал ни звука в следующие тридцать три и одну треть секунды. Одно за другим Фергусон желал всего этого – и множества другого, а когда за следующие полгода бессловесных молений ничего подобного не произошло, он перестал желать чего бы то ни было и отвратил мысли свои от Бога.

Много лет спустя мать призналась ему, что для нее начало было не таким трудным, как то, что происходило потом. Занятное междуцарствие было почти сносным, сказала она, требовалось принять столько неотложных, практических решений: продать дом и дело в Нью-Джерси, найти, где жить в Нью-Йорке, обставить это место и в то же время найти Фергусону приличную школу, – внезапный натиск обязательств, какие пали на нее в первые дни вдовства, не был для нее бременем – скорее желанным отвлечением, поводом не думать о пожаре в Нью-арке каждую минуту бодрствования, и спасибо Господу за все эти фильмы, добавила она, и за тьму кинотеатров в те холодные зимние дни, и за возможность исчезнуть в притворстве этих дурацких сюжетов, и за тебя, Арчи, тоже спасибо Господу, сказала ему она, мой маленький храбрец, моя скала, мой якорь, дольше некуда был ты единственным настоящим человеком, кто оставался для меня на свете, и что б я без тебя делала, Арчи, зачем мне было бы жить, и как вообще смогла бы я жить дальше?

Сомнений нет, она в те месяцы была полусумасшедшей, сказала она, безумицей, жила на одних сигаретах, кофе и нескончаемых выплесках адреналина, но как только на вопросы с жильем и школой возникли ответы, вихрь улегся, а затем и вовсе стих, и она впала в долгий период задумчивости и размышлений, жуткие дни, кошмарные ночи, пора онемения и нерешительности, когда она взвешивала одну возможность против другой и всеми силами пыталась представить, куда ей хочется, чтобы ее занесло будущее. Ей в этом смысле повезло, сказала она, повезло в том, что она могла выбирать варианты, но то, что у нее теперь были деньги, денег больше, чем она когда-либо мечтала иметь, двести тысяч долларов только по страховке жизни, не говоря уже о деньгах, полученных от продажи дома в Милльбурне и «Ателье Страны Роз», куда также входили дополнительные суммы, которые она заработала от продажи мебели в доме и оборудования в ателье, и даже после того, как она вычла тысячи, потраченные на новую мебель, и стоимость отправки Фергусона каждый год в частную школу, и ежемесячную стоимость съема квартиры, у нее оставалось больше чем достаточно, чтобы ничего не делать следующие двенадцать или пятнадцать лет, и дальше жить за счет своего покойного мужа, покуда сын ее не окончит колледж – и гораздо дольше, если найдет себе умного специалиста по акциям и облигациям и инвестирует средства в рынок. Ей было тридцать три года. В жизни уже не новичок, но и бывшей ее не назовешь, и хотя ее утешало размышлять о благах ее удачи, знать, что в ее силах – жить праздно до самой старости, если ее потянет так решить, а месяцы шли, и она продолжала эдак размышлять и ничего не делать, время в основном посвящала путешествиям сквозь Центральный парк четыре раза в день на автобусе, идущем через весь город: утром отвозила Фергусона в школу, после чего возвращалась домой, в конце дня забирала Фергусона и снова возвращалась домой, а по тем утрам, когда не могла заставить себя снова заскочить в автобус и вернуться в Вест-Сайд, те шесть с половиной часов, что Фергусон проводил в школе, она тратила, бродя по Ист-Сайду, забредала одна в магазины, обедала одна в ресторанах, одна ходила к кино, одна ходила в музеи, и после трех с половиной месяцев такой привычки, за которыми последовало странное, пустое лето, когда они с сыном забились в снятый домик на джерсейском побережье и почти все время сидели взаперти, вместе смотрели телевизор, и тогда-то она обнаружила, что ей неинтересно, ей снова не терпится работать. Почти весь год заняло у нее достижение этого рубежа, но как только она на нем очутилась, из чулана

наконец появились «Лейка» и «Роллейфлекс», и уже совсем скоро мать Фергусона плыла на корабле курсом назад, в страну фотографии.

На сей раз она принялась за дело иначе – сама бросилась в мир, а не приглашала мир к себе, ей больше не было интересно держать ателье с постоянным адресом: теперь ей казалось, что это устарелый способ заниматься фотографией, без нужды громоздкий во время быстрых превращений, новые скоростные пленки и еще более действенные легкие фотоаппараты перестраивали эту сферу, а оттого становилось возможным пересмотреть ее прежние представления о свете и композиции, изобрести себя заново и выйти за пределы классической портретной съемки, и к тому времени, как Фергусон начал второй год учебы в Гиллиарде, мать его уже подыскивала себе работу – на первое место наткнулась в конце сентября, когда человек, нанятый снимать на свадьбе ее двоюродной сестры Шарлотты, свалился с лестницы и сломал ногу, а поскольку до свадьбы оставалась всего неделя, она вызвалась его заменить бесплатно. Синагога располагалась где-то в бруклинском Флетбуше – в прежнем районе первого Арчи и двоюродной бабушки Перл, – и между самой церемонией и перемещением всей компании гостей в зал приемов в двух кварталах к югу мать Фергусона установила штатив и сделала парадные черно-белые портреты присутствовавших членов семьи, начиная с самих жениха и невесты, двадцатидевятилетней Шарлотты, которой, казалось, на роду написано ни за кого не выйти замуж после того, как ее нареченного убили на Корейской войне, и тридцатилетнего овдовевшего стоматолога Натана Бирнбаума, а за ними – двоюродной бабушки Перл, Наны и Папы Фергусон, сестры-близняшки Шарлотты Бетти и ее мужа-счетовода Сеймура Графа, тети Мильдред (которая нынче преподавала в Саре Лоренс) и ее мужа Пола Сандлера (работавшего редактором в издательстве «Рэндом-Хаус»), и наконец самого Фергусона с двумя своими троюродными сородичами (детьми Бетти и Сеймура) – пятилетним Эриком и трехлетней Джуди. Как только в зале начался свадебный прием, мать Фергусона отставила штатив и следующие три с половиной часа бродила среди гостей, делала сотни снимков тех девяноста шести человек, что там собрались: непостановочные, спонтанные фотографии стариков, что тихонько беседуют друг с другом, молодых женщин, что, смеясь, пьют вино и суют еду себе в рот, детишек, танцующих со взрослыми, и взрослых, танцующих друг с дружкой после завершения трапезы, лица всех тех людей схвачены в естественном свете этого голого, нешикарного помещения, музыканты взгромоздились на крошечную эстраду и блямкали свои осточертевшие слюнявые песенки, двоюродная бабушка Перл улыбалась, целуя внучку в щеку, Бенджи Адлер откидывал коленца на танцполе вместе с двадцатилетней дальней родственницей из Канады, девятилетняя девочка хмуро сидела одна за столом с недоеденным куском торта перед собой, а в какой-то момент празднества дядя Пол подошел к свояченице и заметил, что она, похоже, хорошо здесь проводит время, он не видел ее такой счастливой и оживленной с тех пор, как она переехала в Нью-Йорк, и мать Фергусона просто ответила: Я должна это делать, Пол, я просто сойду с ума, если не начну вновь работать, на что муж Мильдред ответил: Кажется, я могу тебе помочь, Роза.

Помощь пришла в виде заказа: съездить в Новый Орлеан и сфотографировать Генри Вильмота для суперобложки его выходящего романа – произведения, которого ждали от лауреата Пулитцеровской премии, – и когда шестидесятидвухлетний Вильмот сообщил своему редактору, насколько он доволен результатами, то есть позвонил Полу Сандлеру и сказал, что отныне никому, кроме этой *прекрасной женщины*, не разрешается его фотографировать, от «Рэндом-Хауса» стали поступать новые заказы, что привело к работе и на других нью-йоркских издателей, а это, в свою очередь, повлекло за собой журнальные задания для очерков о писателях, кинорежиссерах, бродвейских актерах, музыкантах и художниках в «Таун энд Кантри», «Вог», «Лук», «Ледис Хоум Джорнал» и «Нью-Йорк Таймс Магазин», а также других еженедельных и ежемесячных изданиях в последующие годы. Мать Фергусона всегда фотографировала своих героев в их собственной среде, ездила в те места, где они жили и работали, со

своими переносными софитами, складными ширмами и зонтиками, снимала писателей в их набитых книгами кабинетах или за столами, художников – в вихре и беспорядке их мастерских, пианистов – сидящими за их сверкающими черными «Стейнвеями» или стоящими возле них, актеров – глядящими в зеркала у себя в гримборных или сидящими в одиночестве на голой сцене, и отчего-то ее черно-белые портреты, казалось, отражают больше внутренней жизни этих людей, чем было способно извлечь из таких сеансов с теми же хорошо известными фигурами большинство фотографов: качество, имевшее меньше отношения, быть может, к техническому мастерству, нежели к чему-то в самой матери Фергусона, которая всегда готовилась к каждому новому заданию, читая книги и слушая пластинки, глядя на картины своих героев, а оттого могла о чем-то с ними разговаривать наедине во время их долгих сеансов, и, поскольку говорила она легко и всегда была чарующа и привлекательна, вовсе не из тех, кто говорит о себе, все эти тщеславные и непростые художники ловили себя на том, что в ее присутствии расслабляются, чувствовали, что ее действительно интересует, кто они и что они, и на самом деле так оно и было – или же по большей части было так, большую часть времени, и как только подобное соблазнение производило свое действие и эти люди поднимали забрала, маски, что они носили на лицах, постепенно сползали, и из глаз у них начинал исходить какой-то другой свет.

Помимо такой коммерческой работы на журналы и книгоиздателей, мать Фергусона много занималась и собственными проектами, которые она звала *исследованиями блуждающим глазом*: неусыпная бдительность, нужная для создания первоклассных портретов, отставлялась в сторону ради *открытости навстречу случайным встречам с неожиданным, будь что будет*. Она обнаружила в себе этот порыв противоречия на свадьбе у Шарлотты – на том неоплаченном задании в 1955-м, что превратилось в буйный трех-с-половиной-часовой загул неистового фотографирования, когда она петляла в толпе, освобожденная от уз кропотливой подготовки, и ныряла в вихрь пулементных композиций, один снимок следовал за другим, мимолетные мгновенья, которые следовало ловить точно или не ловить вообще, промедли полсекунды – и картинка исчезнет, и неистовство сосредоточения, какое требовалось в таких условиях, швырнуло ее в некую эмоциональную лихорадку так, словно все лица и тела в том помещении наскakивали на нее сразу скопом, как будто каждый там дышал у нее в глазах, был уже не просто по ту сторону объектива, а в ней самой, был неотделимой частью того, кто есть она.

Довольно предсказуемо, что Шарлотта и ее муж снимки эти возненавидели. Не те, говорили они, не другие портреты, что она сделала в синагоге после свадебной церемонии, те-то были поистине великолепны, этими фотографиями они будут дорожить многие годы, а барахло со свадебного банкета непонятно, все такое мрачное и грубое, такое нелестное, все выглядят такими зловещими и несчастными, даже смеющиеся люди смотрятся смутно демонически, и почему все кадры такие несбалансированные, почему все так жутко недоосвещены? Разозлившись на этот выговор, мать Фергусона отправила новобрачным отиски портретов с краткой сопроводительной запиской, гласившей: *Рада, что хоть эти вам понравились*, другую пачку отправила тете Перл, третью – родителям, а последнюю – Мильдред и Полу. Получив пакет, ее зять позвонил и спросил, почему она не включила сюда снимки с банкета. Потому что эти картинки дрянь, ответила она. Всех художников тошнит от собственных произведений, сказал ее новый сторонник и защитник, и мать Фергусона в итоге это убедило напечатать тридцать отисков из более чем пятисот изображений, которые она сняла в тот день, отправить их в контору Пола в «Рэндом-Хаусе». Три дня спустя он перезвонил сказать, что они не только не дрянь, а он вообще считает их замечательными. С ее позволения он намерен переслать их Майнору Вайту в журнал «Аперчер». Они заслуживают публикации, сказал он, их должны увидеть те, кому небезразлична фотография, а поскольку они с Вайтом немного знакомы, то чего бы не начать с самого верха? Мать Фергусона не была уверена, всерьез ли это ей говорит Пол

или же просто ее жалеет. Она подумала: Добрый человек делает шаг навстречу, помочь запутавшейся и скорбящей родственнице в пору ее нужды, человек со связями стремится склеить расклеенную вдову-фотографа с новой жизнью. Затем подумала: Жалость это или не жалость, но именно Пол отправил ее в Новый Орлеан, и хоть и мог действовать под влиянием момента или слепой интуиции или же из какого-то чутья наобум, теперь, когда сварливый алкоголик Вильмот ее превозносит за *чертовски прекрасную работу*, быть может, зять ее и верит, что поставил на правильную лошадь.

Повлиял на их решение Пол или нет, но редакция «Аперчер» приняла ее снимки к публикации: подборку из двадцати одной фотографии, которые появились через полгода с заголовком «Еврейская свадьба, Бруклин». Эта победа и всплеск воодушевления, сотрясший всю ее, когда у нее в почте объявилось письмо из «Аперчер», вскоре, однако, пригасились раздражением, а затем едва не уничтожились гневом, поскольку опубликовать эти снимки она не могла, не обеспечив разрешений тех людей, что были на них запечатлены, и мать Фергусона совершила ошибку, сперва связавшись с Шарлоттой, которая упрямо отказалась позволять этим *нелепым фотошаржам* на нее и Натана публиковаться в «Аперчер» или любом другом *гнусном журнальчике*. За следующие три дня мать Фергусона поговорила со всеми остальными участниками, среди них – с матерью Шарлотты и ее сестрой-близняшкой Бетти, – и когда больше никто не высказал никаких возражений, она опять перезвонила Шарлотте и попросила ее пересмотреть свое решение. *Даже речи быть не может. Ступай к черту. Ты это кем себя вообще возомнила?* Тетя Перл попыталась ее урезонить, дед Фергусона бранил ее за, как он это называл, *эгоистичное наплевательство на других*, Бетти обозвала ее тупицей и ханжой, но новоиспеченная миссис Бирнбаум не уступала. Стало быть, три снимка с Шарлоттой и Натаном пришлось выбросить, выбрали три других им на замену, и фотоочерк о свадьбе опубликовали без каких-либо изображений невесты или жениха.

Тем не менее то было начало, первый шаг к тому, чтобы жить в единственном будущем, какое для нее имело смысл, и мать Фергусона неуклонно продвигалась вперед, осмелев от публикации тех фотографий настолько, чтобы заниматься и другими незаказными проектами, *ее собственной работой*, как она ее называла, которую и дальше можно было отыскивать на страницах «Аперчер», а иногда и под обложками книг или на стенах галерей, и самой важной частью этого преобразования, наверное, было решение, которое она приняла в последнюю минуту перед публикацией «Еврейской свадьбы», еще весной 1956 года, когда встала на колени у своей кровати и попросила Станли простить ее за то, что она намерена сделать, но так нужно, сказала ему она, любой другой способ вынудит ее и дальше жить в золе ньюаркского пожара, пока и сама она не сгорит дотла, поэтому так оно и получилось, так и продолжалось все годы ее будущей жизни, что все работы свои она подписывала: *Роза Адлер*.

Поначалу восьмилетний Фергусон лишь смутно осознавал, что замыслила его мать. Он понимал, что она теперь занята сильнее, чем раньше: почти каждый день мать уходила куда-нибудь что-нибудь снимать либо запиралась в комнате, что раньше была лишней спальней, которую теперь она превратила в мастерскую, где проявляла снимки, и эта комната бывала нынче постоянно заперта из-за паров от химикатов, хотя приятно было видеть, что теперь мать улыбается и смеется больше, чем весной и летом, все остальное происходившее было неприятно, совсем не хорошо, с его точки зрения. Больше восьми месяцев свободная спальня была его комнатой, его собственным личным убежищем, где он мог перебирать бейсбольные карточки и сбивать пластмассовые кегли пластмассовым шаром, бросать мешочки с бобами в дырки в деревянной мишени и целиться дротиками в маленькое красное яблочко, а теперь комнаты не стало, и едва ли можно считать, что это хорошо, а потом, где-то под конец октября, вскоре после того, как его светлая комната преобразилась в темную лабораторию, куда хода ему больше не было, случилось и еще одно нехорошее, когда мать сказала ему, что у нее больше

не получится забирать его из школы. По утрам она, как и раньше, будет его туда отвозить, а вот днем она уже не может считать себя свободной, и потому теперь на школьном крыльце встречать его и сопровождать обратно в квартиру станет бабушка. Фергусону это совсем не понравилось, поскольку он был против любых перемен вообще – из соображений строгих нравственных установок, но протестовать ему не по чину, следует выполнять, что говорят, и то, что некогда было лучшей частью дня – увидаться с матерью после шести с половиной часов скуки, выговоров и ожесточенных борений со Всемогущим, – превратилось в скучный поход на запад с толстой ковыляющей Наной, старухой такой робкой и сдержанной, что она даже не знала, о чем с ним разговаривать, а это значило, что чаще всего они ехали домой молча.

Он ничего не мог с этим поделать. Мать – единственный человек, кто ему безразличен, с кем ему удобно, а все прочие действовали ему на нервы. У родни его, предполагал он, есть свои достоинства – хотя бы в том, что им всем он вроде бы нравится, но дед слишком громогласен, бабушка слишком тиха, тетя Мильдред слишком им помыкает, дяде Полу слишком нравится слушать самого себя, двоюродная бабушка Перл слишком удушает его своими нежностями, кузина Бетти слишком наглая, кузина Шарлотта – слишком глупая, маленький кузен Эрик – слишком буйный, маленькая кузина Джуди – слишком плакса, а единственная родственница, за то, чтобы повидаться с которой он бы отдал все на свете, его кузина Франси, учится в колледже в далекой Калифорнии. Что же касается одноклассников в Гиллиарде, то настоящих друзей у него там не было, одни знакомые, и даже Дуги Гейс, тот мальчик, с кем он виделся чаще всего, смеялся над тем, что было совсем не смешно, и никогда не понимал анекдотов, когда ему их рассказывали. За исключением матери, Фергусону было трудно прикипеть душой к кому-то из знакомых, поскольку с ними он всегда ощущал себя в одиночестве, хотя одному с другими, вероятно, немножко не так ужасно, как одному наедине с собой, а это, казалось, неизменно толкает его ум обратно к тем же навязчивым мыслям, как в случае с непрерывными мольбами Богу показать ему чудо, от чего он наконец успокоился бы, или же, еще более навязчиво, с фотографией в «Ньюарк Стар-Леджере», на которую ему смотреть не полагалось, но он все равно смотрел, рассматривал ее по три-четыре минуты, когда мать выходила из комнаты за пачкой сигарет, картинку с подписью «Обугленные останки Станли Фергусона» – и на ней был его мертвый отец в сгоревшем здании, что некогда было «Домашним миром 3 братьев», тело жесткое и черное, и уже не человеческое, как будто огонь превратил его в мумию, человек без лица и без глаз, а рот открыт широко, словно бы в крике, и вот этот обугленный мумифицированный труп положили в гроб и закопали в землю, а Фергусон, когда бы теперь ни думал об отце, в уме видел в первую очередь вот эти опаленные останки черного, полусгоревшего тела с открытым ртом, все еще кричащего из самых недр земли.

*Сегодня будет холодно, Арчи. Не забудь надеть в школу шарф.*

Такие нездоровые мрачные размышления относились к вещам нехорошим, какие случались в тот нелегкий год, когда ему было восемь и близилось к девяти, но случалось тогда и хорошее, и даже происходило оно каждый день, вроде телевизионной программы после школы, ее показывали с четырех до половины шестого по 11-му каналу, целых полтора часа (с перебивками на рекламу) старых фильмов Лорела и Гарди, а это, как выяснилось, прекраснейшие, наисмешнейшие, приятнейшие фильмы из всех, что когда-либо снимали. То была новая программа, ее запустили лишь осенью, и пока Фергусон однажды в октябре случайно не наткнулся на нее, включив телевизор, он и не знал ничего об этом древнем дуэте комиков, поскольку к 1955 году Лорела и Гарди почти совсем забыли, их фильмы двадцатых и тридцатых годов больше не показывали в кинотеатрах, и только из-за телевидения они вернулись к маленьким людям, живущим в огромной метрополии. Как же Фергусон начал обожать двух этих болванов, этих взрослых людей с мозгами шестилеток, энергия и добродушие так и били из них фонтаном, однако они вечно ссорились и мучили друг друга, вечно попадали в самые невероятные и опасные передраги, едва не тонули, их едва не разрывало в клочья, им едва не вышиб-

бало насмерть мозги, и все ж они всегда умудрялись выжить, горемычные мужья, неуклюжие интриганы, неудачники до самого конца, и все ж, несмотря на любые их взаимные тумачи, щипки и пинки, до чего же добрыми друзьями они оставались, были связаны воедино туже, нежели любая другая пара в «Книге земной жизни», каждый – неотделимая половина единого, двухчастного человеческого организма. Мистер Лорел и мистер Гарди. Фергусону неимоверно нравилось, что это имена настоящих людей, которые играют выдуманных персонажей Лорела и Гарди в фильмах, ибо Лорел и Гарди всегда были Лорелом и Гарди, в каких бы обстоятельствах ни оказывались, где б ни жили, в Америке или какой другой стране, в прошлом или же в настоящем, перевозили они мебель или же торговали рыбой, продавали новогодние елки, были солдатами или матросами, заключенными или плотниками, уличными музыкантами или конюхами, или золотоискателями на Диком Западе, и то, что они вечно оставались неизменно одними и теми же, даже когда были разными, казалось, делало их гораздо реальнее, чем любых других героев кино, потому что, если Лорел и Гарди – всегда Лорел и Гарди, рассуждал Фергусон, это должно означать, что они вечны.

Они и были его самыми верными, самыми надежными компаньонами весь тот год и добрую часть следующего, Станли и Оливер, они же Стан и Олли, тощий и толстый, слабоумный невинный младенец и напыщенный дурак, который в конце оказывался не менее слабоумным, чем первый, и хотя для Фергусона что-то значило, что имя у Лорела такое же, как и у его отца, значило оно не слишком уж много, да и наверняка мало имело общего, а то и вообще ничего, с его растущим расположением к новым друзьям, которые практически сразу же стали его лучшими друзьями – кабы вообще друзьями не единственными. Больше всего любил он в них эти краеугольные черты, что никогда не менялись от фильма к фильму, начиная с темы «Кукушек» на начальных титрах, которая объявляла, что парни вернулись с еще одним приключением и: *Что же они придумают дальше?* – знакомые повороты, которые никогда ему не надоедали, Олли крутит галстук и раздраженно поглядывает в объектив камеры, Стан обалдело моргает и внезапно разражается слезами, шутки, вращавшиеся вокруг их котелков, у Лорела на голове – слишком большой, у Гарди – слишком маленький, шляп, продавленных ударами и горящих, шляп, рывком надвинутых на уши, и шляп, растоптанных ногами, их склонность падать в открытые люки и проламываться сквозь треснувшие половицы, шагать прямо в грязные болота и лужи глубиной по шею, их невезенье с автомобилями, лестницами, газовыми плитами и электрическими розетками, хвастливая учтивость Олли, когда он разговаривает с незнакомыми людьми: *Это мой друг мистер Лорел*, – нелепый дар Стана поджигать себе большой палец и пыхтеть несуществующими, но действующими трубками, их неконтролируемые приступы хохота, их умение пускаться в спонтанные танцевальные номера (оба так легки на ногу), их единодушие, если приходится сталкиваться с неприятелем, все свары и разногласия забыты, когда они объединяются, чтобы разнести кому-нибудь дом или раскурочить машину, – но еще и вариации того, кто они и как личные особенности их иногда накладываются друг на дружку и даже сливаются воедино, как, например, когда Олли чешет Стану ногу, думая, что это нога его самого, и вздыхает от удовольствия и облегчения, или же изобретательность, с какой они иногда себя удваивают, как бывало, когда большой Станли и большой Оливер нянчат своих младенцев-сыновей, маленького Стана и маленького Олли, которые представляют собой миниатюрные копии своих отцов, поскольку Лорел и Гарди играли оба комплекта ролей, или когда Стан женится на женщине-Олли, а Олли – на женщине-Стане, или когда они встречаются со своими давно потерянными братьями-близнецами, близкими друзьями между собой, кого тоже, разумеется, зовут Лорел и Гарди, или – лучше всего – когда в конце одного фильма не удалось переливание крови, и Стан оказался с усами и голосом Олли, а гладколицый Гарди вдруг расплакался, как Лорел.

Да, они были неизменно смешны и изобретательны, и да, у Фергусона иногда живот болел от хохота над их дурачествами, но вот почему он считал их потешными и почему любовь его к



ним расцвела до совершенно неразумных пределов, имело меньше отношения к их клоунским выходкам, нежели к их стойкости, к тому, что они напоминали Фергусону его самого. Вычесть все комические преувеличения и балаганное насилие – и боренья Лорела и Гарди перестанут отличаться от его собственных. Они тоже наобум перебирались от одного дурно задуманного плана к другому, они тоже маялись от нескончаемых неудач и тупиков, и всякий раз, когда несчастье доводило их до слома, злость Гарди становилась его собственной злостью, обалдение Лорела отражало его обалдение, а лучшее во всех промахах, что они совершали, заключалось в том, что Стан и Олли были еще недотепистее его, глупее, бестолковее, беспомощней, и вот это было смешно, так смешно, что он никак не мог перестать над ними смеяться, пусть даже и жалел их, и относился к ним как к братьям, сотоварищам по духу, кому вечно достается от мироздания, но они всегда поднимаются на ноги, чтобы попробовать снова – замысливая очередной свой безмозглый план, который неизбежно вновь повергнет их наземь.

По большей части фильмы эти он смотрел один, сидя на полу в гостиной где-то в ярде от телевизора, что мать и бабушка считали слишком близко, поскольку лучи, испускаемые катодной трубкой, *испортят ему глаза*, и всякий раз, когда кто-то из них заставлял его в таком положении, ему приходилось отодвигаться на диван, стоявший подальше. В те дни, пока мать еще была на работе, когда он возвращался из школы, с ним в квартире оставалась бабушка – до материна прихода с ее *ежедневных обязанностей* (как выразилась няня в «Ящике с музыкой», жалуюсь полицейскому после того, как Стан двинул ей башмаком под зад: *Он пнул меня прямо посреди моих ежедневных обязанностей*), но бабушку Фергусона Лорел и Гарди не интересовали, страсть у нее имела лишь к чистоте и порядку в доме, и как только она давала внуку перекусить после школы, обычно – две печенки с шоколадной крошкой и стакан молока, а иногда сливу или апельсин, или стопку соленых крекеров, которые Фергусон обмазывал виноградным джемом, – он уходил в гостиную и включал свою программу, а бабушка принималась драить кухонные поверхности, или оттирать горелки на плите, или мыть раковины и унитазы в двух ваннах, преданный уничтожитель грязи и микробов, она никогда не ворчала на недостатки своей дочери как хозяйки дома, но тем не менее часто вздыхала, выполняя эту работу, вне всяких сомнений, досадуя на то, что плоть и кровь ее не придерживается ее собственных стандартов гигиеничного проживания. По тем же дням, когда мать Фергусона уже была дома к его возвращению из школы, бабушка просто оставляла его и уходила, обменявшись с дочерью поцелуем и несколькими словами, но редко задерживалась так, чтобы имело смысл снять пальто, а если мать не проявляла у себя в лаборатории фотографии или не готовила на кухне ужин, она временами подсаживалась к сыну на диван и смотрела Лорела и Гарди с ним вместе, то и дело хохоча так же заливисто, как и он (над фразой про *ежедневные обязанности*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.